



ДУХОВНЫЙ ПУТЬ

Надежда Смирнова

ВОЙНА И ВЕРА

Истории
о Великой Отечественной войне



ВОЙНА И ВЕРА

«Мы с вами тоже стоим на страже Родины, потому что от духовных основ жизни, от национального самосознания людей зависит способность людей побеждать не только в мирной жизни, но и на поле брани. Будем молиться об Отечестве нашем, о воинстве нашем, чтобы мирное и тихое житие каждый из нас мог препроводить во всяком благочестии и чистоте... С праздником Победы поздравляю вас!»

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл



• ДУХОВНЫЙ ПУТЬ •

Надежда Смирнова

ВОЙНА И ВЕРА

*Истории
о Великой Отечественной войне*



МОСКВА
ОЛМА Медиа Групп
2015

УДК 281.93
ББК 86.374
С 50

Исключительное право публикации книги «Война и вера. Истории о Великой Отечественной войне» Надежды Смирновой принадлежит ОАО «ОЛМА Медиа Групп». Воспроизведение книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения правообладателей

*Допущено к распространению Издательским советом
Русской Православной Церкви, ИС Р14-416-1526*

Смирнова, Надежда
С 50 **Война и вера. Истории о Великой Отечественной войне.** — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. — 448 с. (серия «Духовный путь»)
ISBN 978-5-373-07234-2

Эта книга о войне. И о человеческой душе. О том, как сохранить себя в чудовищной мясорубке, не сломаться, не покориться, не утратить веру.

Эта книга о любви. О светлом чувстве, над которым не властно время. И о том, что только человеку искреннему и чистому возможно остаться верным своему долгу.

Эта книга о связи поколений. О тех воинах, которые отдали жизни за отчий дом. За веру в Бога. За Родину... И о нас — их потомках.

Книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии героев подлинные.

Православная писательница Надежда Смирнова живет в городе Мосальске Калужской области.

УДК 281.93
ББК 86.374

ISBN 978-5-373-07234-2

© Н. Смирнова (текст), 2014
© ОАО «ОЛМА Медиа Групп»
(издание, макет), 2015

ВОЙНА, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Документальная повесть



Глава первая

Горячий августовский воздух стелил по полю пересушенные зноем травы, гнул к земле тонкие стебельки белоголовых ромашек, переплетал нежные лиловые колокольчики с жесткими усиками белоуса, звенел бубенчиками кукушкиных слезок. Под порывами ветра поле, словно живое, шелестело, вздыхало, что-то нашептывало и посвистывало. Одним концом поле спускалась к оврагу, на дне которого журчал ручей, а другим упиралось в гору, на краю ее белела церковь с накренившимся крестом и выбитыми стеклами. Чуть поодаль возвышалась колокольня. Видно было, что и церковь и колокольня давно не используются по своему назначению. Вместо колоколов ветер шевелил пук соломы, привязанный деревенскими ребятишками к потолочному крюку, видно, для забавы.

По левому краю поля белела березовыми стволами нарядная молодая рощица. А справа к цветущему лугу примыкала нива, где колыхались тяжелые колосья зреющих хлебов.

На северо-востоке небо полыхало заревом, отсвечивало вспышками орудийных залпов, низкий рокот далекой канонады напоминал



утробный рук затаившегося там, в мрачных ночных глубинах, огромного, кровожадного чудовища. Там был Смоленск... И грохот орудий подтверждал: древний город не сдавался, хотя и бился из последних сил...

— Слушай боевую задачу, — крикнул молодой лейтенант Корнелюк, окидывая взглядом залегших цепью бойцов, — высоту взять любой ценой, закрепиться там и держать... держать... Не дать возможности немцам выйти к шоссе.

— Товарищи бойцы! — Вскочил на край окопа политрук Грибулин. — От нас зависит победа дивизии под Смоленском. Умрем, но удержим высоту!

По рядам прокатился гул — бойцы передавали друг другу по цепочке слова приказа. И словно в ответ на команду лейтенанта с колокольни раздался стук пулемета. Немец бил часто, поливая огнем подступы к горе.

— Взв-о-о-о-д! Вперед! За мной! — лейтенант устремился к церкви.

«Смелый», — отметил Тихон и, вскинув винтовку, побежал за командиром.

Пулемет бил не переставая, и те, кто быстрее добрался до подножия высоты, падали как подкошенные.

— Вперед... вперед! — подгонял крик лейтенанта.

Тихон увидел, как молоденький солдат, не добежав до подножия высоты, развернулся и помчался ему навстречу. Перекошенный криком рот, расширившиеся от ужаса глаза, вжатая в плечи голова... Парнишка бежал, не разбирая дороги. Его курносое лицо было перепачкано землей, светлые волосы, выбив-

шиеся из-под пилотки на лоб, слиплись от пота. Внезапно споткнувшись, солдат рухнул прямо под ноги Тихону. Тот подал ему руку.

— Там... там... там же верная смерть, — выдохнул боец.

— Давай за мной. Двум смертям не бывать, а одной не миновать, — Тихон продолжил свой бег, но солдатик резко дернул его плечо и, схватив за ворот гимнастерки, принялся трясти.

— А тебе не страшно? Скажи, не страшно... ты не боишься?.. Скажи... Там же фашист... и смерть... совсем близко...

— Да, боюсь, — Тихон отвел руку парнишки, — да, и враг близко, только Господь еще ближе.

— Господь? — солдатик как-то обмяк.

— Да, — Тихон устремился вперед. Солдат двинулся за ним. Тихон, убыстряя бег, выдыхал из себя слова, — и как бы не было страшно, бежать от врага не стоит. Пусть даже придется погибнуть, но чтобы жили наша мать и отец... и братья... и сестры... и Россия... — справа послышались пулеметные выстрелы. Там залегли ребята из роты капитана Гущина, пытаясь «снять» фашистского стрелка. Однако пули не достигали цели.

— Меня Валерка зовут. Я из Москвы. Батя мой тоже на фронте, — Валерка не отставал.

— За Москву! — закричал Тихон, желая этим кличем приободрить Валерку.

Тот на секунду остановился, сжал губы так, что они побелели, и кинулся вперед:

— За Москву! За Сталина! Ура-а-а!

Укрывшись на верхотуре колокольни, фашист строчил и строчил, сея смерть. Валерка



мчался теперь впереди Тихона, расправив плечи и вскинув голову, и вдруг взмахнув руками, начал заваливаться на бок. Жалобный мальчишеский крик взметнулся ввысь:

— Ма-а-а-ма-а-а-а!

Словно острой иглой кольнуло Тихона в сердце. «Может, все-таки ранен?» — подумалось с надеждой. Задержавшись на минуту возле Валерки, едва взглянув в его лицо, на котором выделялись застывшие, устремленные в небо глаза, Тихон побежал дальше навстречу свинцовому огню.

Немец косил наших бойцов, не давая им подойти близко к вершине холма. Ряды их дрогнули. Кое-кто залег, некоторые повернули назад.

— Отходим, — прохрипел лейтенант, устало махнув рукой.

Тихон подполз к Валерке, нащупал на груди капсулу солдатского медальона. На бумажке округлым детским почерком был выведен адрес: Москва, Пролетарская, 49-15. Мельникова Екатерина Спиридоновна.

— Друг? — задержался подле Тихона Корнилюк. — Потом хоронить будем, Наумов, вот возьмем высоту... тогда...

Прикрыв ладонью глаза солдатика, Тихон шепнул, склонившись над телом убитого:

— Упокой, Господи, душу убиенного раба Твоего Валерия.

Дав небольшой отдых, лейтенант Корнелюк еще раз поднял бойцов в атаку, и вновь она захлебнулась под непрекращающимся огнем фашиста. Солдаты залегли у взгорья.

Казалось, никакой надежды на то, что высота будет взята, не было. И тут из рои,

что росла на краю поля и подступала к самому подножию холма, показался высокий человек. Он шел не торопясь, и в его руках что-то поблескивало. Приглядевшись, Тихон заметил, как ветер развеивает подол рубахи, треплет седые волосы и бороду. Старик прижимал к груди икону, а потом, вытянув руки, поднял ее вверх.

— Куда он?.. Убьют ведь... — выдохнул кто-то из бойцов.

С колокольни раздалась короткая очередь. Но дед продолжал шагать вперед, неся икону перед собой.

— Уходи дед, уходи... назад... — надрывно крикнул Корнелюк.

— Сынки, бейте их. С Богом! Пречистая с вами! — донес ветер слова старика.

Застучал пулемет, и пули ложились уже почти под ноги икононосца.

— За мной! — вскочил лейтенант, разгадав замысел деда.

А тот бесстрашно шел вперед. Луч солнца упал на серебристый оклад иконы, и на мгновение всем показалось, что от образа полился яркий неземной свет. Немец бил и бил по живой мишени. Бил яростно, остервенело, не понимая, наверное, почему же этот русский старик не прячется, не убегает, не падает замертво от пуль, наконец. И что за предмет так ослепительно блестит у него в руках? Выпустив из внимания поле с солдатами, фашист давил на гашетку, целясь в сноп лучей. Еще секунда и мерцание погасло. Старик упал.

Но тех нескольких минут, пока он отвлекал внимание фашиста, хватило бойцам,



У иконы. 1835 г. Худ. Игнатий Щедровский

чтобы проскочить опасный участок горушки и оказаться у стен церкви.

Высота была взята. Бойцы расположились возле колокольни, откуда не доносились больше выстрелы. Однако было понятно, что немцы сдали свои позиции временно и скоро снова ринуться в бой. Это понимали солдаты, но не пытались укрыться в ближнем лесу или овраге. Высотка и церквушка с колокольней хорошо простреливалась с немецких позиций, были отличным ориентиром для вражеской артиллерии и авиации, но среди этого хаоса были и тем оплотом духа, к которому неосознанно стремились солдаты. Как к чему-то родно-

му, кто защитит. Как к матери, что защищает свое дитя.

— Товарищ лейтенант, разрешите туда?.. — Тихон мотнул головой в сторону рощицы.

— Разрешаю... мигом...

— И мне разрешите? — юркий узбек подскочил к Тихону.

Корнелюк дал отмашку рукой. Бойцы скатились с холма и подбежали к бездыханному телу старика. Возле него на корточках сидел мальчишка лет десяти и плакал, громко всхлипывая и размазывая грязной ладошкой слезы по щекам.

— Деда... Деда... — звал он жалобно и тоскливо.

Старик лежал навзничь, широко раскинув ноги и неловко повернув голову, а руки по-прежнему продолжали сжимать икону. Она уже не светилась. Тень от ближайшего дерева упала на лик, и Тихону показалось, что образ Пречистой плачет.

— Дедушка твой? Откуда вы? — спросил он мальчика.

— С кордону... там мамка с братцем... а я за дедом побег... а он... а его... — мальчишка разрыдался.

— Звать тебя как? — Тихон ласково потрепал паренька за плечо.

— Степка... Стяпан... как деда, — Степка принялся тереть глаза пальцами.

— Вот что, Степка, беги отсюда поскорей. Бой сейчас будет. И икону захвати. Сбереги ее, — Тихон принялся расцеплять пальцы старика. Он поднес образ Божьей Матери к лицу, перекрестился и поцеловал оклад. Узбек смотрел на него во все глаза.



— Это Чудотворная... — серьезно произнес Степка, — вон из той церкви. Деда там старостой был. Когда начали церкву грабить он Чудотворную дома спрятал.

— Вот и ты, Степан, икону эту сохрани, — Тихон передал образ пареньку.

— Сохраню, — кивнул Степка.

Возвращались назад молча. Только подходя к церквушке, узбек положил руку на плечо Тихона и с чувством проронил:

— Ты хороший, Тиха, очень хороший. И Бог твой хороший... Мама Бога хороший... Нас всех спасла... А оксокола¹ жалко...

В ответ Тихон ободряюще улыбнулся узбеку.

Глава вторая

С утра Ольгу все радовало. И ласковое солнце, и яркая листва на деревьях, и капельки росы на траве. День складывалось необыкновенно. Даже в редакции первой ее встретила не ехидная бабка Тамара, а новый вахтер, как он назвался — Юрий Николаевич, с мужественным лицом военного пенсионера и с соответствующей выправкой. Он предупредительно распахнул перед ней дверь в вестибюль, и Ольга гордо прошествовала по коридору. Правда, в столь ранний час в нем никого не было. Лишь прошмыгнули мимо два верстальщика, видно, из курилки, потому что следом волной прокатился запах

¹ Седой старик (узб).

дешевых сигарет. «Ишь, накурились! — подумала она брезгливо. — Дымят, как паровозы!»



Верстальщиков Ольга презирала. Дешевые джинсы, мятые майки. Сутками готовы сидеть за компьютерами. А в зеркало на себя взглянуть? Космы на голове причесать? Вспомнив о зеркале, игриво взбила волосы. Только так, а не иначе! Сегодня все, — и жалкие верстальщики, и вредные корректоры, и техничка Роза, которая сроду не выметает мусор из-под ее стола, и даже бабка Тамара, если ей вздумается приковылять в редакцию, — все, без исключения, должны понять: у Ольги Росляковой, корреспондента отдела светской хроники, жизнь — на пять с плюсом!

Она вошла в кабинет. Никого! Собственно, Ольга не ожидала другого. Коллеги подтянутся часа через два, тогда же начнет трезвонить телефон. По коридору забегают репортеры и курьеры, а в дверь то и дело будут заглядывать неизвестные — те, что помоложе, — рекламодатели, которые никак не могут запомнить, что отдел рекламы в противоположном конце здания. Те, что постарше, тоже путаются в бесконечных лабиринтах. Им, в основном, нужен отдел писем. Правда, в отдел рекламы они тоже заглядывают, чтобы дать печальное объявление: «Пропала собачка...» или более оптимистичное: «Отдам шестерых котят в хорошие руки...» Ничто в этот день не предвещало черных туч на горизонте. Пятница! Последний рабочий день! А впереди... Ольга зажмурилась от счастья, предвкушая, что ее ждет впереди!



Но мечты — мечтами, а работу никто не отменял. Она потому и примчалась раньше, что хотела до обеда сдать статью об открытии новой экспозиции в городской художественной галерее. С ее директором она дружила и бывала исправно на вернисажах и прочих культурных мероприятиях. Ведь именно на выставке она познакомилась со Стасом и считала, что ей необыкновенно повезло. Такие, как он, искусством не интересуются. Им по душе бои без правил, собачьи бега. Ну, что-то еще по мелочи... Сауна, бильярд, стрельба по тарелочкам...

Впрочем, Ольгу занятия Стаса не напрягли. Главное, он прочно стоял на ногах и волен был выбирать развлечения по душе. Придет время, и его толстый кошелек откроет перед ней двери дорогих салонов красоты, модных бутиков и шикарных ресторанов. Сердце ее замерло в предвкушении, но — прочь сладкие грезы! Никуда Стасик от нее не денется. А если много мечтать, то можно и удачу вспугнуть!

Она тряхнула головой, чтобы настроиться на рабочий лад, и опустилась в кресло перед компьютером.

Часа полтора она бойко стучала по клавишам. Затем пробежала глазами материал, слегка его подправила, добавила пару восторженных фраз о спонсорах выставки, ведь среди них был ее Стасик, и, откинувшись, на спинку кресла, с удовольствием потянулась. Все! Отстрелялась! Сейчас отнесет статью корректору, и миссия на сегодня выполнена!

— Оленька, — раздался за спиной льстивый голосок, — тебе нужен компьютер? А то мой виснет, зараза!

Голосок принадлежал Людочке Вихревой — студентке факультета журналистики местного университета. Практикантка уставилась на нее огромными глазищами — синими, с поволокой, ну, точь-в-точь, как у той лошади, на которой Ольга пыталась ездить верхом. Ведь Стас увлекался конным спортом, держал в конюшне пятерых рысаков. И разве она, будущая супруга олигарха, могла признаться, что ее тошнит от запахов конского пота и навоза?

Людочка с умильной улыбкой на пухлых губах подошла ближе.

— Можно я пересяду на твое место? Никак статью не могу закончить...

— Садись, — Ольга по обыкновению хотела съязвить по поводу плохого танцора, которому вечно что-то мешает. Но благоразумно промолчала.

Людочка обидится, а Виктория — заведующая их отделом, осуждающе посмотрит поверх очков и покачает головой. Практикантка была на редкость бестолковой девицей и все материалы сдавала на третий или четвертый раз, но начальница из педагогических побуждений взяла ее под свое крыло. Поэтому могла и отчитать за черствость и эгоизм. Но сегодня Ольга ни с кем не хотела ссориться и поэтому благодушно улыбнулась:

— Пользуйся, пока я добрая!

И выпорхнула из кабинета. В следующие полчаса она уладила все вопросы с корректорами, весело поболтала с ответственным секретарем, который обещал отвести для ее статьи «подвал» на третьей полосе, и вернулась в кабинет. Виктория и Людочка пили



кофе со свежими пирожными из кафешки, что располагалось рядом с редакцией. Видно, практикантка подсуетилась. Она сидела на Ольгином столе, выставив загорелые колени и отхлебывая из чашки, что-то восторженно вещала. При появлении Ольги вытаращила глазищи. Но та лишь буркнула сердито:

— Приятного аппетита! — По ходу заметив, что ноги у девчонки — просто блеск! «Господи, почему у всяких куриц такие красивые ноги?»

Ольга прикусила губу от зависти. Природа явно поскупилась на мозговые извилины в Людочкиной головке, но все усилия потратила на ноги — необыкновенно длинные и стройные.

Ну, что ж! Каждому свое! Может, у нее не столь красивые ноги, зато с мозгами все в порядке! Она заварила свежий кофе. Кофемашину в отдел подарил Стас, и некоторое время вся редакция ходила к ним в кабинет, как на экскурсию, поглазеть на это чудо техники. Правда, завхоз тут же хотела присвоить подарку инвентарный номер, но Ольга устроила скандал, и завхоз, поджав губы, отступила.

Виктория пододвинула ей блюдо с пирожными и спросила:

— Чего сияешь? Отвоялась?

— Вроде... — неопределенно ответила Ольга, откусывая приличный кусок пирожного. Зная характер начальницы, она решила не распространяться о своих планах на будущее. Виктория обязательно найдет, чем ее занять. Она терпеть не могла празднующихся сотрудников. В лучшем случае отпра-

вит на совещание в областное министерство культуры, в худшем — заставит вычитать и поправить — ну, чистое наказание — Людочкину статью.

— Тогда посмотрим, что у нас в арсенале?..

Виктория потянулась к своему блокноту, подтвердив худшие опасения Ольги. Но открыть его не успела. Раздался телефонный звонок, и начальница взяла трубку.

— Да, здесь она! — сказала и посмотрела поверх очков на Ольгу.

И та поняла, что речь идет о ней. Сердце замерло в сладостном предчувствии. Неужто Стас? И тут же одернула себя! Как же, стал бы он звонить по городскому телефону! Для того есть мобильный...

— Иди! *Сам*, — подчеркнула Виктория, — вызывает!

— Зачем? — оторопела Ольга, а сама принялась лихорадочно соображать, в чем же таком провинилась? Вроде, ни в чем? Материалы всегда сдавала вовремя, последние две статьи похвалили на планерке за живой и образный язык. От командировок тоже не отказывалась...

— Иди! — уже строже произнесла Виктория и кивнула на дверь. — Велел, чтоб скачками неслась!

— Зачем? — снова повторила Ольга, чувствуя, что комок подступил к горлу. Главного редактора в газете панически боялась. И вызов на ковер сулил одно — разнос, если не большие неприятности.

— А я почему знаю? — равнодушно ответила Виктория и принялась за новое пирожное.



Лишь Людочка посмотрела с сочувствием и благоразумно убрала ноги под стол, чтобы Ольга впопыхах не запнулась.

— Со стола слезь! — буркнула Ольга и достала из ящика блокнот.

Самую малость, но она надеялась, что это будет всего лишь какое-то поручение, а не выволочка, на которую босс был горазд в любое время, днем и ночью. Мог любого журналиста поднять с постели и отчитать, если тот или иной материал не нравился учредителю газеты — губернатору области или его замам.

Но ее статьи ни к политике, ни к экономике никакого отношения не имели. А угодить светским львицам и их кавалерам она умела. В том числе и жене губернатора, заправлявшей гуманитарным фондом. Интимную жизнь местного бомонда на показ не выставляла, слухами не пользовалась, все факты тщательно проверяла... Так зачем же все-таки понадобилась главному?

Она открыла дверь в приемную. Секретарь Клара Олеговна сделала большие глаза и прошептала:

— Быстро! Дмитрий Алексеевич уже спрашивал о тебе!

Ольга, перекрестившись, сделала глубокий вдох и переступила порог святая святых редакции...

Минут через десять она выскочила из кабинета главного редактора, пунцовая от злости. Пролетев стрелой мимо изумленной Клары Олеговны, Ольга в негодовании громко хлопнула дверью. Секретарь театрально поднесла пальцы к вискам, осуждая кощунство, но Ольга того уже не видела. Кипя от

возмущения, она промчалась по коридору в отдел и, не обращая внимания на изумленные взгляды сотрудниц, поддала ногой стул. Тот с грохотом отлетел в сторону, а Ольга с ненавистью выругалась:

— Козел!

— Что случилось? — деловито поинтересовалась Виктория, стряхивая крошки от пирожных в бумажный кулек. Возвращаясь домой, она кормила в сквере голубей.

— Нет, ну это нормально, а? — Ольга нервно копалась в сумочке. — Мы со Стасом через час должны быть в загсе, а Трифонов посылает меня в Зыряновку. Сазонов там свой комплекс открывает. Свиной! Представляете? Это же вонь на всю округу!

— Ну-ка, ну-ка, с этого места подробнее, — Людочка распахнула глаза от любопытства. Ее светлые кудряшки затрепетали от возбуждения. Она даже передвинула стул подальше от компьютера.

«Лишь бы не работать!» — со злостью отметила про себя Ольга. И негодуяще фыркнула:

— Подробнее? С чего начать? Со свиней? Или с вони?

Она готова была взорваться от ярости. Ей хотелось кого-нибудь придушить, потоптать ногами или вцепиться в волосы. И даже знала, кому... Но лишь рывком открыла шкаф, где хранилась «тревожная» сумка с набором вещей для поездок в районы: джинсы, кроссовки, майка, свитер и ветровка.

Сумка полетела к порогу. Людочка проводила ее взглядом и снова перевела его на Ольгу.

— Чего злишься? Сазонов — такой симпатяшка! — и закатила глаза. — Ты ж была на конкурсе красоты? Видела, все девочки от него без ума. Такие брюлики им подарил!

Ольга фыркнула. Симпатяшка? Толстый розовый поросенок этот Сазонов. С редкой щетинкой на голове. Вот уж когда форма полностью отвечает содержанию. И бриллианты он не случайно дарил. Все финалистки прежде прошли через постель этого холеного боровка. А кто не прошел естественный отбор, тот зарубил себе на носу, что «миссками» им не бывать однозначно. Во веки веков не бывать, пока основным спонсором конкурсов красоты выступает мясокомбинат «МЯС'КО» и его владелец Михаил Яковлевич Сазонов.

— Ну, Сазонов еще тот тип, — неожиданно встала на ее сторону Виктория. — Но с другой стороны, после официоза такой банкет закатят! Лида Морозова рассказывала, когда новый цех на комбинате открывали, журналистам по десять банок тушенки подарили и колбасы...

— Так Морозова, звезда наша, и должна была ехать на открытие! — снова вспыхнула Ольга.

Не обращая внимания на коллег, она сбросила платье, натянула на себя джинсы и майку. И пропыхтела, пытаясь вставить ноги в кроссовки:

— Видно, животом мается, сазоновского мяса отведавши?

— У Лиды внучка заболела, — мягко пояснила Виктория, тоже недавно ставшая бабушкой, — а родители в отпуске, по заграницам мотаются.

— Но это ж не моя тема! — чуть не взвыла Ольга, глядя на сломанный ноготь.

— При чем тут твоя — не твоя тема? — скривилась Виктория. — Журналист — такая профессия... Сегодня с «лейкой» и блокнотом, а завтра — с пулеметом... Мне ли тебя учить? К тому же Сазонов — крупный рекламодатель. Трифонов боится с ним ссориться. Миша — злопамятный товарищ. Помнишь, как Елисеева в фотографии перевели? Скандалу было! Чуть Антона не уволили.

— Я помню, — оживилась Людочка. — У нас на семинаре, когда о свободе печати говорили, вспоминали тот случай. Что-то о колбасе из верблюжатины...

— Ну да, где начинается колбаса, там кончается свобода печати, — вздохнула Виктория. — Когда-то мы боролись за читателя, а не за рекламодателя. А теперь нас читают одни ветераны, да и то потому, что подписка у них бесплатная... Но ты не огорчайся, — она улыбнулась Ольге. — Если Трифонов тебя посылает, значит — доверяет. Глядишь, уйду на пенсию, назначит на мое место... Ты у нас — девушка перспективная!

— Ага, доверяет! Как же! — Ольга махнула рукой. — Сказал, что все в отпусках, работать некому. — И не удержалась, съязвила: — А некоторые, хоть и университеты вот-вот окончат, пару строк связать не могут... — Но, посмотрев на часы, охнула: — С минуты на минуту Стасик подъедет. Что ему скажу?

— Так вы и вправду в загс собрались? Заявление подавать? — Людочка, похоже, не заметив колкости, приподнялась со стула. —



То-то я смотрю, какая ты сегодня нарядная! И с прической!

«А что я в другое время лахудрой хожу?» — хотела огрызнуться Ольга, но у нее произвольно задрожали губы.

Она скривилась, собираясь заплакать, но сдержалась и, судорожно вздохнув, проговорила:

— Собирались... Заявление... Сегодня... А Трифонов уперся рогом, приказал сию минуту выезжать. Объясняла же, просила! — Ольга все же не вытерпела и жалобно всхлипнула: — Бесполезно!

Она сощурила глаза, стараясь удержать слезы, и ее ноздри затрепетали от гнева. Да и было отчего возмущаться! Этого предложения от Стаса Ольга ждала долго. По всем статьям был он парень, что надо! Высокий красавчик со спортивной фигурой, а главное — в наследство от папочки получил солидную фирму, имел шикарную квартиру, особняк за городом, дачи в Сочи и в Черногории, несколько крутых машин в гараже и очень солидный счет в банке. Правда, Ольге частенько приходилось закрывать глаза на грубость, а, порой, на откровенное хамство Стаса, но чего не вытерпишь ради счастливого будущего? Главное, совсем скоро она станет женой богатого и красивого бизнесмена. И вот теперь это идиотское задание! Трифонов безапелляционно потребовал немедленно отправляться к черту на кулички, причем никакие отговорки не принимались.

Честно говоря, не будь сегодняшнего похода в загс, Ольга отметила бы и приятные

стороны командировки в Зыряновку. Сазонов строил комплекс по итальянскому проекту. Итальянцы же его и курировали. С некоторыми из них Ольга встречалась на светских раутах и вечеринках. Обходительные, улыбочивые мужчины, слова без «Грание!»¹ или «Скузи!»² не скажут. А уж как ухаживать умеют...

Она снова схватила сумку и затолкала в нее платье и туфли. От всего нужно получать удовольствие, даже рядом со свинарником.

— Ты ему сказала, с кем в загс идешь? — спросила Виктория. — Стас ведь тоже наш рекламодатель.

— Стас с замом губернатора поцапался, — сообщила упавшим голосом Ольга. — Теперь он у Трифонова не в чести!

— Ну, и дурак! — через месяц Виктория собиралась на пенсию и могла себе позволить отозваться о начальстве нелицеприятно. — Таких денег лишимся! Стас ведь припомнит Дмитрию Алексеевичу все его прыжки и ужимки!

Она сочувственно посмотрела на Ольгу:

— Не хотела тебе говорить, но утром слышала, что вроде Васильева собиралась в Зыряновку. Отчего же переиграли?

— Так она же страшная, как наша жизнь! — вскинулась Людочка.

— Зато отменная журналистка, — парировала Виктория и смерила взглядом Ольгу. — Теперь понимаю! Сазонов у нас известный ценитель прекрасного!..

¹ grazie (итал.) — спасибо.

² scusi (итал.) — извините.

Ольга вспыхнула, хотела надерзить, но в сумке затрезвонил телефон. Она кинула растерянный взгляд на дверь, потом на Викторю с Людочкой и, прижав ладони к пылавшим щекам, на секунду замерла:

— Это Стас, — прошептала потерянно.

Телефон звонил, не переставая. Помедлив секунду, Ольга поднесла его к уху. Ее лицо то покрывалось красными пятнами, то бледнело, а рука, сжимавшая трубку, заметно подрагивала.

— Ты внизу? Я мигом! Мне надо кое-что сказать ... Сейчас...

Она затолкала в сумку блокнот, диктофон и почти бегом направилась к выходу.

— Как добираться будешь до Зыряновки? — спросила вслед Виктория.

— С Елисеевым, — раздраженно кинула на ходу Ольга.

— Держись! — хмыкнула Виктория. — Надо же, как не повезло, и все в один день.

Но Ольга уже выскочила за дверь.

Глава третья

Заметив на стоянке перед зданием большой черный автомобиль, Ольга направилась к нему. Сидевший за рулем молодой темно-волосый мужчина, опустил стекло и махнул рукой, приглашая ее сесть. Ну, хоть бы искра радости в глазах промелькнула! Нет! Сплошная скука на лице и отстраненность от всего земного. Ольга отметила это привычно, без обиды или огорчения. Таков ее Стасик! Тер-

петь не может всякие ахи-вздохи и соловьиные трели под луной! Оттого, верно, и с ней не расстался, что она не требовала ужинов при свечах, романтических подарков и серенад под балконом. Не в ее характере было закатывать истерики, устраивать сцены ревности, тянуть с жениха деньги... Впрочем, Ольга многое себе не позволяла ради вожделенного обручального кольца.

Вот и сейчас, заглядывая заискивающе жениху в глаза, принялась сбивчиво объяснять:

— Стасик, только не сердись! Главный меня в командировку посылает. Прямо сейчас. Отказаться нельзя... В редакции запарка... Материал нужен стопудово. Я постараюсь быстро... Туда и обратно. А завтра с утра в загс...

Боковым зрением Ольга отметила, что на стоянку въехала обшарпанная «Нива» с вмятиной на правой дверце. Из машины выскочил высокий худой парень, и завертел головой, кого-то отыскивая. Известно, кого! Редакционный фотограф Антон Елисеев был готов к поездке, как штык к атаке, но она намеренно не посмотрела в его сторону. Еще чего не хватало! Не мог хоть чуть-чуть задержаться!

— Оля, я уже здесь! — прокричал он от машины и призывно замахал рукой. — Поехали! Открытие через два часа! Едва-едва успеем!

Ольга выпрямилась. Градус настроения, и без того низкий, упал до уровня кроссовок. Терпения нет у этого придурка! Не видит разве, с кем она разговаривает? Окинув фотографа ледяным взглядом, скривилась

от отвращения. Старые джинсы смешно топорщились у него сзади, а светлая футболка была явно великовата.

— Это что еще за чучело? — процедил сквозь зубы Стас и, приспустив темные очки, презрительно сощурился на обладателя «Нивы».

— Наш фотограф. Вместе едем на задание, — поспешила пояснить Ольга, неодобрительно поглядывая на Елисеева. Господи, ну, какой же недотепа и тормоз! А одет...

— Задание? — захохотал Стас. — Разведчики, да и только!

Обрадовавшись, что жених не сердится, Ольга тоже негромко засмеялась.

И тут заметила его взгляд, устремленный в сторону редакции. И, еще не понимая, что он означает, Ольга почувствовала, как ей становится нехорошо, до колик в боку, до тошноты, как это бывало в детстве на уроках физкультуры. Тогда, в обмен на циферку «пять» в дневнике, она наматывала круги на школьном стадионе... Но теперь ее «пятерка» сидел в дорогом «крузаке», и все круги ради него она уже отмотала. Но, отчего же скололо в боку?

Ольга оглянулась. Настроение вмиг шлепнулось на асфальт, грозя испустить дух. С крыльца редакции спускалась Людочка. Нет, не спускалась! Она взлетала над ступенями, как бабочка, подчиняясь потокам воздуха! Вверх-вниз! Вверх-вниз! Яркая бабочка в шифоновом сарафанчике, с успевшими загореть тонкими плечиками. Подпрыгивали, как на пружинках, белокурые локоны, взвивалась легкая материя, открывая точеные ко-

ленки... А глаза! Глаза сияли, словно майское небо после первого ливня...

— Кто это? — отчего-то севшим голосом спросил Стас. — Тоже в газете работает?

— В газете, — Ольга постаралась, чтобы ее голос звучал безмятежно. — Практикантка. Та еще дурища!

Стас хмыкнул, но ничего не сказал. У Ольги обмерло все внутри. Людочка, все так же безмятежно улыбаясь, направилась к ним, — непринужденно, легко... Она будто не шла вовсе, а двигалась в танце, абсолютно не замечая высоченных каблучков.

— Что, не уехала еще? — спросила Ольгу, поигрывая сумочкой. И переключилась на Стаса. — Здравствуйте, Станислав Васильевич! Вы случайно не в город едете?

— Случайно, да! — улыбнулся Стас и нацепил очки, стопроцентно, чтобы сироп не пролился из глаз. — Вам в какую сторону?

— В Ковригино, — кокетливо улыбнулась Людочка. — Новый микрорайон. Знаете? Это далеко, конечно...

— Мне по пути, — добродушие так и перло из Стаса. Он даже вышел из машины и открыл перед Людмилой дверцу. Ольга задыхнулась от подобного коварства. Ее жених, выстраданный и почти окольцованный, предлагал этой юной нахалке *сесть на переднее сиденье!* Место, предназначенное для невесты, а потом — для жены! Ведь он сам говорил, что не возит посторонних женщин на переднем сиденье. Что случилось? Почему позволил взгромоздиться на него пустой, как вакуум, девице с тощей попой?



Ольга едва сдержалась, чтобы не схватить ее за шиворот и выбросить из машины. Это ж какую совесть надо иметь, чтобы навязываться в попутчицы к чужому жениху, зная, что его невеста уезжает в трудную командировку? Можно сказать, подвергает свою жизнь опасности... И разве это не опасно для жизни вдыхать всякую заразу и общаться с гадким свинопасом Сазоновым?

— У тебя рабочий день кончился? — справилась Ольга, жалея, что не может испепелить Людочку взглядом.

— Не-а, — ответила та со счастливым видом, забираясь на переднее сиденье. — Виктория послала забрать материал у Морозовой.

— Ты еще и курьером подрабатываешь? — спросила язвительно Ольга, но Стас повернул ключ зажигания.

Заработал мотор. И она, торопливо, глотая слова от волнения, спросила:

— Ты заедешь в загс? Скажи, что мы придем завтра...

И наклонилась, чтобы поцеловать Стаса, но он, дернув головой, отстранился.

— Не критично, — ухмыльнулся и хлопнул дверцей. — Перебьются без предупреждения!

Машина рванула с места. Людочка послала ей сквозь стекло воздушный поцелуй. А Ольге осталось лишь закусить губу, наблюдая, как «крузер» скрывается за поворотом.

— Нам пора, Оля, — легонько дотронулся до ее руки Антон.

Он, оказывается, стоял рядом.

— Достали все! — буркнула Ольга и быстрым шагом направилась к «Ниве».

Вблизи она выглядела еще хуже — точь-в-точь развалина со склада Вторчермета. Ольга негодуяще фыркнула. Трудно догадаться, что нужно покрасить агрегат? Вон — царапина на царапине, а вмятин столько, будто после жесткого пулеметного обстрела! Она брезгливо заглянула в распахнутую дверцу машины. Заметив выцветшие чехлы и ободранную обшивку, еще больше скривилась.

— Самый транспорт до Зырянки! — заметив ее взгляд, виновато улыбнулся Антон. — Дороги, знаете, не ахти! Трифонов велел через Крутоярск добираться, чтобы успеть к открытию, а там — не асфальт. Грунтовка...

— А мне это надо? — Ольга картинно закатила глаза.

Забравшись в машину, она перебросила сумку на заднее сиденье. И, захлопнув дверцу, скомандовала:

— Поехали!

Фырча мотором, «Нива» вывернула на главный городской проспект, а оттуда покатилась к окраине. До конца рабочего дня оставалось три часа, но плотная вереница машин уже двигалась в одном с ними направлении. Люди потянулись на дачи. К вечеру весь город будет стоять в пробках...

Антон уверенно вел машину, время от времени улыбаясь неизвестно чему. Похоже, он хорошо знал окрестности, поэтому вскоре свернул с проспекта в боковую улочку, и они помчались в объезд, минуя заторы у светофоров. И неожиданно быстро оказались на выезде из города. Еще несколько поворотов, — и вот уже мчатся по загородному шоссе.

Справа мелькнула автозаправка. Ольга мрачно поинтересовалась:

— Заправляться будете?

— Нет! Я уже заправился! — Антон озабоченно взглянул на часы. — Надо спешить, а то опоздаем к открытию комплекса!

Ольга недовольно на него покосилась. Навязались же на ее голову и дурацкая командировка, и Антон, и эта... Людочка. Вспомнив практикантку, Ольга сжала кулаки. Вот ведь зараза наглая! Прекрасно знала, что она встречается со Стасом, собирается за него замуж... Вон с каким интересом выпытывала о сегодняшнем походе в загс... Или уже тогда задумала каверзу?

Одно успокаивало: девчонка явно не в курсе привычек и характера Стаса, иначе не повела бы себя, как потенциальная шлюха! Но Стас-то, Стас! Тоже хорош! Дверцу открыл, чуть ли ни ножкой шаркнул! «Мне по пути!» — мысленно передразнила жениха Ольга и, чувствуя, что закипает, покрутила ручку на дверце, опуская стекло.

Свежий ветерок ворвался в салон, взлохматил волосы и следом принес острые запахи свежескошенной травы, медвяные — донника, желтевшего по обочинам, и распутившей соцветия липы, чьи огромные деревья с пышными кронами обступили дорогу. «Нива» мчалась теперь сквозь тенистый коридор, а солнечные зайчики, прорываясь сквозь тесное сплетение веток и листьев, сновали по асфальту, лезли под колеса, шлепались на капот, весело прыгали по стеклу, словно пытались отвлечь ее от мрачных мыслей.

Но напрасно! Даже зайчики ее раздражали! Остатком здравого смысла она понимала, что Людочка попала на переднее сиденье «крузера» в отместку. Жених, несмотря на отрешенность от всего земного, несомненно, обиделся. Уж она-то знала: Стас не прыщавый юнец, млеющий от каждой блондинки в прозрачном сарафанчике. Выяснить отношения прилюдно, он тоже не будет! Но завтра... Ольга зажмурилась. Завтра он выскажет все, что думает об ее командировке. Резко и оскорбительно! Впрочем, ей не привыкать! Лишь бы не раздумал ехать в загс...

От этих размышлений спокойнее не стало и, чтобы отвлечься, Ольга принялась смотреть в окно. Машина свернула на проселочную дорогу. Со всех сторон грунтовку обступал густой ельник, иногда давая волю



Большая дорога. 1877 г.
Худ. Николай Добровольский

березовым рошицам, невесомым в кружеве листвы, и лугам, затянутым богатым разнотравьем. Только Ольгу ничего не радовало. Голубое небо казалось белесым, ласковое солнце — ослепительным, а изумрудная, омытая утренним дождем листва — нарочито яркой.

Машину трясло и раскачивало. Грунтовок, видно, проложили при царе Горохе, и затем целенаправленно сокрушали в хлам все, кому не лень. Татарские и монгольские орды, польские отряды и французские полчища... Кто только не ходил на Русь по этим дорогам! Разбивали конскими копытами, топтали сапогами, месили колесами пушек. Густая пыль висела над проселками, чавкала осенняя грязь, неслась поземка над серой наледью — все выдержала русская грунтовка! Но то, что не удалось врагам, получилось у современных лесовозов, оставивших глубокие, залитые водой колеи. Антон умудрялся объезжать их по обочине, тогда еловые лапы задевали стекло, а на капот сыпались старые шишки и сухие хвоинки.

Ольга покосилась на него, и фотограф тотчас откликнулся на ее взгляд улыбкой.

— Места здесь удивительные, — произнес он с теплотой в голосе. — Посмотрите: как здорово!

Ольга хмыкнула! Вот еще! Нашелся ценитель прекрасного! Нужны кому-то его восклицания. Не удержалась и окинула фотографа скептическим взглядом. Женская половина редакции откровенно посмеивалась над Елисеевым. Был он несовременным каким-то, без наглости, дерзкого напора,

свойственного молодым газетчикам, с неизменной доброжелательной улыбкой в глазах. Одевался чисто, но недорого. Одежда висела на нем, как на вешалке, а джинсы и кроссовки Антон носил и зимой, и летом.

Ольга встречалась с редакционным фотографом редко. Светские мероприятия она снимала сама, правда, ее фотографии все равно попадали в руки Антона. Но претензий от него не поступало. Два дня назад их пути пересеклись в кабинете ответственного секретаря. Антон улыбнулся, попытался что-то сказать, но она убежала, сославшись на занятость.

— Мутный у нас Елисеев какой-то, — говорила Виктория, попивая кофе с пирожными. — Таких мужиков просто не бывает. Не пьет, ни курит, матом не ругается...

— А он женат? — поинтересовалась Людочка. Хотя, видит бог, Антон ей тоже был до лампочки.

— Не знаю, — пожала плечами Виктория. — Но какая жена вытерпит...

Машину сильно тряхнуло, и Ольга вцепилась в поручень.

— А чтоб тебя! — выругалась сквозь зубы и снова покосилась на Антона.

Надо же! Хотя бы в лице изменился, а ведь она чуть головой в переднее стекло не врезалась!

— До самой Зырянки будем так пилить? — спросила сварливо и, не дожидаясь ответа, проворчала: — Руки б тому вырвать, кто эти дороги мостил!

— В войну ее построили немцы. Рокадой называется. Бои в этих местах шли страш-

ные, — словно не замечая настроения своей попутчицы, сказал Антон. — Фашисты перели лавиной, техники полно, а дорог нет. Валили лес, укладывали бревна, сверху засыпали землей.

Справа мелькнул высокий откос. На нем — развалины храма без куполов, с взметнувшейся вверх колокольной. Красные кирпичные стены утопали в бурьяне, в котором паслись козы. Одна из них взобралась на кучу обломков и застыла, меланхолично жуя траву, ну, точно полководец в раздумьях накануне решающей битвы.

Антон притормозил перед огромной лужей. И пока он старательно ее объезжал, Ольга успела рассмотреть, что по откосу проложено несколько стежек, а по одной из них поднимались сторбленная бабка с батогом и девочка лет десяти со смешными косичками. Солнце купалось в пушистых облаках, а птицы весело щебетали в густых кронах.

И тут ей вдруг вспомнилось, как в детстве гостила все лето у бабушки в деревне. Их козы тоже паслись возле разрушенного храма. Бабушка всякий раз, когда они вдвоем приходили доить коз, крестилась на зиявший дырами купол с покосившимся крестом, Затем Ольга несла теплый бидон с молоком, а бабушка, словно прощаясь с развалинами, снова крестилась, шептала что-то синими губами, кланялась...

Девчонкой Ольгу мало занимали и те руины, и бабушкины шепотки, и торопливые поклоны. Больше волновало, как не упасть на крутом спуске и не пролить молоко. Еще она боялась зацепить куст крапивы, заросли

которой заволокли все окрест. А вот сейчас почему-то сжалось сердце, может, потому, что бабушка вспомнилась?..

— Храм какой-то, — сказала она грустно. — Совсем заброшенный...

Антон кинул быстрый взгляд в окно и снова устремил его на дорогу.

— Заброшенный... Но, говорят, уже есть план реставрации. Да, — он заметно оживился, — эта церковь считается самой старой в районе. Была срублена из дерева в начале семнадцатого века. Благополучно простояла до конца девятнадцатого. А потом приключилась занятная история. По какой-то причине здешний купец то ли подарил, то ли поменялся лотерейным билетом с одним горожанином. А тот возьми да выиграй по этому билету двести тысяч. Представляете? Это ж огромные деньги по тем временам, да и по нашим — немалые. Купец спохватился, хотел деньги вернуть, судился со счастливымчиком, до Сената дошел. Только напрасно, не вышло у него ничего. А горожанин взял и построил на выигрыш каменную церковь вместо обветшавшей, деревянной. Я читал, что на ее освящение сам архиерей приезжал.

Он печально улыбнулся.

— Во время войны на колокольне немецкие наблюдатели сидели. Корректировали артиллерийский огонь. А вон на той горке, — кивнул он на заросшую сорным лесом высотку, — их пушки стояли...

— Откуда вы все знаете? — уже с интересом посмотрела на него Ольга.

— А я неподалеку родился и вырос, — улыбнулся Антон. — И сейчас нет-нет да



Забытый храм. 1887 г. Худ. Николай Ярошенко

заглядываю... — Он быстро вывернул руль, объезжая очередную лужу. — Тут самые ягодные места, — кивнув на ближний лес, мелькавший за стеклом машины, махнул рукой. — Там, в бору, полные ведра черники набирали. А грибов сколько!

Он по-детски счастливо улыбнулся. А Ольга подумала, что Антон совсем не мутный. Просто интеллигентный парень, не нахал и не грубиян! В одном Виктория была права: мало их таких... искренних осталось!

Некоторое время они ехали молча. За все время навстречу попала пара лесовозов, груженных бревнами. Никто не обгонял, не плелся следом. Казалось, дорога вела в никуда. Не было впереди Зырянки, шумного сборища гостей и журналистов... И как же здорово на самом деле мчаться по проселочной дороге, оставив за спиной городскую суету, тревоги, волнения, не думая о прошлом, не волнуясь о будущем...

Приоткрыв стекло, Ольга уже без раздражения окинула взглядом окрестности. Над лугами висело ромашковое марево, синели васильки, розовели полевые гвоздики. Темнел вдали сосновый бор, но стволы деревьев уже позолотило вечернее солнце. Его лучи протянулись из-под серой тучи, словно мечи былинных богатырей. Для полноты ощущений не хватало трехголового змея, но, если присмотреться, то туча могла сойти за кого угодно, тем более она постоянно меняла свои очертания. А теплый ветер вдруг посвежел и принес запах грибов — первую приметку надвигавшегося дождя.

Она глянула на небо. Тяжелые тучи уже затянули горизонт. Вот еще ливня им не хватало!

— Далеко еще?

Спросила и достала из кармана телефон. Сеть отсутствовала, но кто бы в этом сомневался? Стас, если и пожелает позвонить, ни за что не дозвонится. Если, пожелает, конечно!

— Нет, километров тридцать осталось. Успеем!

Как же, успеем! Ольга почувствовала, что вновь наваливается раздражение. Глухое, темное, тупое! Растет, пухнет, стремится найти выход, как лава в жерле вулкана... Она закрыла глаза. Машина еле ползла, объезжая ямы и рытвины. Тридцать километров! Такими темпами едва к концу церемонии успеют. В понедельник Трифонов сожрет их с потрохами!

Она непроизвольно сжала в кармане трубку. Почти два часа прошло, а Стас так и не позвонил. Хотя с чего ему звонить? Он же не трясется по разбитой дороге на доисторической колымаге!

Ольга старалась не думать о Людочке, но воображение подкидывало все новые и новые картины. В конце концов, дошло до того, что представила ее на коленях у Стаса и едва сдержалась, чтобы не выругаться. Отчего же ей так не везет?

— Вам плохо? — голос Антона вернул ее в реальность. — Укачало?

— Нет! — Ольга выпрямилась, встряхнула головой. — Просто задумалась.

И впервые посмотрела ему в глаза. Ничего особенного, глаза, как глаза! У Стаса, должно

быть, красивее! Но почему ж тогда глаза жёниха никогда не смотрели на неё так тепло и заботливо?

— Я остановлю машину, — неожиданно твердо сказал Антон. — Вам нужно подышать свежим воздухом! Вон как побледнели!

— Побледнела? — удивилась Ольга. И махнула рукой. — Поехали! Ещё надышимся!

— Хорошо, — согласился Антон и, нахмурившись, вдруг спросил: — Вы сегодня обедали?

— Обедала? — снова вопросом на вопрос ответила Ольга и пожала плечами. — Нет, забыла...

Фотограф укоризненно посмотрел на неё.

— Что ж не сказали? Заскочили бы в городе куда-нибудь перекусить, а тут до самой Зыряновки — ни столовки тебе, ни кафешки придорожной.

— Да ладно! Не парьтесь! — засмеялась Ольга. — На банкете наедемся!

Антон ответно улыбнулся.

— Я на банкет не слишком надеюсь, поэтому прихватил с собой бутерброды и чай в термосе. Сазонов терпеть меня не может, так что на банкет вряд ли попаду. Вы-то погуляете, а я лучше в машине дождусь.

— Ну, так дело не пойдёт! — возмутилась Ольга. — Если вас не пригласят, то я тоже откажусь от этого свинского банкета.

Антон удрученно покачал головой, но не сдержался и расплылся в улыбке, словно обрадовался неожиданно обретенному союзнику.

— Ох, не любите вы Сазонова. С чего вдруг?

— Допустим, у вас он тоже в любимчиках не ходит! — огрызнулась она.

И совсем уж было открыла рот, чтобы спросить о происшествии с колбасой. Но Антон вдруг, ни с того ни с сего принялся читать стихи. И она замерла. Давно уже никто не читал ей стихи...

— За деревней сонною, за печалью тихую,

— голос его тоже был тих и печален:

— Пахнет луг туманами пополам с гречихою.

В лозняке за выпасом, над рекой недалнею

Истекают росами голоса печальные.

Я стою да слушаю, - хочется, не хочется, -

Справа — грусть глубокая, слева — одиночество...¹

Ольга закрыла глаза. Точно! И грусть, и одиночество! Все в одном флаконе! Ну, распишется она со Стасом, и что дальше? Он сразу поставил условие: никакой работы, никакой журналистики! А чем прикажете заниматься? Как там у немцев? Знаменитая формула трех «к» — киндер, кюхен, кирхе? Дети, кухня, церковь? А пять лет учебы в университете коту под хвост? Но, с другой стороны, что ее ждет в газете? Шесть лет она тянет эту лямку, но выше корреспондента отдела светской хроники не поднялась. Потому и мнение о ней сложилось, как о красивой и взбалмошной девице, которая ни на что серьезное не способна! А кто-нибудь предложил ей написать серьезный материал? Экономический обзор или аналитиче-

¹ Н. Якунин.

скую статью? Но этим занимались два редакционных корифея — Бузыкин и Фомченко, с обрюзгшими лицами старых алкоголиков. Оба все еще жили советским прошлым, ворчали и саркастически морщились при словах «демократия» и «рынок», но зато живо разобрались с Интернетом. Вот и тырили оттуда материалы, рассуждая о высоком предназначении журналиста...

Антон замолчал. Она повернулась к нему, хотела сказать, что стихи замечательные, и, не смог бы он почитать еще что-нибудь, но в это мгновение машину так подбросило на ухабах, что она прикусила язык.

— Яму не заметил! — в сердцах произнес Антон. — Бомбили дорогу, что ли?

Машину вновь крепко тряхнуло. Ольга подпрыгнула на сиденье и схватилась за поручень обеими руками.

— Держись! — крикнул Антон и резко вывернул руль.

«Нива» пошла юзом, накренилась... Следом, что-то ударило в днище, будто они наскочили на бревно или большой камень. Раздался громкий скрежет. Машина, словно рыба, схватившая наживку, дернулась туда-сюда. Мотор надсадно взревел и тут же, будто осекся на вдохе, заглох.

— Что такое? — вскрикнула Ольга.

— Не знаю, — нахмурился Антон, выглядывая в окно. — Кажется, сели...

Они вышли из машины. Из-под капота сочилась струйки пара. Антон встал на колени и попытался заглянуть под машину. Затем с озадаченным видом поднялся на ноги, отряхнул джинсы и виновато развел руками.

— Все! Приехали! Похоже, кардан полетел.

— И что теперь? — сердито спросила Ольга. Хорошее настроение вмиг улетучилось. Растаяло как светлое облачко, уносимое ветром.

— Без сварки тут не обойтись, — Антон бросил взгляд по сторонам. — Надо в деревню идти, трактор искать. А потом — или мастерскую, или сварщика.

— Ничего себе! — всплеснула руками Ольга. — И далеко та деревня?

Антон пожал плечами.

— Была тут одна, километрах в пяти от дороги. Но кто знает, жива ли сейчас? В девяностые многие деревни опустели.

Сильный порыв ветра заставил их отступить за машину. Пыльные вихри взвились над дорогой, тревожно зашумел лес. Воздушный поток закрутил кусты, примял траву на обочинах. И тотчас тяжелые капли ударили по листьям, забарабанили по капоту, запрыгали по лужам. Ольга и Антон разом посмотрели в небо и, не стовариваясь, нырнули в машину.

Рваные черные тучи неслись над землей. Утробно урчал гром. Зигзаги молний чертили небо. Гроза — обычное дело в начале июля — налетела, как всегда, неожиданно. Но подобные грозы — быстрые грозы, на полчаса — не больше! Постреляют молниями, погрохочут в свое удовольствие, окатят землю щедрым ливнем и — умчатся дальше, за горизонт.

Ольга зябко передернула плечами и плотней захлопнула дверцу. Злость снова шевель-

нулась в груди. Ну, и денек сегодня! Мало того, что пришлось ехать в такую глухомань, так еще угораздило сломаться по дороге.

— Сколько вам времени понадобится, чтобы найти трактор?

Антон пожал плечами.

— Часа три... четыре. И то при условии, что деревня на месте, а тракторист не запил.

— Ну да, если там вообще трактор есть, — съязвила Ольга.

— Все равно придется ждать, пока ливень не прекратится! — Антон вздохнул и посмотрел на часы. — Тут днем машины — большая редкость, а вечером да в дождь — вообще никакой гарантии, что кто-то проедет.

— Спасибо, обнадежили! Вокруг такая глушь, что проедут — не остановятся.

Ливень тем временем почти стих, но мутные ручейки продолжали бежать по стеклам.

— Надо идти, — Антон приоткрыл дверцу.

Гром лениво, словно перекатывая тяжелые камни, ворчал где-то за лесом; молнии рассекали небо, но были уже не страшны; тучи волоклись почти по земле, обильно поливая ее мелким, спорым дождиком.

— Что-то никаких дорог не видно, — снова сказал Антон. — Придется по полю шагать. Хорошо, хоть не пашня! — Он виновато глянул на Ольгу. — Теперь по-любому не успеем на открытие. Если машину починим, то заедем завтра, хоть комплекс сфотографируем.

— Завтра?! — у Ольги от негодования перехватило дыхание — А здесь всю ночь загорать? Ты с дуба упал?

Антон словно не заметил ее грубости, а Ольге вдруг стало стыдно. Чего она него накинута? Ведь не ей, а ему прилетит больше тумаков от редактора за сорванное задание.

— Ну, прикиньте сами. Пока я доберусь, пока трактор найду. Потом за машиной вернуться надо, — Антон не убеждал, а будто уговаривал ее, как маленькую. — К тому же неизвестно, сколько ремонт продлится. А переночевать можно в деревне...

— Я с вами пойду, — решительно сказала Ольга и потянула сумку с заднего сиденья. Ее совсем не устраивала перспектива торчать в одиночку на пустынной лесной дороге. К тому же известно: ждать и догонять — хуже некуда. Да и страшновато, что говорить!

Дождь сыпал и сыпал. Ольга натянула ветровку, но та тотчас промокла, а зонта она, как на грех, не захватила.

— Возьмите, — Антон протянул что-то бесформенное. — Это плащ-палатка офицерская. Наденьте, чтобы не промокнуть!

— Не надо, — отвела его руку Ольга, — я в ней только запутаюсь.

Антон вытащил из багажника куртку, рюкзак, затолкал в него плащ-палатку и небольшой топорик в брезентовом чехле. Заметив ее взгляд, пояснил:

— Пригодится! Вдруг придется дров для костра нарубить...

— А я-то подумала, тракториста будем в плен брать, — неожиданно рассмеялась Ольга и махнула рукой. — Кончай уже выкатить! Давай на «ты» перейдем, товарищ по несчастью!



Буря – дождь. 1899 г. Худ. Исаак Левитан

Антон вскинул рюкзак на плечо. Согласно кивнул.

— Давай! — и перехватил у нее сумку. — Так будет лучше.

Ольга благодарно улыбнулась, но ее попутчик, похоже, не заметил улыбки. Он стоял на обочине и смотрел туда, где разлеглось огромное, поросшее чахлым березняком, слегка холмистое поле. Его край сливался с темной полоской леса на горизонте. И ни огонька впереди, ни единого звука, подтверждавшего близость человеческого жилья...

— Идем? — Антон наконец посмотрел на нее.

— Идем! — эхом отозвалась Ольга и почувствовала, как сильные, теплые пальцы сжали ее ладонь. Но руку не вырвала, так ей было намного спокойнее.

Глава четвертая

Долго шли напрямик через поле. Тучи поднялись чуть выше, но светлее от этого не стало. Серый, вязкий сумрак стелился над землей. Густые, цепкие травы выросли, видно, по пахоте, и Ольга то проваливалась в какие-то ямы, то спотыкалась о кочки. Фонарик, который Антон держал в другой руке, светил слабо, зато темнота вокруг становилась все плотнее. Пару раз они вспугнули каких-то птиц. Стайки с треском поднялись из-под ног и тут же сгнули, как привидения. Ольга ойкнула и присела от неожиданности.

— Перепела! — глухо сказал Антон.

А когда в круге света мелькнул какой-то зверь и пошел петлять по зарослям в сторону леса, так же коротко пояснил:

— Лиса! Мышковала или гнезда зорила!

Дождь сыпал, не переставая. В кроссовках противно хлюпало, джинсы и куртка промокли и шуршали при ходьбе, как брезентовые. Ольга натянула капюшон на голову, но и это не спасало. Холодные ручейки текли по лицу, спине, животу... Поначалу она сердилась, ворчала, пыталась жаловаться на судьбу. Но Антон помалкивал, не сочувствовал, но и не подбадривал. Впрочем, и то, и

другое, непременно, ее разозлило бы. Вдобавок, Антону тоже досталось бы на орехи.

Поразмыслив, она поняла, что ее спутник выбрал мудрую позицию. И хотя ему также было нелегко, он ни разу не выпустил ее ладонь. Терпеливо тащил по мелким буеракам и рытвинам заброшенного поля, не позволяя упасть и отдать богу душу, и дорогу выбирал обдуманно: обходил кусты, возвышенности, не лез напролом через березовые колки. В какой-то момент Ольга восхитилась его умением ориентироваться в темноте на незнакомой местности. Но комплименты не озвучила, благоразумно решив дожидаться конца эпопеи.

Наконец поле закончилось. Перед ними лежал глубокий овраг, заросший по краям редким березняком.

— Придется через лес идти, — сказал Антон. — Вдоль оврага. — И первый раз спросил: — Устала?

— Есть немного, — ответила Ольга и бросила взгляд по сторонам. — Как ты думаешь, мы правильно идем?

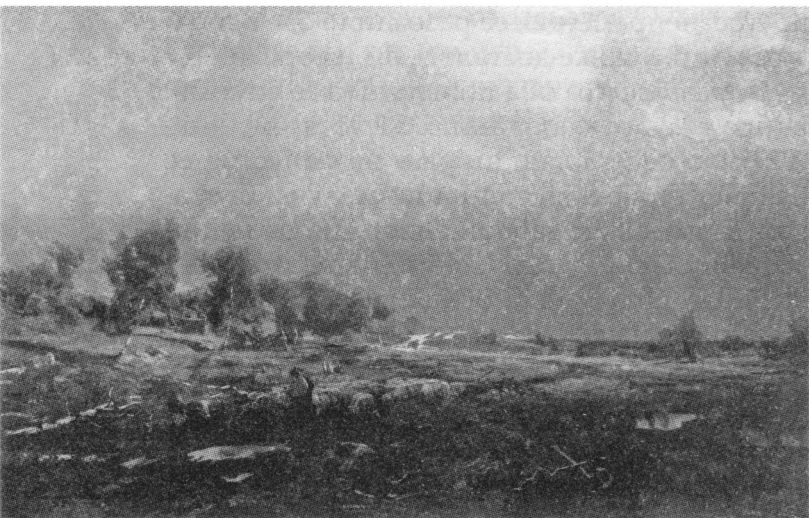
Антон пожал плечами.

— Вроде правильно. Деревня где-то здесь. Я этот овраг помню, только раньше он поменьше был. И лес вроде гуще стал.

Он повел лучом фонарика по стволам деревьев.

— В детстве мы сюда к бабушкиной сестре приезжали, к тетке Пелагее. В лесу землянику собирали, травы всякие от простуды. До войны здесь сплошь колхозные поля были. Лес после вырос. Можно сказать, на костях и крови поднялся. Видишь справа горюшку?





Буря в поле. Конец XIX в.
Худ. Владимир Орловский

Там тоже немцы стояли. Поливали огнем наших бойцов. Сколько их тут полегло, до сих пор неизвестно...

Ольга поежилась.

— Летом бои шли?

— Нет, зимой. Представляешь, ни окопаться как следует, ни естественных укрытий. Раздетые, разутые шли в атаку... Голодные...

— У них, что и шинелей не было? — поразилась Ольга.

— Какие там шинели? — вздохнул Антон. — Рваньё одно. Счастье было, если фуфайка имелась да ботинки с обмотками. Хоть не так промокали. А, в основном сапоги кирзовые, да портянки, которые, если не просушишь, ноги отморозишь, как дважды два.

Он покосился на Ольгу.

— У тебя разве никто не воевал?

— Дед воевал, — пожала она плечами, — но он умер еще до моего рождения. Бабушка при фашистах жила, но не любила про это рассказывать.

— Понятно! — сказал Антон. То ли с осуждением сказал, то ли впрямь понял, насколько она дремучая дура. Но почему ж дремучая? В школе она реферат писала об обороне Сталинграда, и старые фильмы о войне любила. И все же Отечественная война была для нее так же далека, как восстание Спартака или татарско-монгольское иго.

Дождь тем временем незаметно как-то прекратился, а из оврага стал подниматься, затягивая все окрест, густой, точно молоко, туман.

— Пойдем, пока совсем не заволокло, — сказал Антон и снова взял ее за руку.

Ноги путались в траве, запинались о пни и валежины, проваливались в ямы с водой. Но они брели сквозь лес, разрезая, как ледокол полярные льды, белесую мглу. И в этом крохотном пространстве, где все сочилось влагой, где пахло прелью и мокрой травой, на Ольгу вновь накатило чувство, что все происходит в другом измерении. И даже не с ней, а с посторонней женщиной — промокшей до костей, испуганной и уставшей до чертиков в глазах. Она уже не спрашивала, далеко ли до деревни, долго ли еще идти? Что изменится от ее вопросов, если Антон, похоже, не знает на них ответов?..

— Та-та-та! — пулеметная очередь взорвала пространство совсем рядом.

— Ой, мамочки! — вскрикнула Ольга и,

вырвав руку, присела. А потом, пригнувшись, помчалась к проступившему сквозь туман стожку сена.

— Цвирк! Цвирк! — проносились мимо пули. Настоящие пули?

— Вперед! За Родину! — хрипло, надсадно прокричал кто-то рядом, и следом сквозь мрачный гул, который шел, словно из-под земли, разрастаясь вверх и вширь, будто вырвалось на волю и понеслось, полетело над полем: «Ура-а-а-а... ра-а-а... а-а-а!..» И содрогнулась земля: то ударили пушки. Ольга вжалась в сено, ничего не понимая и завывая от страха. Мутные полосы света, резали, точно серпами, туман. И в этом мерцающем мареве двигались, перемещались, бежали куда-то темные фигуры с винтовками наперевес, сливаясь в единую массу, разрываемую красными вспышками, то, кажется, рвались снаряды. Один ударил совсем близко. И в этом мгновенном всплеске огня и грохота Ольга разглядела, как падают люди. Навзничь и ничком, спотыкаясь и вскидывая руки, словно в последней мольбе...

— Господи! Господи! — шептала она трясущимися губами. — Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани... Куда я попала? Что происходит?

Она лихорадочно крутила головой, пытаясь отыскать в сизом месиве Антона. Что с ним? Почему не бросился следом за ней? Неужто они попали в эпицентр каких-то военных учений? Но почему ж тогда не парашку свистят пули? Почему рвутся снаряды? Она сама видела кровь на лице молоденького солдата. Вон там, под березой. Или

это инсценировка? Съёмки фильма? Но почему ж ночью? В этой глуши? В тумане, наконец?

— Мама! — вскрикнул кто-то за ее спиной. — Мамочка-а-а! Помоги...

И тогда, не разбирая дороги, Ольга кинулась на крик.

— Сейчас, сейчас, миленький, — шептала она, — сейчас помогу...

А вокруг шел бой! Стреляли, казалось, отовсюду! Содрогалась земля, огненные вспышки били по глазам... И в этом грохочущем, воющем, ревушем ужасе тонули, глохли крики людей... И ее, Ольгины, крики.

Внезапно она налетела на дерево, споткнулась, упала и снова поднялась на ноги, плохо соображая, куда бежит и зачем... То ли слезы, то ли дождевые потоки бежали по лицу, но во рту пересохло. Она ловила ртом холодные капли, но этого было мало, мало...

Внезапно кто-то схватил ее за плечи, резко тряхнул.

— А-а-а! — тоненько закричала Ольга и, вывернувшись, отскочила за дерево.

— Оля, что случилось?

Из тумана вынырнула знакомая фигура.

— Ты куда рванула? — спросил в недоумении Антон. — Еле догнал. Ты хоть объясняй...

— Антон, живой! — Ольга бросилась к нему, обняла за плечи, прижалась на мгновение. И тут же заторопила: — Давай, давай, пойдем быстрее! Тут где-то раненый...

— Какой раненый? О чем ты? — опешил Антон.

— Но как же? — растерялась она, и только тут поняла, что бой стих. Так же внезапно, как и начался. Не шарили по полю лучи прожекторов, не гремели пушки, не стучали пулеметы, не слепили глаза вспышки взрывов. И никто больше не кричал «Ура-а!» и «Мама!»

— Ты разве не слышал? — спросила она робко.

— Что? Что я должен был слышать?

Антон подошел ближе. Взял за руку.

— Что с тобой? Ты вся дрожишь? — И неожиданно обнял, прижал к себе. — Чего испугалась?

— Тут, тут... Нет, я сошла с ума! — Ольга почувствовала, как слезы проложили горячие дорожки по щекам. — Тут снаряды взрывались, пулемет бил очередями... Раненые кричали! — Она схватила Антона за отвороты куртки, встряхнула. — Понимаешь, тут люди умирали... По-настоящему... А ты спрашиваешь: «Что?»

— погоди, — Антон мягко коснулся ее щеки. — Не плачь! Я все понял! В детстве я как-то в ночное напросился с деревенскими пацанами. Они здесь неподалеку колхозных лошадей пасли. Тоже туман навалился... И видим вдруг, как наши бойцы идут в атаку, стрельбу слышим и крики. Перепугались до смерти! Вскочили на коней и — в деревню. Взрослые нас на смех подняли, а бабка Пелагея головой покачала и перекрестилась: «Молитвы просят, касатики». Не поняли мы тогда ничего, а вот теперь все стало ясно. Видно, и впрямь много их тут, душ неприкаянных...

— Но почему? Почему... я видела это? — плечи ее вздрагивали, и она снова прильнула к Антону. — И слышала! Я очень хорошо слышала, как кто-то звал на помощь!

— Не знаю, — задумчиво произнес Антон, поглаживая ее по голове. — Наверно, для чего-то нужно. — И ласково отвел мокрую прядь с лица. — Пойдем, тут недалеко осталось.

Глава пятая

Едва Тихон прикрыл глаза, как в уши полилось тихое благозвучное пение церковного хора: «Богородица, Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою...» Ох, как же любил Тихон это славословие. Всегда ощущал: плачет душа светлыми слезами. Вот и сейчас, едва зазвучали в сердце знакомые слова, и тотчас начинало таять в груди, и хотелось унести ввысь, в небесные просторы. Улететь, чтобы оглядеть с высоты родные просторы, упорхнуть на секунду в отчий дом, глянуть на маманю с братишками, отыскать могилку отца, почившего аккуратно перед войной.

Война... Тихон вздохнул, но не тяжело и безнадежно, а легко и благостно. Верил, не попустит Господь и Пречистая гибели России и веры православной. Оттого и пошел на войну в первые же дни.

Где-то сбоку разорвался снаряд, засверкали пули. Тихон мысленно перекрестился.



Спевка в церковной сторожке.
Конец XIX в. Худ. Леонид Соломаткин

Снова бой? Нет, вроде стихло.

— Господи, помилуй, — едва слышно произнес Тихон

— Ты что, Тиха, молишься Богу своему? — К Тихону подполз Фархад. Тот самый узбек, что ходил с ним к роще. Узкоглазый, смуглолицый, он говорил быстро, произнося некоторые слова неправильно.

— Давай вместе а? Ты Богу, я Аллаху. Молиться надо, Тиха, шибко умирать не хочется, — Фархад доверчиво взглянул на Тихона.

— И что ты тут бормочешь, чертяка не русский, — к бойцам неслышно подошел Иван Зубарев, молодой парень лет двадцати пяти. А может, и меньше. Все тогда выглядели старше своих лет. Весельчак и зубоскал, он прибыл в их полк откуда-то из-под Брянска. Очень быстро со всеми перезнакомился и любил подтрунивать над молоденькими, необстрелянными солдатами.

— Э-э-э, зачем обижаешь? Зачем обзываешься? — сощурил и без того узкие глаза Фархад, зябко передергивая плечами.

Ветер, колючий, знобкий, подул из полей, бросая в лицо дождевые капли.

— А ты здесь свою пропаганду не разводи. Аллах, Аллах, — Иван плечом толкнул Фархада, так, что тот завалился набок, — ни Бога, ни Аллаха нет. Темнота ты...

— Эй, чего расшумелись, — прикрикнул на бойцов усатый сержант.

— Слышь, сержант, когда кухня приедет? Второй день без еды, брюхо к спине приросло, — брянский недовольно цедил слова, цепко оглядывая окрестности.

— Терпите, ребятки, — сержант пригладил усы, — видали, какая страсть кругом творится... Не знаешь, останешься живым через час, минуточку.

— А по мне — так лучше сытым помереть, — продолжал Зубарев пререкаться с сержантом.

— Отставить разговоры, приготовиться к бою, — молоденький лейтенант, пригнувшись, пробежал вдоль окопа.

Тихон поудобнее перехватил винтовку

и покосился на Фархада. Тот зябко дергал плечами, в темных глазах плескался страх.

«Совсем молоденький, — подумал Тихон, — и замерз, видать». Сегодня ночью, не смотря на август, подул стылый ветер, и солдаты в тонких гимнастерках вмиг окоченели. А узбеку так совсем нелегко.

— Дай, я первый стрельну, — не попросил, потребовал Зубарев винтовку, которую сжимал Тихон. Злость гуляла у брянского на лице, пальцы в нетерпении скребли землю у бруствера окопа.

— Пусть Тиха, пусть Тиха, — хрипло прошептал Фархад, не смея отвести взгляд от цепи приближающихся фашистов.

Вроде негромко шепнул, но Иван услышал его и выкрикнул в ярости:

— Ты чего мне, гнида, рот затыкаешь. Тихо, тихо... Сам заткнись.

Фархад внезапно заплакал, тоненько подывая, словно маленький ребенок.

— У-у-у, сосунок, куда с таким в бой, — Зубарев выругался.

— Огонь, — раздалась команда, и Тихон передернул затвор.

— Господи, прости, — шевельнул губами, целясь в бегущего врага, — Богородица, помогай мне.

— Я ж их гадов зубами грызть готов, — взревел брянский, — косить фрицев безостановочно. А чем?.. Чем? Где оружие, лейтенант? Где?

— За мной! В рукопашную... Вперед! За Родину! За Сталина! Ура-а-а! — лейтенант поднял вверх руку с пистолетом.

Растерянно оглянувшись на Тихона, поднялся Фархад. Тихон ободряюще кивнул узбеку.

— Не дрейфь, урюк! Смелость города берет! Эх, где наша не пропадала! — выскочил из окопа Зубарев, выдергивая из-за пояса саперную лопатку. — Ура-а-а-а! За Родину-у-у!

— За Родину! — закричал и Тихон, в доли секунды увидев могилку отца возле сельского храма, со стен которого еще в тридцать пятом были содраны иконы, а с купола сбит крест.

— За Родину! — крикнул Фархад и, стараясь не отставать, побежал за Тихоном. Тот заметил в руках у него нож. «Молодец», — удовлетворенно отметил про себя, устремляясь вперед.

Работая прикладом, Тихон старался не выпускать из поля зрения узбека. Фархад вьюном кружился рядом, ощерившись, словно молодой волчонок.

Немцы перли лавиной. Но и наши держались, орудуя, кто чем мог: лопатками, ножами, а, то и просто голыми руками. Однако чувствовалось, что силы не равны. Солдаты падали один за другим. Тихон, давно потеряв Фархада из вида, чувствовал, что еще немного, и он сам рухнет среди мертвых тел. Руки ослабли, пот заливал глаза и не хватало уже сил справляться с холеными, откормленными фрицами.

— Господи, Господи, Господи, — шептал он беспрестанно. А может, и кричал уже, сам того не сознавая. Всегда призывать имя Божье учил его отец, сельский священник,

так и не переживший страшное осквернение храма. До последнего надеялся, что минует его ужасная участь. Но нет, пришли, буйствовали в алтаре, топтали святые лики, сдирая оклады...

— Назад... — лейтенант, размазывая кровь по лицу, махнул рукой.

— Назад... отступаем... — пронеслось по полю.

По всей вероятности, фашисты тоже выдохлись, поэтому не преследовали отступающих русских, только пустили вслед несколько очередей из автоматов.

Тихон лег ничком на землю, и снова любимый напев ударил в уши: «Богородице, Дево, радуйся...» Только теперь слова звучали не благостно и легко, а скорбно. Очень скорбно.

В окоп ввалился брянский, таща два немецких автомата.

— Фархада не видел? — спросил Тихон.

— Смотри, чего добыл, — возбужденно воскликнул брянский, не отвечая на вопрос, — ну теперь держись, сволота немецкая.

Приподнявшись над окопом, Тихон внимательно оглядывал поле, где совсем недавно шел бой.

— Пожрать бы сейчас, — сплюнул Зубарев, — кишки свело, брюхо есть, да нечего есть.

— У меня немного лепешка осталась. Совсем сухой. Еще *она*¹ пекла в дорогу, — раздался откуда-то сбоку знакомый голос. Фархад!

¹ Мама (узб.).

Узбек сидел на корточках на дне окопа и, скинув с плеч вещмешок, копался в нем. Рядом лежал автомат.

— Ты гляди! — хлопнул ладонью об ладонь Иван. — Вот тебе и узкоглазый сын Аллаха.

— Кушай, пожалуйста, — Фархад протянул брянскому кусок твердой, будто дорога, лепешки.

— А сам? — У Ивана остро блеснули глаза.

Фархад улыбнулся слегка виновато, но ничего не сказал. Брянский отгрыз от лепешки и передал ее Тихону. Тот слегка помочил во рту, ощутив пресный вкус хлеба.

— На, — протянул Фархаду.

Так лепешка пошла по кругу. Заметив, прислонившегося спиной к земляному валу молодого солдата, Тихон тронул его за плечо. Солдат открыл глаза. Гимнастерка у него была забрызгана кровью, даже на лице виднелись бурые капли.

— Ты ранен?

— Нет, — качнул головой солдат, — немца пырнул, а он на меня завалился, еле отскочил.

— Вот, держи, — Тихон отдал бойцу последний крохотный кусочек лепешки.

— Спасибо. Меня Дмитрий зовут. Дмитрий Пасканной, — солдат быстро проглотил хлеб.

— Оттуда? Не из Брянска? — спросил с надеждой Зубарев.

— Из Белоруссии. Из-под Витебска, — сглотнул тугой комок Дмитрий.

— Танки, — истошно закричал кто-то.

По полю, урча, двигалась армада черных машин.

Глава шестая

Тропинка полезла наверх, и туман постепенно отступал. На возвышенности уже виднелись темные дома, но ноги не слушались Ольгу. От пережитого и дальней дороги она устала и разволновалась. К тому же очень хотелось есть и пить. Антон тоже с трудом шагал рядом, поддерживая девушку за руку.

— Не зря моя мама говорит: едешь на день, а собирайся на неделю. Даже бутерброды с собой не захватили, — Антон остановился и смерил взглядом расстояние до деревушки. Оставалось совсем чуть-чуть.

— Сейчас отдохнем, обсохнем и покушаем, — подбадривал он свою спутницу, — в наших краях знаешь какие люди гостеприимные.

Они взобрались на горушку, и теперь деревяня лежала перед ними, вызывая чувство тоски и безысходности. Целых оставалось всего несколько домов, и те стояли заколоченные. Остальные были полуразвалившимися, некоторые покосились на один бок, у других вместо крыши зияла дыра. На месте когда-то любовно возвращаемых огородов возвышался бурьян, у крылечек бушевала крапива, а кое-где сохранившиеся калитки скрипели от порывов ветра.

— Мертвая деревяня, — прошептала Ольга с ужасом.

— Нет, заброшенная, — с печалью в голосе ответил Антон, — немало таких деревушек на Руси. К сожалению. Смотри, Оля, вон тот дом почти целый, даже дверь не заколочена. Ты можешь немного отдохнуть там, а я...



Лесная тропинка. 1885 г.
Худ. Аполлинарий Васнецов

— Нет... нет, — торопливо закричала девушка, — я здесь не останусь.

Антон внимательно осмотрелся. В сумрачной пелене дождя, вдали, за темнеющим поодаль редколесьем блеснул и тут же пропал огонек. Они побрели по деревне, по бывшей когда-то широкой улице, а теперь сплошь поросшей лопухами и мелким кустарником. Немного в стороне виднелась церквушка с обвалившимся куполом. Кирпичные глазницы зияли чернотой, проржавевшие решетки валялись рядом, вместо двери — тоже дыра.

— Немцы здесь установили пулемет и косили наших, как траву, — Антон горестно покачал головой.

— Не надо, — попросила Ольга.

Никогда прежде не задумывалась она о таких вещах. Была война и была, существует праздник — День Победы, живы ветераны, но все это проходило как бы мимо сознания девушки, воспринималось без волнения

и душевного трепета. Но вот сегодня, когда они словно плыли по туманному полю и вокруг нее слышались стоны и разрывы снарядов, что-то дрогнуло внутри, Ольге стало безумно жаль этих парней, ее ровесников, многие из которых так и лежат здесь неопознанные, непогребенные, неотпетые.

Едва вышли за деревню, как тут же оказались на лугу, поросшем буйными травами. Антон пошел впереди, раздвигая растения руками, Ольга закусив губу с трудом плелась сзади. Огонек впереди то манил желтоватым теплым светом, то вовсе пропадал, но молодые люди упорно пробирались к нему, из последних сил передвигая ногами. Луг кончился. По лесу идти было легче. Трава здесь была не такая густая, и сухостоя, и завалов, как ни странно почти не было, словно кто-то очень бережно ухаживал за лесом.

Огонек вновь блеснул за деревьями и уже не пропадал, звал, обещая отдых и кров.

— Наверное, деревня, — предположил Антон и ускорил шаг. Ольга тоже поспешила за ним. Усталость на время куда-то делась. Хотелось только одного: поскорее добраться до теплого и сухого места.

Неожиданно прямо посреди леса возникла высокая стена похожая на крепостную: из грубого необработанного камня. В высокой башне над массивными воротами светилось небольшое окошко, а за стеной виднелся похожий на белый корабль храм с тремя куполами.

— Церковь, — удивленно воскликнула Ольга.

— Монастырь, — поправил ее Антон, — только откуда он здесь. Я что-то и не слышал об этом. Наверное, совсем недавно восстановили.

Ольга заметила возле ворот маленькую кнопочку звонка и робко нажала на нее. Вскоре появился высокий пожилой монах в старенькой рясе. Он строго глянул на непрощенных гостей.

— Мы заблудились, — зачастила Ольга, боясь, что монах сейчас закроет перед ними дверь, — попали под дождь, замерзли.

— Проходите, — кивнул инок.

Он провел их в небольшое одноэтажное здание, указав на небольшой диванчик у стены. Пока монах отсутствовал, Ольга скинула ставшую совсем мокрой и тяжелой куртку, и пришедшие в негодность туфли.

— Ты раньше бывал в монастырях? — негромко спросила она у фотографа.

— Приходилось, — так же шепотом ответил он.

С изумлением уставившись на Антона, девушка хотела было что-то спросить, но тут неслышно вошел тот самый монах, что привел их сюда.

— Игумен благословил трапезу. Пойдемте.

— Какой-то он суровый, — придержав Антона за руку, проговорила Ольга ему на ухо.

— А как же, это же монастырь. Мы для них как пришельцы из другого мира, — слегка улыбнулся Антон.

В длинной комнате, куда их привел монах, был накрыт стол. Ольга увидела дымящуюся

круглую картошку в чашках, политую душистым маслом квашеную капусту, грибы, густо притрушенные кольцами лука. В плетеной корзинке лежал ароматный, нарезанный крупными ломтями хлеб. Почувствовав, как сразу скрутило желудок от голода, Ольга опустилась на стул и потянулась за картошкой. Монах молча повернулся к стене, где висела большая икона Божьей Матери. Перед ней на длинной цепочке покачивалась зажженная лампада. Только сейчас Ольга заметила, что все стены в комнате были увешены картинами из библейской жизни, а на маленьком столике стоял позолоченный колокольчик на подставке. Антон, многозначительно покашливая, топтался рядом с ней и Ольга, чувствуя себя неловко, встала.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа... — начал монах. Он поднял руку и размашисто перекрестился. Антон повторил за ним. Ольга в нерешительности подняла руку, пытаясь в точности повторить движения фотографа.

— Господи, благослови еду и питье наши, аминь, — закончил монах молитву и знаком пригласил гостей к столу.

Монастырская еда оказалась необыкновенно вкусной, хотя и казалась простой и непритязательной. Ольга с удовольствием подкладывала себе душистую картошку, похрустывала огурцом, запивая все это вишневым компотом.

— А этот колокольчик для чего? — не удержавшись, спросила у Антона.

— Игуменское место. Трапеза начинается и заканчивается по звонку, который подает игумен.

Ольге хотелось расспросить о многом. И о том, почему перед едой обязательно надо читать молитву, и что обозначают картины на стенах, и зачем нужна лампада. Все ей было внове и чрезвычайно интересно, но после сытной еды голова ее сама клонилась книзу, глаза слипались, а мысли путались.

— Игумен благословил остаться вам на ночь, — монах вручил им ключи от комнат, или как он их назвал келий и, распрощавшись, исчез. Несмотря на то, что на дворе еще не было и десяти часов вечера, а Ольга в такое время никогда не ложилась, в этот раз она заснула тут же, как только ее голова коснулась подушки.

Утром ее разбудило яркое солнышко, заглядывающее в маленькое оконце кельи. Она быстро вскочила и выглянула в коридор. Антон с полотенцем через плечо уже шел из умывальной комнаты. Его келья была рядом с Ольгиной.

— Доброе утро! — радостно воскликнул он. — Как спала?

— Как убитая, — улыбнулась Ольга, — надеюсь, и ты тоже.

— Абсолютно верно, — засмеялся Антон, — иди скорей умывайся, надо что-то с машиной решать.

Через несколько минут они вышли на невысокое крыльцо.

— Гляди, — Ольга указала на их «Ниву», стоящую во дворе. Рядом крутился плотенький мужичок, вытирая перепачканные машинным маслом руки.

— Все нормально, — завидев гостей, кивнул он им, — повозиться, конечно, при-

шлось, но до города доберетесь без приключений.

— А откуда они узнали? — удивлению девушки не было предела.

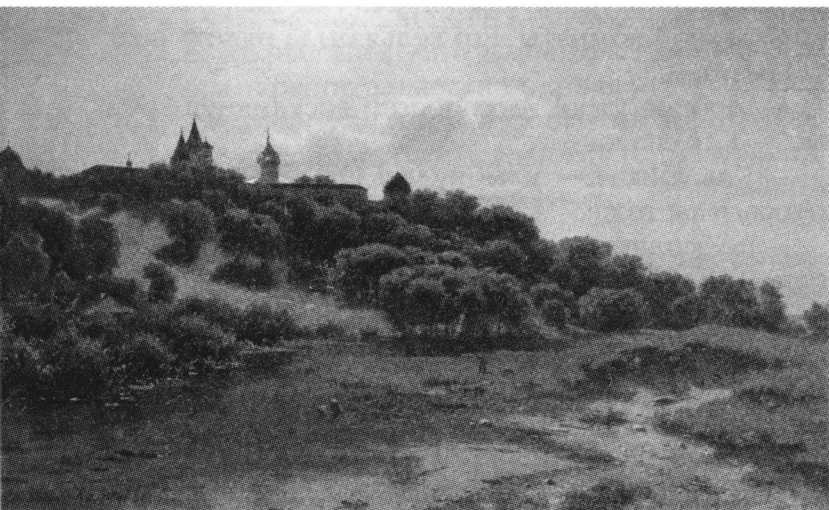
— Вчера монах у меня расспрашивал: где мы застряли да что с машиной. И вот... — Антон пораженно смотрел на отмытую и отремонтированную «Ниву».

— Класс! — воскликнула Ольга. — Поехали, еще успеем на комплекс заехать, несколько кадров сделаем.

— погоди. Надо игумена поблагодарить. Как думаешь?

— Ну да, — смутилась Ольга. И как она сама не догадалась?

Они двинулись в сторону храма — корабля, надеясь там отыскать игумена. Двери храма оказались открытыми, но внутри было пу-



Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом. Конец XIX в. Худ. Лев Каменев

стынно. Горело несколько свечей перед иконами, у свечного ящика лежали картонные иконки, календари и книги. Внимание Ольги привлекла темная икона, висевшая в самом углу храма. Она подошла поближе и едва не вскрикнула. На иконе явственно виднелись следы от пуль. Божья Мать скорбно смотрела на нее, держа на руках Спасителя, а чуть ниже виднелись круглые отверстия, будто в икону выпустили всю обойму.

— Как же так? — Ольга растерянно обернулась.

— У этой иконы длинная и очень печальная история, — рядом с ней стоял невысокий нестарый еще монах. Длинная борода, волосы, стянутые в хвост, высокий клобук. На груди монаха висел массивный крест. «Игумен» — догадалась девушка.

— Ведь это пули? — спросила девушка.

— Да, — кивнул игумен, — эта икона попала нам в ужасном состоянии. Мы не отдавали ее на реставрацию, хотя это очень ценная местночтимая икона Божьей Матери. А сейчас, смотрите, икона сама, как бы набрасывает краски. Она становится словно новая, и только следы от пуль не затягиваются. Видимо в назидание потомкам.

— Вы не могли бы рассказать историю этой иконы? — Ольга непонятно отчего разволновалась. Она вдруг поняла, что если сейчас, сию минуту не узнает об этой иконе все, то никуда не поедет. Поломку машину, странные видения на поле, простреленную икону, она неизвестно почему связывала воедино, пытаясь найти ответы на мучавшие ее с недавнего времени вопросы.



— Хорошо, — наклонил голову игумен, — я расскажу вам все что знаю.

Луч утреннего солнца проник через высокое окно в храм, заиграл на стенах и подсвечниках, коснулся и этой иконы. Она словно вспыхнула, а от глаз Богоматери полился мягкий струящийся свет.

Глава седьмая

— Отходим к лесу, — лейтенант оглядел немногих, оставшихся в живых бойцов, — бежим редкой цепью.

— Выходит, драпаем, командир? — у брянского заходили желваки на скулах.

— А ты, что на танки с голыми руками пойдешь? — лейтенант устало качнул головой.

Зубарев кивнул на автомат, лейтенант только усмехнулся.

— Приготовились к отступлению, — возвысил он голос. Бойцы устало поднялись.

До леса было метров двести. А дальше начинался густой ельник. «Только бы добежать» — об этом, наверное, подумали многие солдаты, а Тихон, по своему обыкновению, мысленно перекрестился.

Поле, кочковатое, заросшее высокой травой, затрудняло бег, беспрестанно взрывались снаряды, лупили свинцовым огнем автоматные очереди.

— Мама, — тоненько закричали где-то сбоку.

Разлапистые ели замаячили совсем рядом перед глазами. Чувствуя затылком смерть,

Тихон прыжками неся к лесу. «Лучше лицом к ней, косою, быть» — лихорадочные мысли мелькали в голове, по спине тек холодный пот, и затылок немел, ожидая пули каждую секунду.

Где-то позади разорвался снаряд. Тихона взрывной волной подбросило вверх и отшвырнуло в сторону. Он больно ударился головой о выступающую кочку и потерял сознание. Очнулся Тихон от ощущения, что тихо покачивается, словно на волнах. Совсем как в детстве, когда они с ребятами купались в светлой, быстрой речушке. Тихон ложился на спину, раскинув руки, и вода несла его, ласково подбрасывая то вверх, то вниз.

Приоткрыв глаза, Тихон слегка застонал от тупой боли в голове.

— Сейчас, сейчас, — с натугой проговорил Дмитрий. Это он нес Тихона, спотыкаясь и тяжело дыша.

— Поставь, поставь меня, — прохрипел Тихон.

— А сможешь? Добежишь? — Дмитрий опустил товарища на землю.

— Надо суметь, — Тихон поморщился от накатывающей к горлу тошноты.

Неуклюже загребая ногами и пошатываясь, он двинулся за остальными. Дмитрий оборачивался на бегу, останавливался, чтобы подождать Тихона. Превозмогая головную боль и слабость, Тихон бежал, моля Господа, чтобы не упасть. «Не встану тогда, а ребята и сами из последних сил держатся, чтобы еще и меня тащить», — стиснув зубы до скрежета, Тихон старался не отставать от Дмитрия. Его спина маячила впереди, время от време-

ни застилаемая черным туманом, наползающим Тихону на глаза.

Остановились в глубине леса, в самой его чаще. Бойцы падали на землю, тяжело дыша и откашливаясь. Сил не было даже вытереть пот, струящийся по лицу.

Тихон прислонился к стволу высокой сосны, почувствовав, как горячая струйка бежит по щеке. С трудом поднял руку и коснулся ладонью лица. Кровь?!

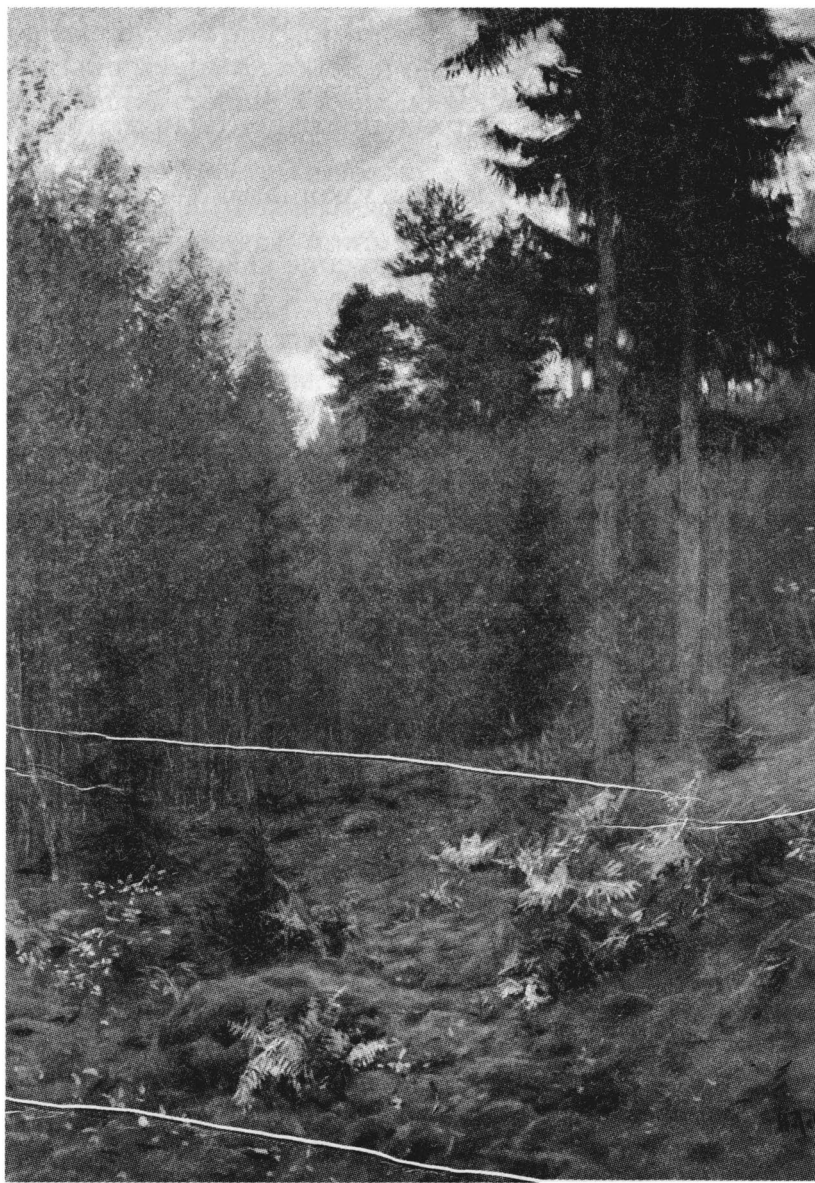
— Ты ранен, Тиха? — Фархад, присел на корточки перед другом, вновь появляясь неслышно, словно бесплотный дух.

— Веткой хлестнуло, — от бега у Тихона сел голос, и он сипел едва слышно. Пить хотелось нестерпимо, горло саднило, сердце бухало в груди, и этот набат отзывался болезненными толчками в висках.

Высоко над головами шумел лес, и не слышно было никаких звуков, кроме легкого потрескивания ветвей, стука дятла, попискивания лесной птички. Пахло хвоей, сырым мхом, прелыми сосновыми иголками. Тихон заметил вдали тоненькое деревце осины, с трепещущимися на ветру листочками, уже тронутыми осенними красками. Под ближайшей елью весело желтела шляпками семейка лисичек. Этот пейзаж был настолько умиротворяющим и безмятежным, что война казалась нереальной, мимолетным сном, который вот-вот закончится, стирая страшные картины смерти и разрушений.

Рядом с Тихоном ткнулся головой в траву брянский.

— Там сбоку болото, — сообщил, слегка отдышавшись, — в обход надо. Лейтенант



В лесу осенью. 1894 г. Худ. Исаак Левитан

послал людей дорогу разведать. Молодой, а толковый.

— Посмотри, Тиха, вот это можно кушать? — Фархад протянул полную горсть черники.

— Ого! Где взял, узкоглазый? — оживился Зубарев.

— Зачем обижаешь? Нехорошо. Фархад — так меня зовут, — узбек взглянул на брянского с укоризной, — а этих синих ягод очень много. Вон там...

— Айда, Димка, — махнул рукой Зубарев, — сейчас и наедемся, и напьемся.

— Ешь, Тиха. Я еще наберу, — Фархад с улыбкой пересыпал ягоды Тихону в ладонь.

— Ты сам, сам... бери, — Тихон с благодарностью посмотрел на юркого, черноглазого Фархада. Невысокий, худой, с подвижным выразительным лицом, узбек смотрелся совсем мальчишкой. «Как он там, в рукопашной?» — с жалостью подумал Тихон. Ему и самому прошедшей весной исполнилось двадцать пять всего, но за полтора месяца войны Тихону казалось, что он повзрослел лет на десять.

— Кушай, Тиха, я сейчас, — Фархад согнулся и ужом скользнул в кусты. Тихон губами взял несколько сизых ягод с ладони. Сочная черника брызнула кисловатым соком, смочив пересохшие губы. Сразу стало легче голове, и тошнота отступила. Бросив в рот остатки ягод, Тихон лег на спину и принялся смотреть на небо, синеющее высоко над головой. Клочковатые серые облака своими причудливыми формами напоминали

то лисицу с острой мордочкой, то мчащегося с откинутой назад головой оленя. И маленьким, и став старше, Тихон любил лежать вот так, глядя в небесную высь. Мамадя, бывало, зовет, зовет своего Тишеньку к обеду, а тот, улетев мыслями далеко-далеко, не сразу откликается. Очнется, прибежит домой, а мамадя в слезы:

— Ну, где ты был? Почему не откликался? Все отцу расскажу...

— Не буду больше, — опускал голову Тихон.

— Неужели не слышал, что звала тебя? — допытывалась мамадя.

— Я на небушко засмотрелся, — шептал мальчишка виновато.

— Садись за стол, уже и похлебка остыла, — мамадя делала вид, что недовольна сыном, но Тихон знал, что она уже не сердится на него.

— Разведка пришла. Сейчас дальше двинем, — вывел Тихона из задумчивости громкий голос Зубарева. Иван как всегда все знал.

Ощущая легкое головокружение, Тихон сел и улыбнулся, глядя на ребят. Их губы и щеки были вымазаны черничным соком, а Фархад умудрился испачкать даже лоб и кончик носа. Дмитрий держал в руках пилотку, доверху наполненную черникой.

— Давай, жуй, — Дмитрий осторожно положил пилотку рядом с Тихоном, — объедение.

— Вай! Вай! Очень вкусно, Тиха, очень вкусно, — подтвердил Фархад, глядя сияющими глазами на Тихона.

— Что ты все Тиха, Тиха. Его Тихон зовут. Уяснил? — взорвался Зубарев.

— Пускай так... не дергай его, — Тихон успокаивающе дотронулся до плеча Зубарева, — нельзя нам сердиться друг на друга. Никак нельзя.

— А чего он? Вай! Тиха! — зло сплюнул брянский, — у меня мать под немцем, а он...

— А Фархад пришел твою мать защищать... И мою, и... страну нашу... его страну... — Тихон дотронулся рукой до лба, голова нестерпимо болела.

— Успокойся, Иван, — Дмитрий пересыпал ягоды в ловко скрученный им же берестяной кулек, — прав Тихон — делить нам нечего. Война идет страшная, коли вместе не будем держаться, погибнем.

— Бойцы! Подъем! Стройся! — раздался голос командира.

Все потянулись на опушку. Корнелиук внимательно оглядел значительно поредевший взвод. Вглядывался в усталые, сбросшие щетиной лица солдат.

— Вольно. Довожу боевую задачу. Пробираемся в расположение нашей части. Ориентировочно она находится в трех километрах отсюда. Справа от нас болото, слева недалеко проселочная дорога. Так что идем по возможности тихо, стараясь не отставать. Сейчас даю дополнительных пятнадцать минут. Привести себя в порядок, почистить форму, умыться, — услышав недоуменный ропот, лейтенант слегка повысил голос: — Мы с вами бойцы Красной Армии, и негоже встречать врага в таком растерзанном виде. Этак, он подумает, что

мы не воины, а отпускники, приехавшие за годами.

В строю послышался смех. Кое-кто усиленно принялся тереть щеки, вымазанные черничным соком.

Молча умываясь у протоки подле болота, солдаты в эти несколько минут мысленно уносились в прошлое, вспоминая отчий дом, семью, родных.



Глава восьмая

Все детские воспоминания Тихона связаны с церковью. Вот он стоит напротив алтаря, ухватившись за матушкин палец, и с восторгом глядит на отца. Тот в праздничном облачении провозглашает громко и торжественно:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — несетя отовсюду.

Церковь полна. Бабы в ярких полушалках и сарафанах или юбках, мужики — в длиннополох рубахах и новых портах, пахнущих нафталином и затхлостью. Мнут в руках картузы и шапки, приглаживая намасленные головы.

А вот Тишенька уже и сам в алтаре, помогает отцу: зажигает свечи, подает триодь, держит плат при причастии. Но чаще всего любит вспоминать Тихон свои беседы с отцом. Приходской священник отец Григорий рассказывал сыну о том, как был рукоположен в губернском городе самим епископом

Саввой. О своей службе в Крестовоздвиженском соборе, а потом уже о переводе сюда в тихое село под Калугой, за сотни километров от родного города. Тихон любил слушать отца, вбирая его мудрость, обретенную из собственных житейских и духовных поражений.

Немало случилось поражений у отца Григория, но были и победы, и радости. А паче всего, счастлив был отец Григорий от возможности служить Отцу Небесному, прославлять Его и благодарить. Потому и не роптал, когда перевели его из большого города в маленькое село. Благословляя его, епископ Савва произнес:

— Потрудись во славу Божию, отец Григорий, и ради души своей.

Слова и намерения епископа молодой священник уразумел: в стране бушевала гражданская война, в городах многие церкви закрывали, а попов убивали. А в глухом местечке можно будет пересидеть лихие времена. Уберечь хотел его епископ Савва, желал также, чтобы укрепился в вере молодой пастырь, ибо в развращенном идеями революции городе можно было и сломаться.

Надо сказать, наследство принял отец Григорий нерадостное. Бывший настоятель старенький отец Василий по несколько недель храм не открывал: тяжело болел бедняга, маялся ногами и сердечными болями. Узнав, что отец Григорий приехал в село служить, всплакнул от радости и обнял преемника.

— Дождался, дождался... слава Тебе, Господи, — суетился отец Василий, суя ноги в широкие растоптанные калоши, — в вос-



У церковной стены. 1885 г. Худ. Исаак Левитан

кресенье лежу, бывалоча, встать нет сил, а душа кровью обливается. Как же, думаю, без литургии-то? Грешен, грешен, только всю службу прочитывал. Лежа, а прочитывал. А теперь, хоть покаяться есть кому перед смертью, — отец Василий опустился на низенький табурет и залился слезами, словно ребенок.

— Бог милостив, отче, — перекрестился отец Григорий, с жалостью глядя на трясущиеся руки и седенькую голову священника, на его распухшие ступни, лицо, обтянутое желтоватой морщинистой кожей.

— Пойдем, пойдем, сынок... сдам тебе хозяйство... а там и помирать можно. Мне уж давно пора, да, видно, держал меня Господь, чтобы нехристям этим церковь не досталась, и над верой народной не смогли бы изгаляться, — отец Василий погрозил кулаком куда-то в сторону и, шаркая ногами, повел молодого священника к трем липам.

Все «хозяйство» отца Василия состояло из церквушки да невысокой колоколенки, которая, впрочем, уже год как не действовала. Аккурат перед революцией раскололся на две половины многопудовый колокол, и огромный кусок рухнул вниз, намертво запечатав лестничный пролет. Так что ходу наверх теперь не было, но настоятель, дабы не пустовало зря помещение, приспособил ниши и стены, тянущиеся вдоль лестницы, для хранения пришедших в негодность икон. Этих образов, ветхих, поеденных жуком-долгоносиком, с полуистершейся краской, накопилось за несколько столетий в церкви немало. Сжечь, а тем паче выбросить, у отца

Василия рука не поднималась, вот и скумекал куда поместить, хоть и обветшалые, а все ж святыньки.

Получив от отца Василия ключи и наставления, новый настоятель принялся за пасторское служение. А ровно через месяц, исповедовавшись и причастившись святых даров отец Василий представился ко Господу. В этом же беспокойном восемнадцатом году родился у отца Григория первенец — Тихон, названный в честь Патриарха.

Отца Григория уважали на селе. За горячие проповеди, за то, что в любую погоду шел к больному исповедовать, причастить или пособоровать, знал нужды каждого прихожанина, то чем живет душа старика, ребенка или зрелых мужей и женщин, за мудрые советы и умение выслушать и понять. Тиша с младости хотел походить на отца, и решил, что когда вырастет, обязательно станет священником.

— Благослови, батюшка, — воскликнул горячо, когда поведал отцу свою детскую мечту.

— Бог благословит, — ласково улыбнулся отец, — только помни сынок, труд этот велик и ответственность большая. Вера нужна горячая, непреложная, любовь к Господу нашему и желание пойти за Него на крест, как когда-то Спаситель принял смерть за нас. Коли сможешь пронести горение в душе всю жизнь, значит, будешь хорошим священником, а плохим и вовсе становиться не надо.

Не совсем уразумел Тиша тогда слова отца. Понимание пришло много позже, тогда когда отец стоял в храме перед алтарем,

не пуская активистов красного движения в святое место, а те плевали и надсмехались над ним, ударяя в грудь кулаками.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы был построен в селе два века назад. Срубили его мужички из звонких бревен, а на освящение приехал сам владыка из губернского города. По преданию, сто лет назад храм сгорел, и тогда на общем сходе было решено заменить его на каменный. Деньги на строительство собирали со всей округи, немалую лепту вложил и местный купец Сапунов, владелец скобяных и посудных лавок в уезде. Церковь получилась небольшая, ладная, и поставили ее чуть поодаль от прежнего места, рядом с вековыми липами, которые, по народному сказанию, выросли на месте битвы монголо-татар с русскими богатырями. Налетели монголы, будто туча на находящийся поодаль уездный город, взяли в осаду, и много жителей погибло от стрел, жажды и голода, и тогда затворившаяся в стенах крепости дружина решила дать бой в открытом поле. Ночью через потайную башню вывел воевода дружинников из крепости, а жителям приказал бежать тем же ходом в леса.

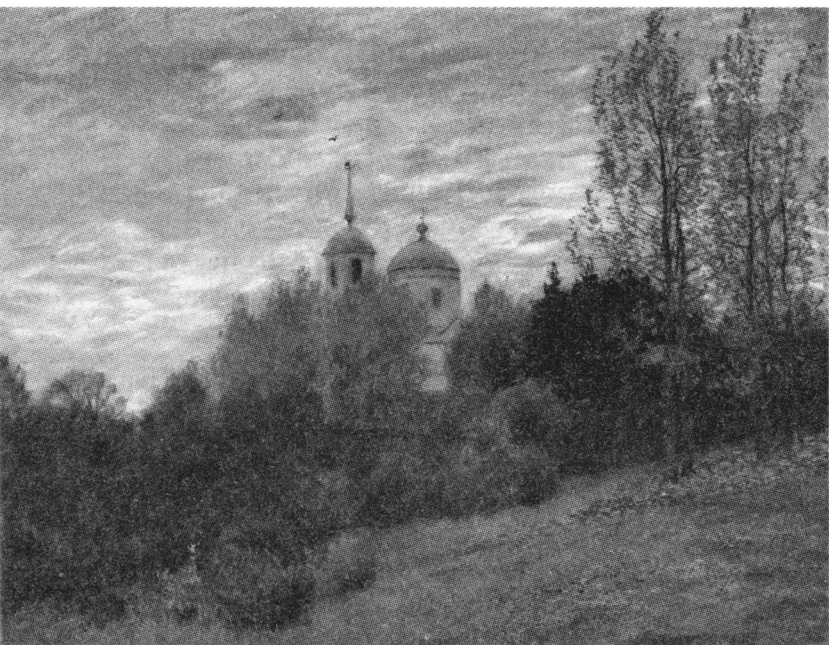
Завизжали, залопотали монголы, обнаружив за своей спиной русских воинов, замали кривыми саблями. Жестокий был бой. Людская молва передает из уст в уста, что к концу битвы осталось в живых только трое русских богатырей. Стали они спиной друг к другу и рубились с татарами до тех пор, пока не сложили головы за землю русскую. А на том месте выросли три липки, которые

со временем превратились в могучие деревья, словно в назидание потомкам о непобедимости русичей, об их крепком духе, воле и стойкости.

Выстроенная людьми церковь словно освятила место кровавой сечи, и стоять бы ей века, принимая в своих стенах не одно поколение верующих, возносивших молитвы за Русь Державную. Только страшные испытания уготовил Господь детям Своим, отступившим от Него и предавшим веру отцов и дедов. И по злому умыслу как раз на праздник Успения Пресвятой Богородицы, в храм ввалилась группа людей, вооруженных топорами и палками. Шапок, как водится нехристям, не ломали, лба не перекрестили, а топоча грязными сапожищами, двинулись прямо к алтарю. Служба уже закончилась, и отец Григорий вышел на амвон, чтобы сказать проповедь. Однако народ, увидав непрошенных гостей, тут же заспешил к выходу. Хотя, гости эти свои были, селяне, да только по выражению их лиц верующие сразу догадались о цели их визита в святой храм.

Отец Григорий спокойно смотрел на вошедших. Не верил в плохое. Казалось, тяжелое время прошло: революция позади, и ведь церковь же стоит до сих пор.

Вперед вышел Алексей Мешков, председатель сельского совета. Маленький, плюгавый, с огромными водянистыми глазами на узком, словно лисья морда, лице. Перекинул из руки в руку плотницкий топор и со всего размаха ударил им в ближайшую колонну, прямо по написанному на штукатурке лику



Осенний пейзаж с церковью. Конец XIX в.
Худ. Исаак Левитан

святого праведного Лаврентия, особо чтимого в Калужском краю. Брызнули осколки камня, треснуло изображение и будто стон послышался из-под купола.

— Господи помилуй! — вскричал отец Григорий и, раскинув руки в стороны, загородил собой вход в алтарь. Пятнадцатилетний Тихон, который находился в это время у свечной лавки, начал пробираться поближе к отцу.

— Посторонись, поп... — зловеще процедил Мешков, вскинув топор над головой.

— Что же ты, Алексей? — только и проговорил отец укоризненно, не опуская рук,

раскинутых в стороны, — крестил ведь я тебя, причащал. Исправно ходил ты в церковь.

— А теперь мне твой Бог без надобности, — цинично засмеялся Мешков, сын бедной вдовы Авдотьи. Она стояла поодаль в красной косынке и с любовным восторгом смотрела на сына.

— А ты Авдотья? — переводил взгляд на нее отец Григорий. — Неужели Бога не боишься.

— Мне Бог ничего не дал, как была в ломотьях, так и осталась, — злобно выкрикивала вдова, — а новая власть в люди вывела. Я теперь большой человек!

— Человек? — Тихон услышал в вопросе отца столько скорби, что у него дрогнуло сердце.

— Да! — подскочила баба к священнику. — В сельском совете помощница самого председателя, — Авдотья перевела взгляд на сына, — мандат у меня имеется, и Бог нам теперь не указ. Пошел прочь с дороги.

Она толкнула священника плечом так, что он отлетел к стене, ударившись головой об оклад иконы. Тихон кинулся к отцу, поддерживал за плечи.

— Опомнитесь, — надсадно крикнул отец, схватившись за левый бок, — опомнитесь... Бог поругаем не бывает...

Но толпа, опьяненная вольными призывами Лешки, уже ворвалась в алтарь, громя все вокруг.

— Батюшка, пойдем домой. Они убьют тебя, — Тихон вытирал обрывком полотна кровь, текущую из разбитой головы отца.

— Что ты, сынок? Как же я оставлю Его в такой час, — шатаясь, отец Григорий направился в алтарь, но его бесцеремонно вытолкали оттуда, а потом и из церкви, а на дверях Лешка выставил стражу, чтобы никого не пропускать. Так и крикнул гнусаво:

— Посторонних не пущать, — и указал на отца Григория.

Тихон сидел вместе с отцом у порога церкви, видя, как вздрагивает тот каждый раз, когда изнутри доносился грохот роняемых икон, утвари и матерные выкрики вандалов.

Выйдя их разоренного храма, и увидев священника, Лешка вскинул на его головой увесистый кулак.

— Ступай отседова. Это теперь собственность государства. Здесь клуб будет, — и нацепил на двери тяжелый замок.

Рухнул отец Григорий ниц, и не рыдания — стон и крик вырывались у него из груди. Тихон неслышно плакал в сторонке, ощущая всю боль батюшкиного сердца.

Подняться с земли, отец так и не сумел. Разом отказали ноги, не хватало воздуха, и судороги пробежали по его лицу. Ехавший мимо колхозный конюх Федор Крючков, попридержал лошадь.

— Что такое, батюшка? Аль, захворал? — спросил, опасливо озираясь вокруг. — Давай-ка я тебя до дому доведу. Только бы этот анчихрист, Лешка, не увидал.

Федор помог отцу Григорию улечься на телегу, Тихон припустился напрямки, через огороды.

Ближе к ночи за окнами раздался страшный грохот. Тихон выскочил на крыльцо. На-

встречу по дорожке, крепко держа за руку двухлетнюю Нюру, спешила матушка.

— Что там? — сиплым шепотом спросил Тихон.

— Колокольню взорвали, ироды, — мать вытерла мокрые щеки, — Лешка приказал динамиту навозить... Господи, что делается!!! Спаси и сохрани!

Не зная, как сообщить отцу эту скорбную новость, Тихон вернулся в избу. Но батюшка и сам обо всем догадался. Взглядом подозвал Тихона:

— Нету колокольни, значит, — в груди у отца хрипело и булькало, — ладно, Бог им судья. А ты, сынок, запомни: нет для русского человека опоры крепче, чем вера наших отцов, и Господь наша защита. Верь и молись. Коли чувствуешь, что никогда не сможешь отступить от Христа, благословляю... благо...

Поднятая для благословения рука безжизненно упала на одеяло, а в затухающем взгляде застыло прощание.

Глава девятая

Идти Фархаду на войну не хотелось. Ну как оставить цветущие луга, отару овец, пасущуюся в предгорьях, родной аил, мать, любящую своего старшенького и подкладывающего ему самые лучшие куски мяса? Но председатель партийцев Наримон-амаки, родной дядя Фархада, сказал на общем собрании:



— Если мы не встанем все на защиту Родины, фашист придет сюда, разорит наши дома, уведет в плен наших сестер и матерей, убьет стариков.

Парень не понимал, о какой Родине говорит дядя. Ведь в школе всегда учили, что родная земля там, которая начинается сразу за порогом, и огромная чинара, и хлопковые поля это тоже Родина. Фархад недоумевал: ведь немецкие захватчики напали на Россию, и пусть Узбекистан и далекая заснеженная Русь одна страна, но зачем узбеку идти воевать туда, где не растет виноград.

Но отец сказал:

— Надо, сынок. Иди и воюй.

— Зачем? Зачем? — вскричала мать, — зачем Фархаду идти защищать русских?

— Молчи, молчи, женщина. Что ты понимаешь? — отец сурово сдвинул брови. — Земля наших предков с Россией одно целое. И не годится моему сыну убегать от войны, поджав хвост, словно трусливый шакал. Разве я не так говорю, Фархад?

— Я... я... я боюсь, дада, — Фархад опустил голову.

Мать, тихонько подвывая, заплакала, уткнув лицо в ладони, ей вторили шесть младших сестричек Фархада.

— Э-э-э, зачем говоришь такое? Зачем гневишь Аллаха? — Тургун-ота укоризненно взглянул на сына, — разве твое имя не значит «непобедимый»? Разве я не учил тебя попадать из ружья в птицу, летящую высоко в небе? Разве не можешь ты одним взмахом руки перерезать горло барану? Или скакать без усталости на горячем скакуне? И почему за-

был, что в береженный глаз попадает соринка. А храбреца и смерть боится.

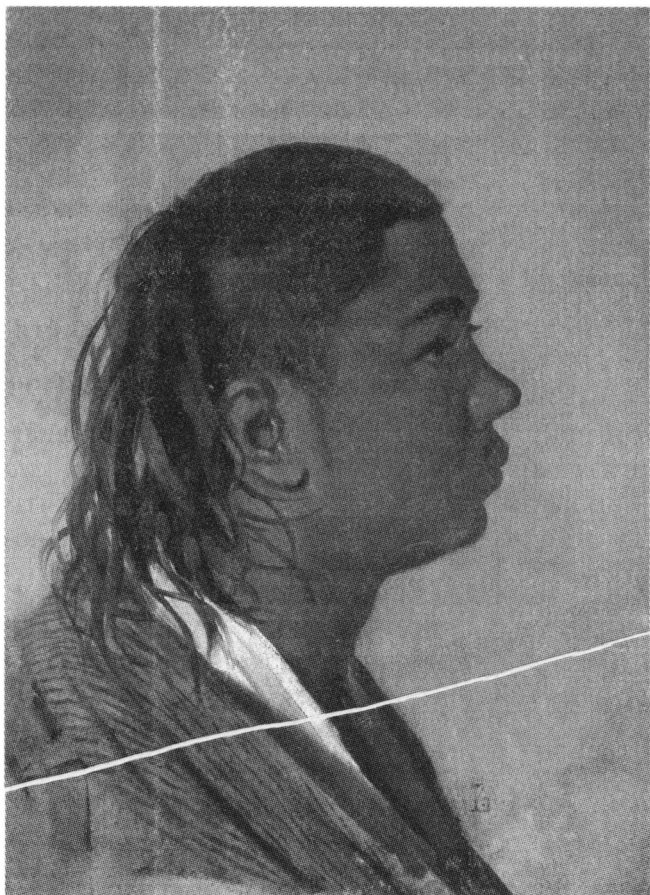
Мать беззвучно зарыдала, заранее оплакивая сына.

— Лучше быть матерью храбреца, чем матерью труса, — сурово взглянул на нее Тургун-ота.

Фархад выскочил из дома, и ушел на берег быстрой реки. Здесь этой весной во время Навруза проходил купкари — конное состязание. Многие жители айла пришли тогда сюда. Но глаза Фархада ловили тоненькую фигурку Наргиз. Ветер трепал широкими рукавами ее халата из хан-атласа, тонкие шаровары обхватывали маленькие, почти детские лодыжки. Смоляные, блестящие волосы, были заплетены во множество косичек, и они рассыпались по спине, словно черные змейки, в изобилии водившиеся в горах. А как вышита у Наргиз тюбетейка? Черная четырехгранная округлая шапочка искусно отделана белым орнаментом, который сработать могут только лучшие мастерицы.

Глядя на Наргиз, парень думал о том, что сегодня он обязательно должен победить, и тогда Наргиз-кизим не сможет отказать такому батыру. А еще Фархад надеялся, что Тургун-ота выберет для него именно Наргиз, и тогда уже состоится фатиха-туй, помолвка, во время которой в присутствии седых оксолов, будет разломана свадебная лепешка.

Затянув покрепче чапан, Фархад на своей низкорослой лошади Ласирко подъехал к другим джигитам. Те уже начали выстраиваться в одну линию, чтобы по знаку уважаемого старейшины села начать состяза-



Портрет мальчика-узбека. 1860-е гг.
Худ. Василий Верещагин

ния. Оксокол вышел к очерченному на земле кругу и бросил на середину тушку барана, потом повернувшись к гарцующим в нетерпении джигитам, подал сигнал к началу состязания.

Ударив мягкими сапогами по богам лошади, Фархад помчался вперед. Вот уже добыча

совсем близко, но даже не обернувшись он почувствовал, его нагоняют сразу несколько участников. Но Фархад не боялся. Знал: по правилам купкари, нельзя нападать на соперника со спины или наезжать лошадьё на нагнувшегося наездника, тем более сваливать седока с лошади. Никто и никогда не посмеет нарушить негласный закон. И останется только скакать, чтобы успеть схватить барашка и, не уронив его, первым прискакать к финишу.

— Фархад! Фархад! — кричали в толпе, и парню показалось, что он слышит звонкий голосок Наргиз.

И Фархад пришел первым. Летел, словно орел, цепко удерживая барана, не позволяя другим джигитам вырвать трофей из рук. От нескольких ударов кнутов вошедших в азарт участников состязания, чапан Фархада лопнул на спине, но он не чувствовал боли. Еще минута, и он у финиша.

Уважаемый оксокол вручил победителю ценный приз — пестрый ковер ручной работы, но лучшим подарком для Фархада была нежная улыбка Наргиз. Ради этой улыбки и ласкового взгляда, он готов еще раз посоревноваться в ловкости.

Сейчас вспоминая все это, Фархад вдруг подумал: почему он боится? Ведь это он оказался самым лучшим и ловким, ведь это он мог укротить строптивного Ласирко, когда еще не вошел в пору юношества, ведь это он совсем маленьким мальчишкой ловко стрелял из ружья. И что же? Фархад останется дома и как трус будет прятаться за пестрое платье *Гузаль-она*? А как он станет смотреть в

глаза отцу, своим братьям, Наримон-амаки, старейшине и оксоколу Кириму-чол, который знал Фархада с детства как храброго и бесстрашного мальчишку?

Поднявшись во весь рост, Фархад расправил плечи и улыбнулся.

— Э-э-э, Фархад-ака... Ступай скорей домой, тебя отец ищет, — его младший братишка — кичик ука¹ Темир скачет по весь опор и кричит на ходу.

— Пойдем, Фархад-ака, — Темир запыхался, на лбу выступили капельки пота. Кичик ука тянет брата за рукав, — *ота* решил завтра делать утренний плов. Он ждет тебя. Придут старейшины, надо будет проводить сабзи туграр.²

Да, Фархад знал об этом обряде. Утренний плов является одним из давних и обязательных узбекских обрядов. Он готовится в преддверии таких мероприятий, как рождение ребенка, свадьба, помолвка, поминки и в других случаях. И именно этот другой случай настал. Фархад идет на войну. И вечером придется нашинковать много моркови для плова, ведь в приготовлении плова и подаче его на стол могут участвовать только мужчины. А еще забить барашка, приготовить дрова для очага.

Фархаду очень хотелось увидеть Наргиз, но на утренний плов приглашаются только мужчины. Но может быть, после обряда удастся встретиться с прекрасной кизим.³

¹ Младший брат (узб.).

² Шинкование моркови (узб.).

³ Девушка (узб.).

На плов сразу после утренней молитвы собралось много народа. Всем хотелось отведать угощения хозяина и пожелать джигиту хорошей дороги. С улицы слышались пронзительные звуки карнай-сурнаев, а к столу подавались лепешки, сухофрукты, закуски и чай. Дымились пиалы с зеленым напитком, мужчины степенно начали трапезу, прочитав предварительно фотиху — благодарность хозяину. Как только подошли последние гости на столах появились ляганы с горячим пловом.

Сегодня Фархад еще больше укрепился в желании идти на войну. Только особо хотелось посмотреть на Наргиз хоть издали, а еще лучше погладить по блестящим косам. Фархад понимал, что все это останется только в мечтах. Такими действиями он бы опозорил девушку да и свою семью тоже.

На следующий день Фархад верхом на Ларсико отправился в город. К седлу он приторочил полосатый курш, куда мать положила лепешки, холодное провяленное мясо, немного сушеного винограда. Рядом скакал отец, чтобы проводив сына, привести лошадь назад. Присутствие отца не давало возможности Фархаду остановиться и взглянуть на аил. Потому что настоящие джигиты не имеют права впускать в сердце тоску, они обязаны хранить родные горы, быстрые холодные реки, сады и виноградники в своем сердце. Фархад не оглянулся. А если бы сделал это, то наверняка, заметил бы на огромном камне у дороги тоненькую фигурку в черно-белой тюбетейке.

Глава десятая

С детства мечтал Ваньша Зубарев стать... председателем колхоза. Безотцовщина, он тянулся к мужикам сильным духом и уверенным в себе. Одним из таких считал председателя их колхоза «Коммунар» своего тезку Ивана Кузьмича. Ваньше нравилось, что уважают Кузьмича на селе, кланяются, приветствуя. Были и такие, что злобно сплевывали вслед, но было их мало, из тех, кто не хотел работать в колхозе. Иван Кузьмич, будто не замечал их косых взглядов, и это еще больше заставляло Ваньшу гордиться председателем и утверждаться в своем желании. Однажды не вытерпел — поведал о нем дружку своему Кольке Гундосому. У того зимой и летом текло из носа, за что и получил свое прозвище.

— Ты в председатели? Ой, умора, — загугнявил Колька и зашелся в противном смехе, — ты же в школе одни двойки получал, а тепереча и вовсе у свинопаса Федьки в подпасах.

— И что? — сжал кулаки Ваньша. Для своих пятнадцати лет был высоким и крепким, и сверстники его побаивались.

— А то, что председатели такие не бывают, — шмыгнул носом Колька, на всякий случай, отодвигаясь подальше.

— В сопатку захотел? — Ваньша сдвинул брови. — Чем тебе Кузьмич не угодил?

— А то! Жмот он и... вредный. Знаешь, как нас хворостиной из колхозного сада гнал? Хворостиной! Больно... А мы яблоч и взяли чуток, и то кислятина. Тьфу, — Колька вытер

рот рукавом рубахи и скривился, словно почувствовал на зубах оскомину.

— Молодец председатель. А вам нечего по чужим садам шляться, — Ваньша прицелился и запустил камушек, который подбрасывал в руке, в гущу сиреневых кустов.

— И ничего не чужой, — забубнил Гундосый, — то ж колхозный...

— Так не твой же личный, балда, — сказал, как отрезал Ваньша.

Больше к этому вопросу они не возвращались. А весной тридцать седьмого года Ивана Кузьмича арестовали. Эту новость принес Ваньше все тот же Колька Гундосый.

— Говорил я тебе, говорил, что вредный он, — сипел Колька, — вона, забрали председателя-то. Враг народа.

— Пошел ты... А еще друг называется, — Ваньша сильно толкнул Кольку в грудь. Так что тот отлетел в сторону, едва удержавшись на ногах.

— Тю-ю-ю, бешеный. А я то тут при чем, — Колька испуганно попятился.

Ничего не ответив, Ваньша зашагал к дому. Забравшись на сеновал, он горько подетски расплакался, навсегда похоронив в своей душе мечту стать председателем.

Руководить колхозом прислали из района верткого чернявого мужика. Люди не столько уважали его, сколько побаивались. Был Евсей Федорович резок, не улыбочив, мог отчитать за малейшую провинность. Ваньша, выросший в ладного юношу, так и вовсе невлюбил нового председателя. За что и сам не мог понять, видимых причин не было. Наоборот, Евсей Федорович, одному из немногих выдал

Ивану путевку на учебу в школу ФЗУ в Брянске и даже выхлопотал ему бронь от армии, поскольку Иван являлся единственным кормильцем семьи. Кроме него, старшего, мать воспитывала еще пятерых братишек.

Недоучившись в детстве, в ФЗУ Иван с увлечением посещал занятия, пристрастился к чтению, серьезно относился и к профессиональному обучению.

Как-то раз Ивана навестил председатель. Евсей Федорович пришел прямо в учебный класс, долго искал глазами Ивана, наконец, заметив его, кивнул. Вышли во двор. Председатель достал пачку папирос. Перехватив взгляд Ивана, протянул папиросу и ему.

— Это дело дрянь, — сказал только, — бросай пока не поздно.

Иван промолчал, затянувшись дымом.

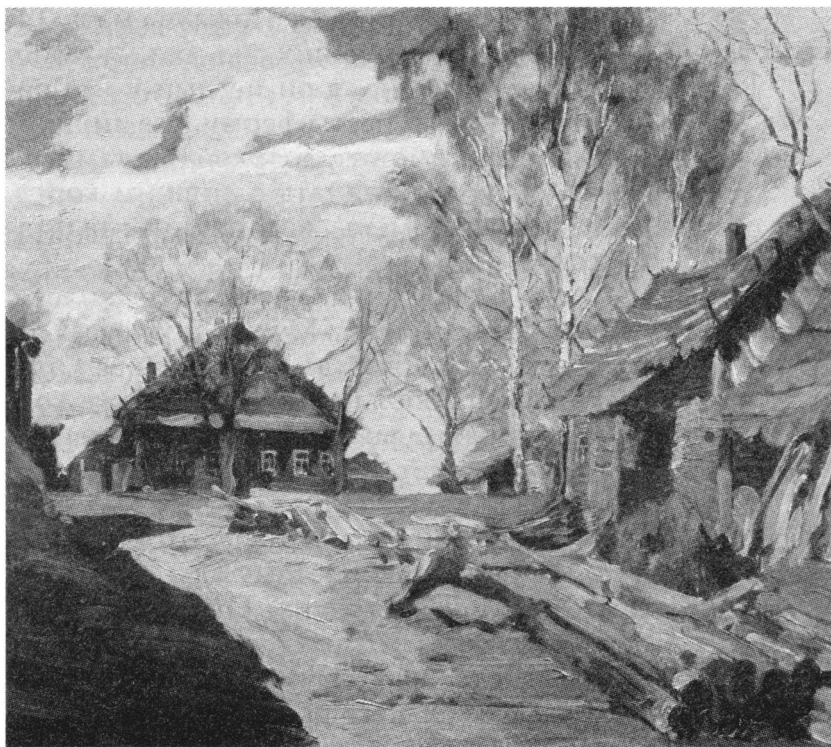
— Мать кланяться велела, — помолчав, продолжил Евсей Федорович, — тяжело ей с ребятами. А ты, стало быть, слесарем будешь?

— Ага, — буркнул Иван, — хочу в железнодорожное депо устроиться.

— Ты вот что, — председатель затушил сигарету о стену дома, — возвращайся в деревню. Нам тоже слесари нужны. Сейчас МТС создается, а хочешь на ферму иди.

— Подумаю, — Иван отвернулся и принялся рассматривать край занавески, рвущийся в открытую форточку.

— Думай, Иван, думай. Человек ведь, где родился там и пригодился, — председатель провел ладонью по лицу, — я сам-то с Поволжья. Голод там страшный был. Жена моя и сынок, тоже Иван, померли.



Деревня. Начало XX в. Худ. Сергей Виноградов

— А у меня батька тоже помер. От ран, что в гражданскую получил... — зло процедил Иван.

— Эх, жизнь... — покачал головой Евсей Федорович и, сунув в руки Ивана сверток, обернутый в чистую холстинку, зашагал по дороге.

— Что это? Не надо... — запоздало крикнул Иван.

Уже в комнате развернув тряпицу, увидел там кусок свиного сала и несколько сваренных яиц.

Домой Иван вернулся. Пожалел мать. Тянулась она из последних сил, без мужских рук на селе трудно, а он первый у нее работник. Решил идти на ферму. Все лишний раз мамаше поможет, дояркой она там трудилась. Группа двадцать с лишним коров. Всех надо накормить, выдоить, да с телятами возня.

Как-то незаметно для себя подружился с Евсеем Федоровичем. Мужик тот оказался толковый. Строговат, да. Только как без этого? Многие одобряли его за это. Даже колхозный конюх дядька Митрий, любивший подвыпить, и тот крякал одобрительно, после очередной взбучки:

— Крут наш председатель, ох, крут. Однако же не серчаю. Потому как «хозяйство везти, не штанами трясти». Оттого, можа и в передовых колхоз наш ходит.

— Ну что? Не раздумал быть председателем? Гляжу, ты все около начальства крутишься, — сунулся как-то к Ивану дружок давний Колька Гундосый. Нос у него теперь не болел, а вот прозвище осталось. Впрочем, видимо что-то было не в порядке у него в организме, поскольку получил он от армии «белый билет» и работал в колхозе учетчиком.

— Дурак, ты Колька. Как был дураком, так и остался, — беззлобно пробурчал Иван.

— Как же дурак, — Гундосый горделиво вскинул голову, — ты вона на ферме гайки и коровам хвосты крутишь, а я в конторе...

— Вот и ступай в свою контору, — вспыхнул Иван, — а ко мне не суйся.

— Больно надо, — Колька тряхнул пшеничным чубом. По его узкому лицу пробе-

жала легкая судорога, в серых глазах блеснуло нечто вроде сожаления. Он повернулся, но отчего-то пошел медленно и неуверенно, словно ожидая, что друг окликнет его.

Набычившись Иван смотрел ему вслед. Вскоре невысокая, тщедушная фигура Кольки скрылась за крайним домом.

До самой войны друзья так и встретились и не поговорили. Правда, приходил Колька пару раз на ферму вроде как по делам, но завидев его, Иван делал вид, что занят или уходил вовсе.

На фронт Ивана и других парней провожали все односельчане. Гармонист Серафим Инкин пытался играть развеселые частушки, но тут же сбивался на печальные мелодии.

Не играй гармонь, довольно,
От «страданья» сердцу больно.

Запела, заголосила Мария Лукошкина,
цепляясь за рукав мужа.

От страданья от лихого
Нет лекарства никакого

Подхватили другие бабы.

Иван шел облепленный братишками. Те гаддели с восхищением, поглядывая на старшего. Маманя, вытирая слезы, едва поспежала следом.

Возле клуба призывников ждала полуторка. Обнимая мать и братьев, Иван заметил в толпе Кольку. Тот пристально смотрел на него. Иван грустно подмигнул другу. Чего уж теперь делить? Война.

Расталкивая баб и мужиков, Колька ринулся к Ивану.

— Ты вот что, — грубовато сказал, подойдя, — давай живым вертайся. Нонче яблок в колхозном саду пропасть. Не думай, без спросу не полезем.

По-доброму обнялись. Уже забираясь в кузов машины, Иван услышал Колькины слова:

— Вань, слышь, дави там фашистскую гниду. И чтоб обязательно героем стал. Знай наших, брянских!

Нещадно пыля и подпрыгивая на ухабах, полуторка увозила новоиспеченных воинов навстречу смертоносному огню и страданиям.

Глава одиннадцатая

Самыми счастливыми моментами в доверенной жизни Дмитрия были знакомство с Прасковьей, а потом и женитьба. А ведь и не предполагал, что его избранницей станет не бедовая красавица Маруся, а тихая незаметная девушка из соседнего села. С Марусей они учились в одной школе, даже за партой вместе сидели. Мало того, хаты их тоже стояли по соседству. Потому приходилось Димке идти в школу и возвращаться вместе с Марусей. Деревенские ребяташки вначале дразнились: «Тили-тили тесто, жених и невеста», а потом привыкли. Но если кто-то из самых прытких кричал вслед колкие слова, то Маруся быстро осаживала пересмешника:

— Дразнило — свиное рыло!

С первого до седьмого класса Маруся сидела с Димкой за одной партой, а вечером частенько забегала к Димке домой, чтобы вместе делать домашние задания. Учеба давалась Марусе с трудом, а вот Димка наоборот, учился отлично. Особенно давалась пареньку арифметика. Его увлекали действия с цифрами, нравилось получать результат, решая примеры и задачки, и порой удивлял учительницу Елизавету Ефремовну, когда получал ответ не обычным путем.

— Как можно разбираться во всем этом? — кривилась Маруся, указывая на страницу учебника.

— Да тут же легко. Вот смотри, — Димка принимался объяснять подружке решение, но она только пожимала плечами:

— Ты сам сделай, а я потом спишу у тебя.

— Но так ты никогда не научишься... — сердился Димка, не понимая, как Маруся не видит очевидного.

— А мне и не надо, — фыркала Маруся, накручивая кончик косы на палец.

Димка часто слышал и от взрослых, и от сверстников, что Маруся самая красивая девочка не только в школе, но и в деревне. Хотя и недоумевал: что люди нашли в ней? Ничего особенного в Марусе не было, девчонка, как девчонка. Долговязая, чернявая, с тощими косицами. И нос картошкой.

Повзрослев, Димка недовольно выговаривал Марусе, продолжавшей по детской привычке ходить за ним хвостиком:

— Чего прилипла? Отстань.

— Боишься меня что ли? — хохотала Маруся.

Елизавета Ефремовна уговорила Димку поехать после школы в город, учиться на бухгалтера-счетовода. Председатель колхоза дал направление, мать украдкой перекрестила на дорогу.

Поступил Димка в училище легко, учился с интересом, много читал, только сильно скучал по родным. Оно понятно, из деревни до сего времени уезжать ему не приходилось, потому и переживал разлуку с матерью тяжело. На каникулы спешил домой, проходя пешком от станции много километров. Вот только пролетали эти деньки так быстро, что Димка не успевал нагоститься. Хотя какой отдых?! Летом вместе с отцом косил, помогал на картофельном поле, молотил. Зимой — ездил в лес заготавливать дрова. Да мало ли дел на крестьянском дворе? Кроме работы Димку многое интересовало. И коли что задумает, обязательно делает.

— Ох, и настырный, — качал головой отец, но в голосе слышалось одобрение.

А Димка, и впрямь, до того дотошный, не отстанет, пока не добьется своего. Захотел вот, выучиться столярному делу — за полгода освоил. Кое-что показал отец, остальное перенял у деревенского самоучки Никиты Кривого. Прозвали его так в деревне, потому что по молодости лишился Никита одного глаза. Да ладно бы, в каком серьезном происшествии, а то смех один. По дурости своей и окривел.

Ребятишки сопливые пуляли из рогатки по воробьям, а Никита мимо проходил. И такой был бахвальщик да забияка, всех-то



Девушка. Конец XIX в. Худ. Василий Перов

он цеплял и задорил. Вот и стал над мальчишками насмехаться:

— Мазилы, — говорил с издевкой, — не можешь, не берись.

— Неправда ваша, дяденька, — смело крикнул ему один малец, — глядите, —

и, оттянув резинку, ловко запустил камушек в пробежавшую кошку. Та яростно мяукнув, прыгнула в пыльные кусты.

— Тьфу, в кошку любой дурак попадет, — Никита посмотрел по сторонам, заметив у дороги разлапистый лопух, сорвал колючую головку-репейник. Положил на ладонь и отвел руку в сторону, — вот попробуй, сбей. Только не сумеешь, куды тебе кривоглазому, — дразнился он.

— Давай, Семка, — подзадоривали пацаны мальчика, — покажи ему...

Семка стал напротив Никиты, вложил гладкий камешек в рогатку, прицелился и... попал Никите точно в левый глаз.

Никита взревел нечеловеческим голосом, а Семка, бросив рогатку, кинулся наутек, громко вопя:

— Я не хотел, дяденька, не хотел... Рука соскользнула...

Долго земляки вспоминали со смехом тот случай, но Никиту уважали. Руки-то золотые, плотник и столяр от Бога. Да и он после приключившегося с ним казуса, поутих маленько. К нему-то и бегал каждую свободную минутку Дмитрий, уж больно хотелось ремеслу выучиться. Никита ничего, не прогонял. Вот только Маруся дулась:

— И что тебе там, у Кривого медом намазано? Пойдем лучше на пяточок. Потанцуем под гармошку.

— Некогда, — отнекивался Дмитрий.

И поднаторел все-таки в столярном деле. Умел неплохо владеть рубанком, знал, как обработать древесину до гладкости, как заделать трещины и сучки. Показал ему Никита,

и как набирать шпон, приготовить столярный клей, отшлифовать и покрасить готовое изделие. Правда, первая полка, сделанная Дмитрием, вышла грубовато, но Никита успокаивал:

— Первый блин комом. Рука у тебя твердая, понятие имеется. Сомнения не держи — дальше как по маслу пойдет. Вот училищу закончишь, при конторе работать станешь, а все ж занятие это не бросай. Жизнь она большая, все пригодится.

Дмитрий с учителем своим был согласен. После уже своим умом дошел до того, что многое нужно уметь и знать, потому с таким же рвением выучился играть на балалайке. А однажды с изумлением увидел, как его городской дружок Витька лихо подъехал к училищу на велосипеде. Витька сделал несколько кругов вокруг здания, трезвонил в блестящий звонок, крутил педали, не держась руками за руль.

— Отец купил. Хочешь попробовать? — притормозил Витька возле друга.

Озадаченно почесав затылок, Дмитрий все-таки решился. Взобрался на кожаное сиденье и тут же потерял равновесие.

— У меня с первого раза тоже не получилось, — ободрил Виктор, — я тебя мигом научу.

На уроки друзья опоздали, зато вскоре руль не вырывался у Дмитрия из рук, колеса не норовили повернуть не туда, а педали не прокручивались. Езда с ветерком увлекла, и хотя Витька охотно давал прокатиться, Дмитрий решил самому приобрести двухколесного красавца. Несколько месяцев ходил на станцию разгружать вагоны и, закончив учи-

лице, приехал в деревню на новеньком велосипеде.

Привыкший все делать обстоятельно и прилежно, Дмитрий серьезно отнесся к своей новой работе. Председатель сразу определил его бухгалтером-счетоводом, и молодой специалист за короткое время привел в порядок учетные записи и документацию, грамотно составлял оперативную отчетность.

— Не гляди, что молод, а шибко способный, — хвалил Дмитрия председатель.

— Негоже такого «лба» в счетоводах держать. Его бы в тракторную бригаду, — возмущался иногда на правлении колхоза бригадир Федор Калинин.

— А сметы да разные там балансы ты будешь составлять? — кричал председатель, и Калинин замолкал.

Дмитрий, и в самом деле, смотрелся этим здоровяком. Высокий, широкоплечий, с крупными натруженными ладонями. Работяга, что говорить! Мог, конечно, и в тракторную, только председатель мудро рассудил, что такой незаурядный ум нужно использовать по назначению. Пользы больше будет.

Заглядывались на молодого бухгалтера и девчата. Да и как не смотреть? Уж больно пригож! Густые каштановые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб, карие глаза с прищуром, не глядись в них — мигом утнешь, нос прямой, не велик и не мал, упрямый подбородок.

— Чего они на тебя zenки вылупают? — сердилась Маруся.

— Пусть поглядят. За просмотр денег не берут, — добродушно улыбался Дмитрий.

Маруся хмыкала недовольно. После школы трудилась она на ферме дояркой, учиться дальше не собиралась. Говорила про себя, посмеиваясь:

— Меня учить — по лесу с бороной ездить. Да и не надо мне ваши науки. У девки одна думка — замуж выйти да детей рожать, — и бросала лукавые взгляды на Дмитрия.

Они продолжали с Марусей дружить. Чувствовал Дмитрий — нравится он девушке. А вот в своих чувствах разобраться не мог. Вроде бы всем хороша Маруся: чернобровая, в больших глазах огонь, на смуглых щеках румянец полыхает, губы манят сладостью, словно земляника лесная. А уж ловка да быстра!

— Хороша девка! — похваливал Марусю и отец Дмитрия, — бойкая, работающая. Чем не жена?

Подумывал и сам Дмитрий о женитьбе. Хотя и удерживало иногда что-то, но видно, не сыскать ему лучше Маруси.

Только по-другому все решилось. В один из июльских дней вызвал Дмитрия председатель, сказал сокрушенно:

— Хоть жалко мне отпускать тебя, Дмитрий, но и соседям помочь надобно. Записались они совсем. Счетовод помер у них уже как месяца три, старенький совсем, а Сергей Маркович, председатель ихний, за голову берется. Ни учета, как говорится, ни отчета. Упросил вот меня, хоть на месяц прислать бухгалтера на подмогу. Отказать никак нельзя. Так что завтра с утра отправляйся в деревню Андреевщина. Иди на конюшню, скажи, что я распорядился лошадь к завтраму запрягать.

— Я сам доберусь, на велосипеде, — поморщился Дмитрий. Ехать за тридцать километров от родного села не хотелось, но тут без возражений.

Планировал выехать рано, чтобы по холодку добраться до места, да Маруся задержала. Увязалась проводить за деревню, а сама сказалась больной и брела медленно, припадая на правую ногу. То ли нарочно, то ли и, в самом деле, как утверждала, оступилась вчера на ферме и коленку ушибла.

Наконец простились у опушки леса, и Дмитрий быстро закрутил педалями. Тропинка то выбегала на цветущий луг, то ныряла в березняк. Солнце жгло плечи даже через рубашку, а горячий ветер сушил губы, швырял пыль в глаза.

Выехав на проселочную дорогу, Дмитрий остановился. Ноги подрагивали, во всем теле чувствовалось напряжение. Он пошел пешком, покотив велосипед рядом. Впереди слышались смех и веселые девичьи голоса. Стайка девушек, неся на плечах тятки, шагали по полю, резвились, толкались, прыгали. Вдруг одна из них споткнулась и упала. Девчата, хохоча, повалились рядом, устроив «кучу-малу». Дмитрий подъехал ближе, с улыбкой глядя на уморительное зрелище. Подружки, увидав незнакомого парня, миглом вскочили на ноги. А та, что упала первая, все еще лежала на траве и заливалась звонким смехом.

— Проска... Проска... — крикнул кто-то из девчат.

Та, которую называли Проской, взглянула из-под руки и тут же залилась румянцем,

заметив Дмитрия. Одернула платье, встала, протолкалась вперед. По лицу видать, расстроена очень. До деревни пошли вместе. Дмитрий расспрашивал девчат, где можно остановиться на проживание. Они наперебой рассказывали ему о деревне, советовали где комнату снять. Только Проска молчала и всю дорогу всхлипывала.

Позже, когда уже стали с Прасковьей женихаться, Дмитрий спросил:

— А ты почему плакала тогда? Или меня испугалась?

— Ой, Божечка мой! — всплеснула руками Проска, — там ведь и платьице задралось... стыд-то какой! Оттого и плакала.

Так и встретил Дмитрий свою настоящую любовь. Может, и нехорошо это, но забыл про Марусю. Одна Проска в сердце. Не налюбует-ся на нее, бывало. Невысокого роста, ладная. Круглое лицо всегда приветливое, милое, а в глаза глянешь, словно цветущее льняное поле колыхается в них. Встречались каждый день, гуляли за околицей, пели песни. Понял Дмитрий — нет ему жизни без Прасковьи.

— Засылай сватов. Наверное, Богу угодно, что мы встретились.

— Веришь в Бога? — спросил Дмитрий коротко.

— Верю, — твердо ответила Прасковья.

Ничего не ответил Дмитрий, привлек Прасковью, поцеловал нежно в висок. Пусть сам был равнодушен к религии, но понял любимую, не препятствовал ее вере. Сказал Прасковье о свадьбе. Она не возражала.

Пожились зимой, а в студеный день, подъехала к их избе лошадь, запряженная

в сани. Проска чуть ухват из рук не выронила, когда вошедшая девушка спросила Дмитрия. Ушла в другую комнату, догадалась видно, чутким женским сердцем, что не простая это гостья и связывало их с Дмитрием что-то в прошлом. То была Маруся. Уговаривала Дмитрия вернуться назад, уехать с ней прямо сейчас, но Дмитрий только качал головой. Маруся не отступала. Чтобы прекратить никчемный разговор Дмитрий вышел на двор. Вскоре показалась и Маруся, села в сани и укатила. А вместе с ней исчез и новенький Проскин полушубок. «Не хотела она воровать, — сказала Прасковья мужу, когда он возмущенно шумел, — тебя завлекает, чтобы, значит, приехал ты к ней, вроде как за шубой. Пустое. Отдадут, так отдадут. А нет, пускай им останется». Не поехал Дмитрий. Ни к чему! Проска в душе радовалась, хотя и сетовала иногда:

— И поносить не успела!

Через год родился у Дмитрия и Прасковьи сынок Аркаша, но вскорости умер от дизентерии. Горевали родители, конечно. Первенец. Однако жизнь есть жизнь. Аккурат за год до войны появилась в их семье дочка Олюшка. Дмитрий насмотреться не мог на крошку.

— Ты мне, Проска, еще такую роди. И не одну, — целовал жену.

За них, своих родных и ушел воевать, когда война началась. В тот день, как раз в воскресный, поехал в Богушевск на базар. С зимы осталось много картошки, думал Дмитрий продать излишки, закупить семье гостинцев, кое-какую одежду. Едва въехал на площадь,



Дворик. Зима. 1870-е гг. Худ. Алексей Саврасов

сразу понял: что-то неладное случилось. Народ с заплаканными лицами толпился возле репродукторов, многие спешно укладывали товары обратно на подводы. Война! Развернул Дмитрий лошадь и погнал назад, в деревню.

Повестку принесли на следующий день. Призывники собрались у конторы. Дмитрий не выпускал из рук Олюшку. Прозвучала команда «Стройся!». Зашагала колонна, под-

нимая пыль. Проска за ними. Сунула дочку соседке и бежала, куда сил хватило. Все выискивала глазами милого своего. Скрылись деревенские мужики и парни за поворотом, рухнула Проска на землю, выла, билась головой, целовала дорогу, где недавно ступали ноженьки любимого мужа. Придется ли топтать еще родную землю, вернется ли живым, выдюжит ли? Без ответа оставались ее вопросы. И не было у Проски никакой надежды, кроме как на Бога.

Глава двенадцатая

— У тебя ничего не случилось, Оля? Ты как-то притихла последнее время, сникла совсем, — Виктория напряженно вглядывалась в монитор компьютера, перекладывая пасьянс.

Ольга дернула плечом, буркнув что-то нечленораздельное. К чему Виктория спрашивает у нее все это? Видно же что без интереса и сочувствия, а только ради любопытства.

— Неужели из-за Людмилы расстроилась? — Виктория мельком взглянула на сотрудницу: — Да не парься ты. Радуйся, что вовремя разобралась, какой твой Стас человек.

— Вот я и радуюсь, — Ольге не хотелось сейчас разговаривать. Тем более Виктория права — в самом деле, после недавней поездки с Антоном, она ходила словно в воду опущенная, возвращаясь памятью к тому туманному полю, где Ольге слышались крики бойцов, поднимающихся в атаку, их стоны и стрельба. Запала в душу и беседа с игуме-

ном, рассказ о чудотворной иконе, прострелянной в бою фашистскими пулями.



С того дня Ольга виделась с Антоном всего два раза и то мельком в коридоре редакции. Она видела, что нравится парню, да и ей после обоюдных приключений хотелось общаться с ним. Но пока что внутренне состояние не давало Ольге сделать шаг навстречу.

Блондинка Людочка из редакции уволилась, с гордостью сообщив на прощание, будто совсем скоро они со Стасом отправятся в свадебное путешествие. Эта новость слегка кольнула в Ольгино сердце, но не столько больно, что несказанно удивило девушку. Она-то думала: станет переживать предательский уход Стаса гораздо сильнее. Но сейчас ее волновало совсем другое.

С шумом отодвинув стул, Ольга направилась в кабинет главного редактора.

— Э-э-э, ты-ы-ы куда? — Виктория недоуменно смотрела Ольге вслед. — Предупреждаю — он сегодня...

Отмахнувшись, Ольга решительно распахнула дверь. Главный стоял у окна, заложив руки за спину и пристально рассматривая что-то за стеклом. «Что его могло там заинтересовать? — поймала себя Ольга на глупой мысли, возникшей не к месту, — его окна по моему выходят в глухой двор».

Трифонов на звук открываемой двери не обернулся, только слегка приподнял правое плечо.

— Дмитрий Алексеевич, надо поговорить, — Ольга была настроена по-боевому, и хотя слегка мандражировала внутри, старалась держаться смело.

— А я думал, что ты принесла мне статью о вернисаже Елены Красновой, — главный полуобернувшись, недовольно и хмуро взглянул на Ольгу.

«Не в духе», — догадалась девушка, но отступить было поздно.

— Статья написала, только еще не выправлена. Но я не могу... — боязливый холодок пробежал у Ольги по спине. Главный выглядел мрачнее тучи.

— Не можешь или не хочешь? — Ольга с трудом выдержала жесткий взгляд редактора. Но все-таки голову не опустила.

— Помните, Дмитрий Алексеевич, вы послали нас с фотографом на открытие свиного комплекса в Зырянку? — переведя то скливая взгляд на запотевшую бутылку минералки на столе у Трифонова, Ольга провела языком по сухим губам и попыталась все объяснить главному.

— Да уж, такое забудешь, — перебил ее Трифонов, барабанив пальцами по столешнице, — поездку сорвали, репортаж не получился, так я еще вынужден был объясняться с Сазоновым.

Решив для себя, что если сейчас она ничего не скажет главному, то так и придется ей маяться дальше. Присев на краешек дивана из белого кожзаменителя, Ольга быстро-быстро заговорила. Боясь, как бы главный не прервал ее и не выставил из кабинета.. Она рассказала, как шли с Антоном по колону в тумане, выбрав ориентиром полуразрушенную церквушку на холме, о мертвой деревне с заколоченными домами, о трапезе в монастыре и рассказе игумена.



Пейзаж с белой церковью. 1882 г.
Худ. Аполлинарий Васнецов

Ольга говорила сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Голос ее хрипел и срывался. Но на удивление Дмитрий Алексеевич слушал очень внимательно, светлея лицом.

— И теперь, после того, что случилось, я не могу писать о пустых, гламурных мероприятиях, — Ольга принялась тереть пальцем кожу дивана, оставляя влажный след.

— А что собственно случилось? — Трифонов проговорил это тихо и задумчиво. — Только то, что твоя память коснулась святого для каждого русского человека. Ведь вы, молодые, порой летите по жизни, ничего не чувствуя и не вспоминая. А теперь ты узнала

и почувствовала, каково было этим ребятам смотреть в лицо смерти.

— Но как, как теперь писать про вернисажи, тусовки бомонда? — прошептала Ольга со слезами на глазах.

— Так, как это делает профессиональный журналист. Ведь через прошлое мы прочувствуем настоящее и предвидим будущее. Не в смысле экстрасенсорных способностей, а учимся понимать, что мы хотим в этой жизни, какими хотим быть. Если ты поймешь это, то твои статьи станут более глубокими, не оторванными от действительности, а на самом деле сумеют помочь людям ориентироваться в происходящем. Ты меня поняла, Ольга? — Дмитрий Алексеевич протянул ей стакан воды.

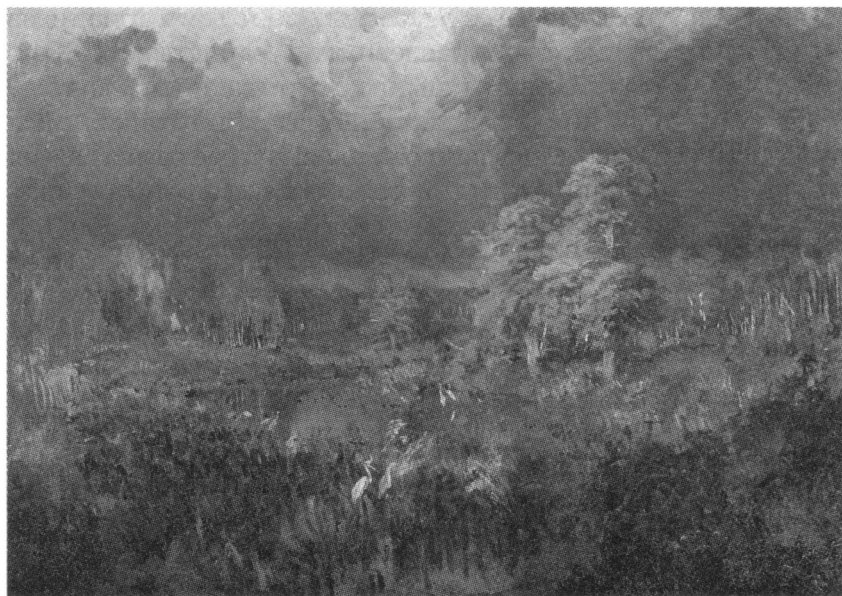
Она отхлебнула ледяной минералки и слегка улыбнулась.

— А теперь иди и работай. Два часа, чтобы выправить статью, тебе хватит?

Ольга негромко хмыкнула. Она вычитает текст значительно быстрее.

Глава тринадцатая

Край болота, по которому продвигались бойцы, был вязким, а порой и слишком глубоким. Вода то отступала вглубь леса, то грязными озерцами разливалась перед красноармейцами. Потому и приходилось обходить болото, иногда углубляясь в сторону проселочной дороги или возвращаясь назад. Это было утомительно и отнимало много времени. К тому же лес оказался сильно



Болото в лесу. Осень. 1872 г. Худ. Федор Васильев

заросшим. Завалы валежника, поваленные деревья, молодая поросль, растущая густо и в беспорядке, все это вызывало неудобство в передвижении.

— Все ноги переломаешь, — выругался брянский, за что сразу же получил замечание сержанта Бунеева.

— Разговорчики, — гаркнул Бунеев и тут же провалился по пояс в вонючую болотную жижу.

— А что? Во всем есть своя прелесть, — усмехаясь, проговорил молодой солдат, с говорящей фамилией Бессмертный.

Выглядел он до крайности нелепо. Гимнастерка висела мешком на долговязом теле, руки оказались слишком длинными для

стандартных рукавов и поэтому торчали из манжет покрасневшими запястьями. Круглую голову с коротко стриженными волосами поддерживала чрезвычайно тонкая шея. И казалось, что сейчас она переломится, как сухая веточка, а голова Бессмертного покажется прямым в болото.

— Кощей и есть Кощей, — похохатывал брянский.

— Ну, это вы зря, — с достоинством отвечал Бессмертный, — это у меня конституция такая.

Бессмертный призывался из Москвы, как, оказалось, был профессорским сыном, и даже нелепость его фигуры не могла скрыть интеллигента.

— И что же тут хорошего? — неприязненно пробурчал Зубарев, мазнув по своей щеке, пытаясь прихлопнуть надоедливую комара.

— А когда бы мы побывали в этих местах? — Бессмертный споткнулся о корягу, едва не упал и на некоторое время замолкнул. Выровняв шаг и дыхание, продолжил. — Это же романтика: лес, поляна черники и... и... тишина.

Словно опровергая его слова, над головой противно загудели немецкие истребители.

— Воздух! Ложись! — скомандовал лейтенант.

Бойцы упали в воду, прикрывая головы.

— Отбой!

— На Москву полетели, — Фархад задумчиво проводил взглядом самолеты.

— Ты гляди! Во дает! — Зубарев раздраженно хлопнул себя по бедрам. — Ты разве, узкоглазый, знаешь, где Москва находится?

— На Москву, — упрямо повторил узбек.

— Тьфу ты, — совсем разошелся брянский, — еще наш колхозный председатель говорил, что с такими спорить...

— Тихо! — цыкнул Корнелюк.

Со стороны проселочной дороги слышались звуки моторов.

— Немцы, — ахнул Бессмертный.

— Все в глубь леса. За мной! — лейтенант, прыгая с кочки на кочку, торопливо побежал к зарослям густых кустов, видневшихся метрах в ста. Бойцы старались не отставать. У Дмитрия соскользнула нога, и он угодил по пояс в холодную воду.

— Пасканной, выбирайся скорей, — сержант Бунеев протянул ему приклад ружья.

Оказавшись на сухом месте, красноармейцы лежали, хватая ртом воздух, не замечая назойливо пищащих и жалящих насекомых.

— Романтика, блин, — сплюнул брянский, покосившись на Бессмертного.

— А можа, то наши? — подал голос пожилой красноармеец с жидкими вислыми усами.

— Можа и наши, — повторяя его выговор и интонации, ответил лейтенант, — а осторожность, Тряпицын, на войне не помешает. Чего ж раньше времени умирать?

Тряпицын согласно закивал. Этого тихого незаметного бойца во взводе почему-то недолюбливали. Был он как-то сам по себе, держался всегда особняком, не лез в разговоры, чаще помалкивая. Может, оттого и относились к нему прохладно. Война дело такое: здесь нельзя друг друга сторониться, здесь все заодно. Впрочем, в бою Тряпицын

не трусил. За это прощали ребята его нелюбимность.

Чуть переждав, поспешили на прежнее место и двинулись дальше. Красноармейцы вымотались до предела. Грязные и голодные, оглушенные недавним боем и страхом преследования, бойцы едва держались на ногах.

— Товарищ лейтенант, идем, идем... а где же наша часть? — даже брянский, бесшабашная голова и зубоскал, сник.

Вытирая грязь с лица, он пошатнулся и прислонился спиной к дереву.

— Ничего не пойму, — Корнелюк взглянул на компас, — ведь уже давно должны быть на месте.

— Заплутали, — обомлел Тряпицын и тоненько заголосил: — пропадем мы тут, робята. Сгинем, как есть сгинем.

— Отставить панику! — сверкнул на него глазами лейтенант, — сейчас — пятнадцать минут отдыха.

Эта кратковременная передышка ничего не дала. Поднятые по приказу красноармейцы еле ползли вперед, оступаясь и падая в болота. Бессмертный тяжело дышал, хватаясь за бок. Заметив небольшой островок, Корнелюк приказал людям расположиться временно там.

Тихон лежал на животе, уткнувшись лицом в мох. Его обступал мрачный, наполненный опасностями лес. Хлюпающее болото, испускающее дурной запах, темные кусты, за которыми может скрываться враг, и главное, их полное бессилие выбраться отсюда.

Опираясь на руку, Тихон приподнял голову. Изможденные красноармейцы были на грани потери боевого духа. А это означа-

ло крах, и в случае чего, плен. Сам лейтенант выглядел смертельно уставшим и растерянным.

Обратившись по своей привычке и ба-тюшкиному напутствию к Господу, Тихон нащупал в боковом кармане маленькую картонную иконку Божьей Матери, завернутую в слюду. Это был список с того самого образа, об оклад которого ударился головой отец в церкви, когда туда пришли безбожники.

Иконкой этой благословила Тихона мать, провожая на войну, наказав непременно обращаться к ней в самые отчаянные моменты. Тихон углубился в густые заросли орешника. Достал образ Пречистой.

— Пресвятая Богородица, — поднес Тихон икону к губам, — не лиши нас Своего покровительства. Помоги, выведи...

— Сынок, — тронул его кто-то за рукав.

Оглянулся. Маленькая сухонькая старушка в белом платке с корзинкой в руках стояла перед ним. Темная юбка, ситцевая кофта, плисовая кацавейка. Откуда она здесь взялась?

— Милый, вон там видишь тропочку поза кустиками. По ней и ступайте.

— Выйдем ли? — заколебался Тихон.

— Не сомневайся, сынок, — лицо старушки озарилось светлой улыбкой, — разве можно тебе изувериться. Аль не сам ты Пречистую призывал? А меня не благодари. Ты Ей послужишь. Ты и весь род твой.

— Товарищ лейтенант, — кликнул Тихон, — тут бабушка дорогу знает.

— Где? Какая? — подошел Корнелюк.

— Да только вот здесь была, — Тихон недоуменно повертел головой, а потом вдруг

понял все, неистово перекрестился, повернувшись на восток.

— Гляди-ка, ты чего, в самом деле, верующий что ли? — воскликнул брянский, глядя изумленно и в то же время осуждающе. — Стыдоба.

— Пусть помолится. И стыдного тут нет ничего, — Корнелюк произнес это проникновенно и как-то тоскливо, — я бы тоже сейчас помолился. Есть за кого. Да только не умею.

— Так ведь можно научиться, — у Бесмертного в голосе звучала растерянность, словно не знал: сумеет ли обратиться к Богу. А повод, видимо, тоже был.

— Братцы, вот скажите, почем бабка эта знает куды нам идтить? — Тряпицын расстегнул ворот гимнастерки, повертел шейю, — и откуда она взялась? И куды делась?

— Слишком много вопросов, Тряпицын. А выхода у нас все равно нет. — Лейтенант ступил на тропку, — за мной. Идем туда.

Лес постепенно редел, болото осталось позади, и приближающийся звук канонады говорил, что фронт близко и они на верном пути.

— Старушка-то оказалась права, — крякнул брянский.

— Скажи, Тиха, это ты привел эту старую женщину? — тихонько спросил узбек у Тихона, стараясь подделаться под его широкий шаг.

— Нет, Фархад. Она! — Тихон расстегнул карман и показал Фархаду край иконы.

— Мама Твоего Бога опять нас спасла, Тиха, — прицокнул языком узбек.

— Да, Фархад, только правильно говорить Божья Мать, Богородица.

— Богородица, — шепотом повторил Фархад, с уважением глядя на Тихона.

Капитан с усталыми глазами и белыми, словно выкрашенными белилами висками, осматривал строй потрепанных, вымотанных бойцов. Покрытое пылью лицо капитана, осунулось, полные обветренные губы треснули посередине и кровоточили, на правой щеке от глаза до подбородка тянулась свежая царапина. Но плечи были расправлены, отчего высокая фигура его казалась еще выше, форма застегнута на все пуговицы, а фуражка надвинута на лоб не больше, не меньше положенного. Вся эта выправка выдавала в нем кадрового военного.

— Товарищи красноармейцы! — зычно выкрикнул капитан, — фашист рвется к Смоленску. Нам доверено оборонять подступы к городу. И потому дорог каждый солдат. Дорог каждый, кто может держать в руках оружие. Совсем скоро предстоит новый бой. Поэтому сейчас приказываю: привести себя в порядок, получить сухой паек, отдохнуть. А бриться? Бриться будем позже. Прогоним фрица, будем бриться, — добавил капитан уже не по-уставному.

В рядах красноармейцев послышался смех.

— Так и надо, товарищи! Так и надо бить фашиста! Весело, не опуская головы, не показывая боли. Чтобы знал фашист, кто такие русские... Чтобы навсегда запомнил, что нас победить нельзя! Да, — капитан возвысил голос, — да, мы можем терпеть поражение, временно отступать, но история показывает, русские непобедимы!

— Ура! — взметнулись победные, торжествующие крики над опушкой леса.

Капитан снял фуражку, и все увидели, что по его голове также прошла невидимая кисть с белой краской. Хотя почему же невидимая? Война!

Людям из взвода лейтенанта Корнелюка в качестве сухого пайка было выдано по брикету сухого горохового супа, и по полбуханки уже зачерствевшего хлеба.

— Ну и что с этим делать? — брянский повертел в руках брикет. Он погрыз краешек плитки и тут же выплюнул.

— А знаете, какая у меня дома была любимая еда? И в детстве... и потом, — Тихон попытался разломить хлеб на кусочки.

— Поди, щи из печки или блины со сметаной, — ворчливо отозвался Иван, продолжая рассматривать брикет со всех сторон, — это, брат все любили. Сейчас бы тех щец или на худой конец, горячей картошки с салом.

— А любил я тюрю. Накрошишь, бывало, хлеб в миску, туда лучку побольше, кваску, или воды родниковой, чуток масла конопляного... Ничего вкуснее не едал, — Тихон пососал сухой кусочек хлеба.

— Я сейчас, Тиха, — схватив котелок, Фархад сорвался с места. Через некоторое время он вернулся полным котелком воды.

— Вот, сейчас тюрю будем готовить, — узбек принялся разливать воду по котелкам.

— Оказывается, соображаешь, — озадаченно присвистнул брянский. Он кинул в воду кусочки хлеба, а сверху притрусил мелко раскрошенным суповым брикетом.

— Есть можно. Даже, можно сказать, вкусно, — быстро работал ложкой Иван.

— На безрыбье и рак рыба, — глубоко-мысленно произнес Тряпицын.

— Точно, — подтвердил брянский, подцепляя последнюю размокшую хлебную корку, — слушай, узбек, а невеста-то у тебя была?

Фархад отвернулся.

— Да ладно тебе. Я ведь не со зла. Ты же узбек? Узбек, — не отставал Иван, — ну что была краля?

— Почему была? Есть, — Фархад улыбнулся, — красивая как солнце на заре, как полно-ликая луна, как звезды на ночном небе...

— Ну, залопотал, — хохотнул брянский, а Фархад обиженно засопел и отодвинулся от Ивана подальше.

— Опять? Не обижайся. На обиженных, воду возят, — Зубарев смешался под укоризненным взглядом Тихона, — уже и пошутить нельзя. Слышал, что капитан давеча говорил. Надо весело воевать, с хохмами.

Зубарев лег на траву, подложив руки за голову. Повсюду гремело, зарево поднималось за лесом, и сама земля вздрагивала и стонала.

— Сейчас бы соснуть пару часиков, — подал голос Тряпицын.

— И вот чего ты, Тряпицын, все ноешь? — брянский перевернулся на живот. — В лесу ныл, тут опять скулишь.

Тряпицын коротко взглянул на брянско-го. Его обветренное лицо с впалыми щеками, немного длинноватым носом, небольшими темными глазами на мгновение приняло ис-



Зима. 1895 г. Худ. Александр Егорнов

пуганное выражение. Засунув ложку за голенище сапога, он тихо произнес:

— Мне никак нельзя погибать.

— А нам что можно? — взорвался брянский и пристукнул кулаком о землю.

— Нет, нет... Я не о том, — Тряпицын отер рукавом пот со лба, — мы на Львовщине жили. Так вот... однажды в село ворвались бандеровцы, вывели всех на улицу и стали избивать русских и жидов. Жинка моя Галинка вступилась. Крикнула: «Что ж вы делаете, изверги? Ни в чем люди не виноваты». Бандиты словно озверели. Подскочили к Галинке. Один ихний, помню его до сих пор, обросший, страшный, злючий, выхватил у жены сына, которого она на руках держала,

и тут же перерезал ему горлышко... — Тряпицин умолк, закусив губы. Синяя жилка быстро-быстро билась у него на шее, да испарина все выступала и выступала на лбу, — сынишке всего три годочка и было... Я тоже стоял в толпе, чуть позади. Но ничего сделать не мог, не успел... Бандеровец, тот самый, страшный, воткнул нож в живот жинки. Падая, Галинка оглянулась, и я поймал ее взгляд. Не было в нем укора, — жинка поняла меня, — а только просьба. И я урузумел, о чем просила меня Галинка в свой предсмертный час. В хате — мать и годовалый сынишка. О них молила жинка, чтобы, стало быть, сохранил я их, уберег... Как не уберег свою милую и старшенького...

— Пригнулся, да скрываясь за спинами, побег я к хате. Слава Богу, лошадь уже в упряжке стояла. Аккурат утречком собирался за травой для телянка. Покидал наскоро кое-что из одежонки в телегу, своих в охапку. Мать заголосила: «Куды? Галинка с Васильком иде?» Я ей: «Тихо, мати, тихо, до своих под Киев поидим». Гнал несколько дней. Останавливался только, чтобы покормиться, да чуток передохнуть. Мальчонка мой, Гриша, как чувствовал, не плакал дюже. Приехали до родных, а тут война. Оставил мать и Гришу там... Небось уже под немцем... Тока можа не посмеют тронуть они старую да малого? А? Как думаете? — Вопрос Тряпицына остался без ответа. — Вот потому нельзя мне погибать. Нет у них никого окромя меня. Мне обязательно вернуться надо. Старуху доглядеть и Гришу на ноги поставить. Вы не смотрите, что я с лица такой. Мне всего-то

тридцать пять годков. Это я с того раза... будто отцвел...

— Так ты хохол? А фамилия вроде как русская, — Иван кашлянул, но все равно голос звучал сипло.

— А у меня отец из-под Сызрани. Русский.

— Вы не погибнете Кузьма Егорович! Не погибните! — Бессмертный смотрел на Тряпицына жалостливо, с участием.

— Леха, а тебе сам Бог велел до победы дойти. И вообще жить вечно, — это вновь подал голос брянский. Говорил он бодро и громко, пытаясь, видимо, разрядить тягостную обстановку, вызванную рассказом Тряпицына.

— Собственно говоря, меня Леонидом зовут, — Бессмертный встал и поклонился всем, шутливо изобразив вельможеские манеры.

— А что? Разве есть разница? — совершенно искренне удивился Иван.

Бессмертный замялся, потом вновь поклонился:

— В общем-то, нет. Прошу любить и жаловать — Леха Бессмертный.

Глава пятнадцатая

Покусывая кончик авторучки, Ольга еще раз пробежала глазами текст. Ну что ж! Статья получилась неплохая. Правда, пришлось потрудиться изрядно. Убрать слишком восторженные или, как называл их главный, «слюнявые» выражения, кое-что добавить, и вообще существенно подчистить. Но зато

результат понравился Ольге. Она взглянула на часы. Управилась вовремя. Еще и пятнадцать минут в запасе. Хотя обычно на правку ей хватало полчаса: расставить запятые, с которыми Ольга не очень дружила, чуть подправить предложения, поменять местами некоторые слова. Но сегодня, чем дальше она углублялась в текст, тем больше он ей казался несовершенным и сырым. Потому и пришлось взяться за правку серьезно. Зато в итоге Ольга осталась довольна.

Подхватив листки с отпечатанным текстом, она коротко стукнула в дверь главного и, не дожидаясь приглашения войти, шагнула за порог. Редактор сидел за столом. Вид — задумчивый и отрешенный.

— Дмитрий Алексеевич, — громким шепотом позвала Ольга, — вот готово, — и протянула листки главному.

— А-а-а, да, да, — встрепенулся Трифонов, — садись, сейчас посмотрю.

Пока главный читал статью, Ольга принялась рассматривать кабинет. Бывала она здесь неоднократно, обстановку знала назубок и все равно ей каждый раз доставляло удовольствие разглядывать «святая святых» шефа.

Кроме того, что стены были выкрашены в бежевый цвет, мебель подобрана со вкусом и состояла из массивного стола настоящего дерева, стульев с высокими спинками, кожаного дивана и такого же кресла, здесь находилось много презабавных вещей. Трифонов коллекционировал различные оригинальные штучки. Так, на приставном столике у дивана стояли часы, изготовленные в виде старинного чемодана. Обитые железом угол-

ки, потертые бока, деревянная ручка. Кажется, хозяин только что приехал из дальнего путешествия и, поставив пыльный чемодан, прилег отдохнуть.

К окну была придвинута метровая фарфоровая фигурка японки в розовом кимоно, расшитом по подолу райскими птицами и цветами. Широкий пояс оби с пышным бантом за спиной, сложная прическа, с воткнутыми в пучок шпильками-канзаши выглядели вполне натурально. Но не это являлось главным. В вытянутых руках японка держала маленький плоский горшок, в котором росло живое деревце бонсай. Ольга всегда удивлялась, как возможно вырастить такое крохотное растение. Почти в каждое свое посещение кабинета шефа она невзначай подходила к фигурке и неизменно убеждалось, что деревце-бонсай настоящее.

В кабинете можно было увидеть и необычные подсвечники в морском стиле, настольную лампу в виде бокала вина, на одной из полок, словно гордо плыл по волнам корабль, паруса которого были сделаны из географической карты.

Еще Трифонов любил собирать различные умные высказывания, касающиеся в основном журналистской работы. Он помещал написанные афоризмы или стихи в красивые рамы и развешивал по стенам. Многие Ольге нравились. Например, вот это:

Слово — не камень, а упавшее
в землю зерно.
Жатву, веками текущую,
видеть не всем суждено.

Здесь, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Слово журналиста прочувственное, горячее порой не сразу прорастает в сердцах читателей. Иногда приносит свои плоды через некоторое время, а случается через много лет. Нет, есть, конечно, журналюги, которых не интересует то, что остается за их словом. Выхватить жареные факты, пустить «утку», работать на заказ, сделать карьеру как можно быстрее и любыми способами — вот цель жизни подобных писак. Ольге же близки эти слова. Еще только начиная учебу в университете, она расставила для себя приоритеты и решила, что станет настоящим журналистом: свободным, профессиональным и порядочным.

Отучившись, Ольга вернулась в родной город. Ей удалось устроиться в одну из крупнейших редакций, и она принялась претворять свои планы в жизнь. Ольге казалось, что у нее неплохо получается. Она умела прочувствовать ситуацию, сопереживать героям своих репортажей, обладала интуицией. Со временем научилась писать быстро, мастерски подбирая слова и выражения. Поэтому слова Николая Рыленкова, висевшие у шефа над столом и, стало быть, придаваемое этим словам большое значение, считала не совсем правильным. По крайней мере, высказывание поэта подходило не для всех. И точно не для нее. И в самом деле, почему Ольга должна править и вычеркивать из текста что-то? Она же видела, что все ее статьи и репортажи отличались стройностью изложения, все предложения были на своем месте и не требовали

правки. Правда, главный, когда материал попадал к нему, вычеркивал оттуда целые абзацы. Но Ольга относила это к вредности характера Трифонова и даже окрестила шефа «главвред».

Но сейчас, глядя на фотоплакат с четверостишием Рыленкова, Ольга засомневалась в своей правоте.

Гусиные иль золотые перья, —
Закон один, открытый не вчера:
Писать умеют даже подмастерья,
Зачеркивать же — только мастера.

Сегодня после беседы с главным до Ольги стало доходить, сколько еще неизведанного в профессии журналиста, а работа над статьей убедила: автор строк, так любимых шефом, — прав. Как же далеко ей еще до мастера, хотя Ольга давным-давно себя таким считала. Даже нос задирала перед коллегами.

— Ну вот! Совсем другое дело! — Дмитрий Алексеевич поднял на Ольгу глаза. — Ни в какое сравнение не идет с прошлыми твоими статейками.

Трифонов сделал акцент на слове «статейками» и Ольга почувствовала, как жар заливает щеки и уши. Это же надо! Будто шеф прочитал ее недавние мысли.

— И вот еще что, Оля, — Дмитрий Алексеевич впервые назвал Ольгу по имени, причем, произнес его не официально, а мягко, по-домашнему. Это было так неожиданно, что она вздрогнула, — то, что тебя так взволновала тема Великой Отечественной — это

хорошо. Пиши об этом. Общество, забывающее свое прошлое, может закончить очень страшно... Поэтому тема эта важна и нужна. Пиши. Я во всем поддержу тебя. Например, сделай хороший материал о твоих впечатлениях после той поездки. Включи туда историю иконы, о которой рассказал тебе игумен. Может быть тебе удастся отыскать того человека, передавшего икону в монастырь. Пиши. А мы дадим твой текст в нескольких номерах.

— Вы думаете... — Ольга слегка запнулась, — это будет интересно читателю?

— Любой материал, написанный ярко и образно, не оставляет людей равнодушными. И твой должен быть именно таким. А еще правдивым. Поэтому тебе самой предстоит узнать как можно больше о том страшном времени, — Трифонов вытащил из стола и протянул Ольге толстую книгу: — Вот возьми. Это воспоминания фронтовиков. Я думаю, тебе пригодится.

Вышедшую из кабинета Ольгу, встретил ехидный вопрос Виктории:

— Что? Разгон получила? Не подошла статья?

— Как раз наоборот, — Ольга мысленно показала заведующей язык, — хвалил.

— А чего же, как кипятком ошпаренная? — с сомнением спросила Виктория.

— Это от сущей радости, — Ольга ликуяще улыбнулась, — и, кстати, я получила от шефа новое задание.

— Ну что ж, дерзай! — Виктория зашептала бумагами на столе, а Ольга, схватив сумку, выбежала из кабинета.

Глава шестнадцатая

Зима выдалась лютой и снежной. Дули пронизывающие ветра, лопались от мороза деревья, бураны заносили дороги. Только русские к такой погоде привыкшие, порой в бой шли, скинув полушубки и шинели, приводя в изумление отчаянно мерзнущих гитлеровцев.

Часть, в которой воевал взвод Корнелюка, из-под Смоленска перебросили к Москве. Сам он в начале января был ранен и отправлен в тыловой госпиталь. Командование принял младший лейтенант Ступин, успевший побывать в боях под Минском и Юхновым. Командиром он оказался спокойным и понимающим, но ребята все равно сучали по Корнелюку, с которым прошли тяжелые военные дороги в первые месяцы войны.

Вместе со Ступиным прибыло пополнение — все молоденькие солдаты, едва успевшие пройти краткосрочный курс молодого бойца. Они старались держаться вместе, хотя выглядели отнюдь не испуганными.

— Ну что, зелень! Слушай сюда! — командирским голос изрек брянский, суровый взглядом обведя новобранцев, — рота у нас боевая, поэтому трусостью себя запятнать не позволим. Отсюда вывод: воевать как положено, за спину не оглядываться. Ну, а коли случится погибнуть, падать только вперед, чтобы, значит, ни пяди нашей земли фашисту не отдать. Такой негласный закон войны. Ясно говорю?

— Нам все это известно, — подал голос невысокий широкоплечий боец, — от фрица не побежим.



Зима. Возле костра. Конец XIX в.
Худ. Иван Ендогуров

— Поглядим, поглядим в завтрашнем бою, какие вы из себя смельчаки, — ворчливо протянул Зубарев.

— Хватит, Иван! По всему видать, ребята они боевые, — Тихон улыбнулся широкоплечему: — Тебя как звать?

— Юрка, — бодро выкрикнул солдат, но тут же поправился, — рядовой Юрий Шаповалов!

— Ладно, ладно, — брянский шутиливо поднял руки вверх. За то время, когда бойцы делили поровну испытания, поражения и успехи в боях, слово Тихона стало для боевых товарищей авторитетным, значимым. Хотя он был ровесником для многих, но к Тихону прислушивались и те, кто постарше.

...В феврале немного потеплело, однако часто мела поземка, а порывы ветра иногда

сбивали с ног. Но приближение весны уже чувствовалось: проглядывающее сквозь облака солнце стало теплее, светило ярче, случались дни, когда воздухе носились ароматы прелых листьев и оттаявшей земли. А может быть, это все было в воображении солдат. Они торопили каждый миг, чтобы приблизиться к победе. Хотя понимали: до нее еще не скоро. Но наступающая весна, вселяла надежды, поскольку всегда считалась символом обновления мира.

Как-то раз вездесущий Зубарев принес радостную весть:

— Братцы! Наш лейтенант вернулся! Корнелюк!

В самом деле, Корнелюк после лечения попросился в свою часть и теперь стоял перед ребятами, широко улыбаясь.

После взаимных расспросов, объятий, фронтовых сто граммов лейтенант, кивнув Тихону, вышел из землянки.

— Знаешь, Тихон, в госпитале у меня было много времени на раздумья, — начал лейтенант, когда они с Тихоном присели на ящики из-под снарядов, — и еще... там я учился молиться... Пока плохо получается...

— Когда узнаешь и полюбишь Бога, молитва станет сама литься из твоего сердца, лейтенант, — Тихон положил руку на плечо Корнелюка.

— А как узнать и полюбить Бога, Тихон? Как? — в вопросе Корнелюка слышалось смятение.

— Твое сердце уже ищет Его. А это уже первый и важный шаг. Господь Сам откроет тебе пути к Нему. Нужно только верить, лейтенант.

— Меня Петром зовут, — Корнелюк зачерпнул в ладони рыхлого снега, принялся катать снежок, — я сам с Украины, с Полтавщины. Рос без матери, может быть, поэтому и не слышал в детстве о Боге. Умерла мама, через два года как меня родила. Отец, понятное дело, в панике был. Я хоть и поскребыш, только и три старшие сестры догляда требовали. А как мужику без жены управиться? Он ведь плотник был отменный, и столяр. Вот и ходил по селам, по дворам — так на жизнь и зарабатывал. Отдал нас тетке троюродной. Упросил ее, ради Христа. А тетка злющая была, страсть. Била нас почем зря да голодом морила. Потом уже, когда старшая сестра Дора замуж вышла, она нас к себе забрала. Мы в родительском доме жили. Отец первое время навещался, а потом и вовсе сгинул. Ходили слухи, будто убили его. Получил, мол, Мыкола Корнелюк, хорошие деньги за сруб, что одному хозяину сработал, ехал домой, а его подкараулили лихие люди, ограбили и жизни лишили.

Я самый маленький был, сестры меня жалели. Но вот о Боге никто в нашей семье не говорил. Только однажды мой дружок Василь сообщил под большим секретом:

— Знаешь, Петро, у бабки моей на чердаке икон во сколько! — Василь чиркнул пальцем себе по макушке. — Дома, говорит, нельзя держать. Отец — коммунист. Так бабка их каждый день разглядывает и молится. Плачет. Говорит: Он есть!

— Кто? — не понял я.

— Бог!

С этими же словами я прибежал к сестрам. Они только посмеялись надо мной.

— Дурачок ты, Петро. Какой Бог? — Дора погладила меня по голове, другой рукой качала люльку. — Смотри, вон церковь разрушенная стоит, одни вороны там летают да трава растет. Где Он, Бог? Нет Его.

— А Василь говорит — есть! — упрямылся я, — у них и икон полно.

— Ну и что? — Дора подхватила плачущего малыша на руки, — и у нас была одна, а как мама умерла, — голос у сестры дрогнул, — сожгли мы ее... в печке.

Больше мы к этому вопросу не возвращались. Но слова Василя, наверное, засели в моей голове, чтобы всплыть вот сейчас, через столько лет.

Лейтенант умолк, молчал и Тихон. Он, в отличие от лейтенанта никогда не сомневался в существовании Бога. Даже в самые трудные моменты жизни не поколебался в своей вере. После смерти отца пришлось уйти из школы. В колхозе работы не давали. Алексей Мешков откровенно плевал вслед, обещая загнать «поповского сынка» за Можай. Огорчился Тихон, но унынию не поддавался. Молился, подолгу просиживая у могилы отца. Возвращаясь однажды с кладбища повстречал на окраине села кузнеца Игнатия. Кряжистый, низкорослый, с цепким взглядом и изъеденным черными окалинами лицом, Игнатий взглянул на Тихона, бредущего по дороге, и буркнул не останавливаясь:

— В кузню завтра приходи, помощник мне нужен.

— А как же Мешков? — крикнул ему вслед Тихон, но кузнец не обернулся.

В кузню Тихон прибежал ни свет ни заря. Это был деревянный сарай, крытый тесовой крышей. Рядом располагался станок, где подковывали лошадей. Это были четыре больших столба, вкопанные в землю. К ним присоединялись широкие, прочные ремни. Однажды Тихон видел, как кузнец подковывал лошадь.

К станку подвели ретивого колхозного мерина Орлика. Тот прядал ушами, тревожно ржал, перебирая передними ногами. Игнатий взяв, уздечку из рук конюха, завел мерина в станок.

— Поосторожней там, не порань, — грубовато пробасил конюх.

Игнатий только стрельнул на него глазами, ничего не ответив. Один ремень он пропустил под грудь Орлику, другой под живот. Туго затянул. Подогнув колено лошади, Игнатий принялся зачищать копыто специальным скребком. Затем, примерив подкову, начал гвоздями приковывать ее. Орлик хоть и подрагивал боками, но стоял как вкопанный.

Сейчас, проходя мимо станка, Тихон словно услышал беспокойное ржание Орлика.

Игнатий оказался уже на месте. Разводил огонь под горном. На самодельных полках разложены инструменты: клещи, большие и малые молоты, щипцы. Посередине возвышалась наковальня.

— За водой сходи, — вместо приветствия буркнул кузнец.

Потянувшись за ведрами, Тихон заметил сваленные в углу бороны, с обломанными зубцами, плуги без лемехов и прочую посевную и уборочную технику.

— Ремонтировать будем? — спросил не смело.

Игнатий только глазами сверкнул.

Весь день Тихон был на подхвате: подай, принеси, подержи. Но несказанно радовался, что оказался при деле. Надеялся, что со временем сумеет перенять мастерство у кузнеца. Хоть какое-то подспорье в семью. Однако к вечеру в кузню появился Алексей Мешков.

— Кто разрешал поповское отродье на работу брать? — рывкнул с порога, не здороваясь.

— Помощника давно прошу, ты ж не даешь, — спокойно ответил Игнатий, продолжая стучать молотком по раскаленной заготовке для тяпки.

— И один справляешься, — процедил Мешков, зло взглядывая на Тихона. Тот внутренне содрогнулся, но голову не опустил, — а этот пусть убирается отсюда.

— Пусть убирается, — согласно кивнул кузнец, — токмо нет моего обещания вовремя ремонт произвести. Опять же ведра, совки, цепи тоже одному несподручно изготавливать. Бросаю я кузню.

Игнатий скинул фартук, кинул молоток на стол.

— погоди! Как бросаю? — Мешков насупил брови. — А кого я поставлю?

— Кого хочешь ставь, а один жилы рвать я не собираюсь.

— Ладно, — скрипнул зубами Мешков, — пушай остается. Да гляди, поблажки ему не давай.

— У меня не забалуешься, — Игнатий с силой ударил молотком по наковальне.

Но Тихона он не обижал. Гонял, правда! Покрикивал, правда! Порой и затрещину отвешивал. Однако мастерству выучил, и главное, спас семью Тихона от выселения.

Через год Тихон уже и подковы гнул, мог и ведро изготовить, и другую домашнюю утварь. Много умел, работал с охотой, вот только отчаянно скучал по церковным службам, по напевному звучанию тропарей и величаний, по запаху восковых свечей.

Возвращаясь из кузни, специально делал крюк, чтобы пройти мимо осиротевшей, без креста церкви. Сердце всякий раз взволнованно бухало, а в ушах раздавалось стройное пение церковного хора: «Богородице, Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою...»

...Лейтенант тихонько кашлянул, возвращая Тихона из воспоминаний в действительность. Где-то, недалеко разорвался снаряд, и тут же со стороны вражеских позиций застучал пулемет. Война бесцеремонной походкой шагала по России.

Глава семнадцатая

Второй год войны стал для наших солдат также нелегким. Мерзли в окопах, недоедали, испытывали нехватку в боеприпасах. Правда, постепенно учились воевать, понимать тактику врага, а главное, уяснили основной военный, еще суворовский принцип: «Смелость города берет». А Тихон, знал и о других словах, сказанных великим полководцем святым благоверным князем Александром Невским: «Не в силе Бог, а в правде!» О Невском расска-



Александр Невский. 1819 г. Худ. Василий Шебуев

зал когда-то Тихону отец. О том, как собирал войско, чтобы разгромить шведов, как гнал немецких рыцарей по льду Чудского озера, как ради мира и спокойствия в родной стране ездил в орду на поклон к ханам. Мальчишкой Тихон частенько представлял знаменитого русского князя скачущим верхом на коне перед войском, под развевающимся стягом. В детстве Тихон часто обращался с молитвами к святому князю, молился ему и сейчас. Просил помиловать Родину, даровать ей победу и выстоять.

А накануне объявленной военной операции по взятию небольшого городка ушел ночью вглубь позиций, встал на колени, произнося по памяти молитвы святым-воинам, покровителям России. Знал, что из любого населенного пункта, будь то крупный промышленный город или маленькая деревушка и складывается Россия.

Корнелюк поставил солдатам боевую задачу. В составе стрелкового батальона, задолго до рассвета выдвинуться на западную окраину города, занять боевые позиции, окружив несколько крайних домов, где располагались немецкие солдаты. По знаку красной ракеты обезвредить фашистов. Одновременно при поддержке артиллерии остальные части начнут штурм города.

— По данным разведки, в городе сосредоточены карательные части СС. Задача боевой операции — освободить город от фашистской нечисти. От умелых действий нашего взвода многое зависит. Повторяю, стрелять только после сигнала, — еще раз жестко пояснил лейтенант, — все ясно?

— Так точно! — громко за всех ответил брянский.

Корнелюк молча обвел бойцов взвода глазами.

— Так точно! — отрапортовали остальные.

В полной темноте выдвинулись на позиции, окопались в грязном, уже осевшем под дневным солнцем снегу. Ночью еще держались заморозки, и потому наст был твердым и неподатливым. Еще накануне здесь хорошо поработали саперы, обезвредив заминированные подступы к городку. Время от времени немцы пускали осветительные ракеты, свет прожектора шарил по мерзлой земле. Прямо напротив хорошо просматривался большой дом старинной постройки, с колоннами у парадного входа, мезонином и балкончиками, огороженный низким забором. Немного поодаль темнел двухэтажный флигель. Вдалеке небо озарялось зарницами, но вокруг стояла непривычная тишина. Настолько непривычная, что даже легкое потрескивание снега, оседающего под руками бойцов, казался громовым раскатом.

Ночь постепенно отступала, сменяя черные краски на сероватые. Брянский подполз к Тихону.

— Дрыхнут собаки... — выдохнул злорадно, — сейчас мы их тепленькими... в постельках...

На крайнем балконе мелькнула тень. Приглядевшись, Тихон рассмотрел фигуру женщины в галифе и расстегнутом кителе. Она принялась приседать, размахивать руками, делать наклоны. «На зарядку вышла», — догадался Тихон.

— Ты смотри, что тварь фашистская делает?! — взбесился Зубарев. — Из-за таких, как эта... люди гибнут. Моя маманя... и братья... под немцем сейчас. Может, и в живых нет... а эта!.. Зарядку! Да я... — брянский перекатился на свою позицию.

— Иван! — предостерегающе шикнул Тихон, но было поздно.

Зубарев вскинул винтовку и, прицелившись, послал пулю в сторону балкона. Тут же в окнах дома вспыхнул свет, замелькали тени.

— Кто стрелял?! — сдавленно выкрикнул Корнелюк. — Кто стрелял?!

Со стороны забора раздались выстрелы. Раздумывать было некогда.

— Вперед! — дал отмашку лейтенант и побежал к дому. Оттуда, отстреливаясь, выбегали впопыхах одетые гитлеровцы. Зазвучали автоматные очереди. Немецкие солдаты с ходу вступили в бой.

Устремляясь вперед и оступаясь в подернутые ледком лужи, Тихон заметил, что в атаку поднялись и бойцы других взводов. Через минуту над городом повисла красная ракета. «Поспешил, Ваня, поспешил...» — мелькнуло в голове. Он выстрелил в бежавшего навстречу фашиста, и присев, дал автоматную очередь по цепи вражеских солдат. Загрохотали пушки, посылая снаряды в цель.

— Артиллерия наша лупит! — послышался чей-то возбужденный голос, — давай, братцы славяне, дави фашистов. Ура!!!!

Немцы огрызались смертоносным огнем, вели прицельный огонь из домов и других строений. Фактор внезапности, на который

рассчитывали военачальники, не сработал. Еще немного — и атака захлебнется.

— Вперед! За мной! — вскочил лейтенант, оглядываясь на залегших бойцов.

Первым за ним подхватился Юрка Шаповалов. Сдвинув шапку на затылок, он понесся крупными скачками, выставив ружье вперед. Его невысокая, коренастая фигура замаячила уже перед лейтенантом. Внезапно, он будто споткнулся на бегу и, остановившись на секунду, упал на шероховатый наст. Он лежал лицом вниз, вытянув вперед руки, и снег не таял под его сильными ладонями.

На крыше флигеля сердито «затявкал» пулемет.

— Ложись, — приказал Корнелюк.

Месили снег с подтаявшей землей, отползая назад, не чувствуя холода. В восточной и южной окраинах города слышались беспрестанные выстрелы и разрывы снарядов. Видимо, и там немцы не давали нашим прорваться к центру и сжимать кольцо.

— Ребята! Наши танки! — завопил вдруг Бессмертный, указывая на боевые машины с нарисованными звездочками на бортах,двигающиеся по направлению к городу. Несколько машин поравнялось с пехотинцами. В откинутом люке одной из машин показалось круглое чумазое лицо молодого танкиста.

— Эй, пехота! Царица полей! — крикнул он. — Садись на броню.

Бойцы из взвода Корнелюка устремились к танку.

— Сейчас мы их живо! Гитлер — капнут! Драп на запад! — танкист заложил два паль-

ца в рот и оглушительно свистнул, — получай подарок от Лешки Попова с Урала!

— Драп на Запад! — подхватил брянский, — Ура!!!!

Танк дал залп, потом еще один. Дом впереди задымился. Вскоре уже пылали несколько зданий. Гитлеровцы выскакивали из засады и тут же попадали под шквал огня наших автоматчиков.

Тихон, а за ним и все остальные спрыгнули с брони на землю и устремились в атаку. Танк покотил вперед.

Через три часа город был полностью освобожден от гитлеровцев. А еще через некоторое время лейтенантов Корнелюка вызвали в штаб полка. Штаб расположился в аккуратном бревенчатом домике на центральной улице. Городок, и в самом деле, оказался мал: несколько улиц и сплошь деревянные дома.

Полковник Рогожкин, лет сорока с небольшим, внимательно посмотрел на лихо козырнувшего лейтенанта.

— Передай своим бойцам, лейтенант, благодарность от командования. Воевали храбро, напористо. Герои!

— Есть передать благодарность! — вскинул руку к виску Корнелюк.

— А ты, лейтенант, продолжил бы воевать в штрафном батальоне, если бы мы не взяли город. Почему начал атаку раньше установленного срока? — Рогожкин строго свел брови. — Ты хоть понимаешь, Корнелюк, что тем самым поставил боевую операцию под угрозу срыва?

— Прошу прощения, товарищ полковник... нервы, — Корнелюк побледнел.

— У боевого офицера не может быть нервов, — полковник постучал карандашом по столу, — ты не кисейная барышня, за тобой сотни человеческих жизней. Прошу это уяснить!

— Так точно, товарищ полковник! — теперь лицо Корнелюка зарделось.

— Ладно, иди, — махнул рукой Рогожкин, — война все спишет, наши промахи и ошибки спишет, наши неумелые действия. Вот только, кто вернет погибших? Кто успокоит их матерей и родных? Кто вернет детям отцов и матерей? Иди, Корнелюк, иди...

Лейтенант вернулся хмурый и злой. Построил взвод и ледяным голосом спросил:

— Кто стрелял?

— Я, — брянский сделал шаг вперед. Его губы были плотно сжаты, от внутреннего напряжения, вена на шее натянулась и пульсировала.

— Рядовой Зубарев, своими необдуманными действиями вы подвергли опасности жизни своих товарищей, — Корнелюк чеканил слова, глядя в упор на Ивана, — и такое поведение расцениваю, как трусость и малодушие.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? — Тихон одернул гимнастерку и встал рядом с брянским. — Это я выстрелил...

— Товарищ лейтенант, это не Тиха, это я стрелял, — узбек шагнул к ребятам.

— Я это стрельнул, — Тряпицын бочком присоединился к товарищам, — бес попутал...

— Товарищ лейтенант, стрелял я, — Дмитрий и Бессмертный произнесли это одновременно.

— Отставить! Встать в строй! — прикрикнул Корнелюк. — Будем считать, что выстрела не было. Вот только... вот только Шаповалов... Юрка погиб... Все! Разойдись!

Брянский виновато взглянул на Тихона.

— Я не хотел, — прохрипел, почти не разжимая губ, — не хотел... маманю жалко стало...

— Ничего, Иван, ничего. Это война, — Тихон ободряюще улыбнулся.

— А как же Юрка? — голос у брянского совсем осип.

— Юрка? А ведь ни пяди земли врагу не отдал. Погиб за Отечество! — Тихон протянул Ивану клочок бумаги, — вот тут я адрес его переписал. Земляк он твой. Тоже брянский.

— Не хотел я... — вновь повторил Зубарев, дрогнувшим голосом, — прости, земляк!

Взяв бумажку с адресом, он бережно положил ее в нагрудный карман.

Глава восемнадцатая

Наступившую передышку между боями бойцы Корнелюка использовали каждый по-своему. Кто-то дремал, кто-то писал письма родным, а некоторые отстраненно молчали, вспоминая отчий дом.

Тихон присел на гладко ошкуренные бревна, аккуратно сложенные перед хаткой, где они отдыхали. Видимо, хозяин собирался строить новую избу или теплый хлев, да война помешала. Рядом с Тихоном опустился на бревно Дмитрий Пасканной. Провел

рукой по ровному округлому стволу. Чисто сработано! Вот это мастер! Переговариваясь, подошли Бессмертный с Зубаревым, а следом Тряпицын с Фархадом.

— Леха, а, правда, что ты профессорский сынок? — брянский вопросительно посмотрел на Бессмертного.

— Да, мой папа ученый-биолог, — Бессмертный смешно вытянул шею, пытаясь изобразить горделивый вид. С легкой руки брянского он из Леонида превратился в Леху, что впрочем, его нисколько не смущало.

— А мама? Мама тоже ученый? — спросил Фархад с уважением в голосе.

— Мама — жена ученого, — Леха вежливо улыбнулся.

— Ребята, а вот какую песню у артиллеристов подслушал, — подал голос Дмитрий. Он снял шапку и негромко пропел:

Разлетались головы и туши,
Дрожь колотит немца за рекой!
Это наша русская «Катюша»
Немцев всех кладет за упокой...

— Ну-ка, ну-ка! Пстой, пстой, — брянский возбужденно вскочил с бревен, — давай-ка еще разок.

Пасканной начал куплет заново:

Это наша русская «Катюша»
Немцев всех кладет за упокой...

Дружно подхватили все. Потом спели куплет еще разок.

По дороге разбрасывая комья грязи и снега, профырчал танк, затормозил на полном ходу и

остановился чуть поодаль. Из машины выбрался танкист и направился к бойцам. Его черный комбинезон лоснился кое-где от машинного масла, на рукаве виднелась дыра с неровными, обгоревшими краями. Танкист снял шлем, провел рукой по сплывшимся темным волосам.

— Братцы, так это же тот самый!.. — воскликнул Леха.

— Точно! — подтвердил брянский, — как его?.. Лешка Попов, вроде. Тезка твой, — повернулся он к Бессмертному. Тот с усмешкой кивнул.

— А я смотрю знакомые лица, — сияя глазами и улыбкой на перепачканном лице, проговорил танкист, подойдя поближе, — ну что, пехота? Живы?

— Живы пока. Давай к нам, — брянский прихлопнул по бревну, приглашая присесть.

— Покурю чуток, — танкист взглянул на часы. Он затянулся и, прищурившись, посмотрел вдаль. Туда, где за городской водонапорной башней виднелось длинное одноэтажное здание с висевшей на боку вывеской — «Кинотеатр «Мир».

— У нас в городке тоже кинотеатр был, — задумчиво проговорил Лешка, — ходил я туда раза два. С девчонкой одной — с Шурой Тагильцевой... Эх, хорошие у нас на Урале девчата.

— Неужели немец и до Урала дойдет? — подал голос Тряпицын.

— А Урал это где? — Фархад привстал, проследив за взглядом танкиста, словно хотел увидеть там далекий Урал.

— Я жил в городе Полевской. Это в Свердловской области, — оживился Лешка. Ви-

димо, возможность поговорить о родных местах грела душу, — знаете, чем знаменит? У нас сам Пугачев останавливался. А рядом со школой, где я учился, стоит Думная гора. Там пугачевские атаманы собирались и думу думали о своих новых походах. А еще в нашем городе жил знаменитый писатель — Бажов. Ну, который сказы писал. О хозяйке Медной горы, о Даниле мастере, о девке-Азовке, о Полозе. Не слышали? Эх, некогда рассказывать! В общем, бегали мы туда, на гору на эту, хотели найти подземные ходы и клады несметные, которые хозяйка Медной горы охраняет. А еще ходили на Азов-гору. Там девка-Азовка живет будто бы. Мы и кричали: «Девка-Азовка, открой нам свои клады». А сами драпать скорей. Боязно. А вдруг и правда, выйдет Азовка да утащит в подземелье.

— погоди, а почему Азовка? — у Лехи Бессмертного от удивления вытянулось и без того длинное лицо.

Негромкий свист заставил всех обернуться. Это танкисты звали Алексея.

— Сейчас иду, — крикнул он в ответ и заговорил быстро, проглатывая слова: — Про гору эту слухов у нас полно разных. Старики рассказывают, будто был у Емельяна Пугачева помощник Азов. Так вот, Пугачев стоял на Думной горе, а помощник его — на Азов горе. А как раз возле этой горы проходил торговый путь из Кунгура в Сибирь, по которому купцы возили драгоценные камни. Азов зажигал костры, подавая сигнал на Думную гору. Грабили разбойники купеческие обозы, а добро бедным людям раздавали. Еще

говорят, что выкрали разбойники у хозяина медеплавильных цехов Турчанинова любимую дочь. Красоты она была невиданной: статная, пригожая. А глаза! Большие темные да глубокие, словно два колодца. Назвали разбойники девку Азовка по имени своего главаря Азова. Горевала Азовка сильно. Все ей предлагал Азов и золото, и драгоценные камни. Только ей на волю хотелось. Азовку и заточили в пещеру. Плакала она день и ночь, чтобы, значит, разжалобить их. Ее слезы и сейчас текут. То родник возле Азов-горы. У нас бают, что и по сей день девка та жива. Будто каждый вечер, как стемнеет, зажигает она на вершине горы огонек. Вот мы и бегали на гору девку-Азовку искать. Хотели вход в пещеры с несметными сокровищами найти. Куда там! Потом поняли: сказки все это, выдумки.

Лешка провел рукой по глазам, затем встряхнул головой и с прищуром посмотрел на новых товарищей. Его круглое лицо приобрело задорное выражение.

— Ну, что? — подмигнул он пехотинцам. — Гитлер капут?

— Капут! — так же запальчиво крикнули в ответ бойцы.

— Бывайте, — танкист махнул рукой, — может, и увидимся еще.

Тихон задумчиво глядел, как шагал Лешка Попов к боевой машине, как что-то коротко сказал экипажу, расположившемуся на проталине у обочины дороги, как ловко вскочил на броню танка и скрылся в люке. Глаза смотрели, а сердце было там, дома, у матушки. Жива ли, родимая? И как там сестренка

Нюра? Слышно, злобствуют немцы на оккупированных территориях, не щадят ни стариков, ни детей. Помогите им всем, Господи!

— Через пятнадцать минут выступаем, — передал приказ лейтенанта сержант Беликов. Он сменил Бунеева, того, с кем воевали ребята с начала войны, с которым пробирались по болоту, поднимались в атаку и отступали. Погиб Бунеев в декабре сорок первого под Москвой. Кинулся под немецкий танк с гранатой, крикнув напоследок священные для каждого солдата слова:

— За Родину!

Беликов прибыл в часть, сразу после окончания ускоренных курсов по подготовке сержантов. Рыжеволосый, лопоухий, курносый Беликов смотрелся совсем «зеленым». Первое время бойцы отнеслись к нему настороженно. Но после первого же боя приняли как своего. Потому как сержант в бою за чужие спины не прятался, в атаку поднимался первым, в рукопашной не раз приходил на помощь ослабевшему солдату. И вообще показал себя расторопным и деловым.

Вот и сейчас досмотрел за построением и обмундированием бойцов, проверил оружие, отругал Бессмертного, которого пришлось долго выкликать, прежде, чем он встал в строй. Леха виновато моргал глазами, но вид имел загадочный.

Из дома вышла хозяйка. Темный платок, повязанный по самые брови, открывал только глаза, полные скорби, плотно сомкнутые губы, все в мелких морщинах щеки. Она поставила дымящийся чугунок на крыльцо, произнесла растерянно:

— Сынки, куда же вы? Картошка вона, не сварилась еще...

— Ничего, мать, в желудке доварится, — пошутил брянский и вопросительно посмотрел на сержанта. Тот кивнул.

Мигом разобрали картошку из чугунка. Ели уже на ходу обжигаясь, полусырую вместе с кожурой.

— Ребята, вот потеха. Сейчас мне санитары рассказали... — Бессмертный сиял глазами.

— А-а-а, теперь понятно, почему ты опоздал, — насмешливо протянул Зубарев.

— Точно, — подхватил Дмитрий, — зазнобу в санчасти нашел.

— Да ну вас, — смутился Леха, закашлялся, пытаясь погасить блеск во взгляде. Помолчал, потом не выдержал: — Там девушка... такая хорошая... Катя... Катюша...

— Давай лучше про потеху, — хохотнул брянский.

— Представляете, идет бой. Вдруг и наши и немцы разом перестают стрелять. Что такое? Оказывается, на нейтральную полосу выбежал заяц и начал чесать свой линялый бок. Умора! — Бессмертный по-детски, обезоруживающе улыбнулся.

Рассказ про зайца насмешил всех бойцов. Зашагали бодрей, переговариваясь, вспоминая различные курьезные случаи, виденные или слышанные ими когда-то.

Взводный гармонист Василий Кошкин, растянул меха гармошки.

— Ну что, «Катюшу»? — крикнул Василий, озорно подмигивая товарищам.

— Давай! — Зубарев сдвинул шапку на затылок.

Местные жители выходили из домов, махали солдатам вслед, мальчишки, подпрыгивая, стараясь попасть в ногу, бежали следом. Где-то там впереди грохотало и горело, взрывалось и завывало сиренами. Там был злобный и опасный враг. Там была смерть. Но сейчас солдаты не думали о ней. Они пели, вложив в эти слова всю ненависть к захватчикам и всю уверенность, что победа будет принадлежать им, советским солдатам, русским по духу:

Ты лети, лети, как говорится,
На кулички к черту на обед,
И в аду таким же дохлым фрицам
От «катюши» передай привет.
Пусть он помнит русскую «катюшу»,
Пусть услышит, как она поет,
Из врагов вытряхивает души,
А своим отваги придает!

Глава девятнадцатая

Открыв тяжелую и массивную дверь, Ольга тут же зажмурилась. Солнце било в глаза ярко и безжалостно. Как назло, Ольга забыла темные очки на столе в кабинете. Вспомнила об этом только сейчас, но возвращаться не стала. Редакция располагалась в старом здании. Сумрачные коридоры, небольшие окна, длинные лестничные пролеты. Лифта, естественно не было, и топать на четвертый этаж совсем не было желания.

Остановившись на тротуаре, Ольга немного задумалась, решая, куда пойти в первую

очередь: в краеведческий музей или архив. Директора музея она знала. Некто Валентин Юрьевич Пчелинцев. Этаким сорокапятилетний сноб, с выражением превосходства и надменности на лице. О таких Ольга бабушка говорила: «Через губу не плюнет». Объяснить это выражение Ольга не могла, а вот глядя на Пчелинчева, понимала, что подходит оно к директору музея на все сто процентов.

Лишний раз встречаться с Пчелинцевым не очень-то хотелось. Тем более, что не далее как два дня назад Ольга присутствовала там, на открытии нового экспозиционного зала, посвященного флоре и фауне региона, и заносчивость директора, его манера разговаривать с легким презрением вызывали у Ольги неприятие и раздражение.

Впрочем, как бы ни передергивало ее от одной мысли о встрече с Пчелинцевым, видимо, начать сегодня придется именно с музея. Все-таки там накоплен достаточно большой материал о периоде войны с фашистами на территории области. Возможно, там Ольга и отыщет ниточку, связывающую историю иконы, принесенной в монастырь и события боя на том туманном поле, где ей слышались крики и стоны.

Прикинув, что до музея всего лишь две остановки, и она может добраться туда и пешком, Ольга направилась в сторону площади. Там останется свернуть на улицу Урицкого, пройти два квартала и вот оно изукрашенное лепниной здание, построенное в начале прошлого века купцом Синельниковым.

Ольга ступила на «зебру» перехода и тут же вздрогнула от резкого автомобильно-

го гудка. Растерянно глянула на светофор. Горел зеленый. Почему тогда ей сигналият? Ольга недоуменно перевела взгляд на водителя. За стеклом улыбался... Стас!

Он призывно махнул рукой, приглашая Ольгу сесть в машину. Конечно, надо было сделать неприступный вид, дернуть презрительно плечиком и гордо прошествовать мимо. Так Ольга и хотела поступить... в первую минуту, когда увидела Стаса. Но потом сердце ее затрепетало, воспоминания недавних отношений притупили ее волю, усыпили былые обиды. Ольга быстренько скользнула на заднее сиденье.

— Привет! — Стас полуобернувшись, подмигнул Ольге, — есть предложение пообедать? Не против?

— Нет, — пискнула Ольга, ощущая необычное волнение.

— Тогда в «Черную жемчужину», — как раз загорелся красный свет, и Стас резво тронул машину с места.

Ресторан этот Ольга хорошо знала. Они иногда ездили туда со Стасом перекусить днем или хорошенько отдохнуть вечером. Фешенебельный, «буржуйский», очень дорогой ресторан. Ольга всегда ужасалась ценам. Правда, готовили отменно, но даже ради вкусных блюд, Ольга не любила бывать в этом месте. Уж слишком чопорная публика здесь собиралась. Но сегодня она была согласна на напыщенную «Черную жемчужину». В душе теплилась призрачная надежда, что эта встреча поможет возобновить их прервавшийся роман. Впрочем, даже на пике душевного смятения, взволнованности и ожидания

новых чувств, Ольга поймала себя на мысленном вопросе: «А нужен ли мне Стас, после его предательства и измены с Людочкой?». Она запрятала этот вопрос вглубь сознания и принялась смотреть, как Стас уверенно, с долей некоего позерства крутит руль, на его коротко стриженный затылок, широкие плечи. Отчего-то на ум пришел Антон, стихи, которые он проникновенно читал в день их командировки в Зыряновку, взгляд полный беспокойства, когда они пробирались по полю по пояс в тумане, худощавое, умное лицо...

Стас притормозил возле экстравагантного строения, стоящего немного особняком, в глубине улицы. Оно построено в современном стиле: много стекла, необычного декора и отделки. Над вывеской виднелась огромная полуоткрытая раковина с черной жемчужинной внутри. Вокруг ресторана высажены деревья и кустарники, делая территорию очень уютной. В прошлые визиты сюда, Ольга любила побродить по мини-парку, заглядывая в живописные уголки. Там было на что любоваться. Маленькие водоемы с рыбками, имитация маяка, искусно выполненные фигурки ныряльщиц за жемчугом, беседки, отделанные «морским» камнем. Казалось, что попадаешь совсем в другой мир.

Оказавшись внутри, Ольга в который раз почувствовала эффект пребывания где-то в морской глубине. Такой ассоциации способствовал дизайн ресторана. Сплошные изгибы и плавные линии, много белого и синего цвета в интерьере, чуть приглушенное, мягкое потолочное освещение — и тебя словно убаюкивает на волнах.

Сделав заказ, Стас достал сигареты, закурил, пуская дым к потолку.

— Как дела? — спросил, вальяжно откинувшись на стуле.

Ольга поморщилась. К чему эти дежурные вопросы? Разве им не о чем поговорить? Ольга растянула губы в улыбке и с сарказмом ответила в том же духе:

— Все окей. А у тебя?

Стас иронии ее не понял. Самодовольно кивнув, жестом показал, что у него все отлично. «Всегда был толстокожим», — с неприязнью подумала Ольга, сама удивляясь возникшей антипатии. Всего несколько минут назад она таяла от одного присутствия Стаса рядом, а теперь ловит себя на том, что его слова и манера поведения ее раздражают.

— Что нового? — очередной шаблонный вопрос, едва не заставил ее взорваться.

— Ничего, — сквозь зубы процедила она, — а у тебя?

— Полный штиль, — с неким трагизмом в голосе произнес Стас.

— А что же твоя свадьба с Людочкой? — Ольга вновь поразила самой себе. Неужели она может говорить об измене Стаса и вероломстве блондинистой стажерки без внутреннего содрогания?

— Отстой, — презрительно бросил Стас, — глупа, как пробка.

Его слова покоробили Ольгу. Отзываться так о девушке, на которой не так давно хотел жениться, — это уже верх цинизма.

— Давай пообедаем и поедем ко мне, — Стас потянулся через стол и провел пальцем по Ольгиной щеке. Она непроизвольно от-

шатнулась. Что себе позволяет этот самолюбленный павлин? Или всерьез думает, что Ольга тут же кинется к нему в объятия? У Ольгиной бабушки, которая была кладзем народной мудрости, и на этот счет было выражение, которое она не раз повторяла внучке: «С парнями будь строга. Помни — мы не на помойке найдены».

— Нет, не могу, — резковато ответила Ольга, — мне в музей надо забежать. А потом еще в архив.

— Чего там, в музее? — скривился Стас. Его красивое, холеное лицо приобрело недовольное, кислое выражение.

— Собираю материал для статьи о войне. — Ольга уже пожалела, что согласилась на предложение Стаса и поехала в ресторан. Ведь она дала себе зарок держаться от него подальше, а тут, словно затмение какое-то нашло.

— О войне?! — расхохотался Стас. — Кому нужна твоя война? Пора уже забыть о ней.

— Забыть?! Забыть?! — с возмущением воскликнула Ольга, стремительно вскакивая с места. — Разве можно забыть свою историю? Неужели в твоей семье нет родственника воевавшего на фронте? Наверняка есть. А ты предлагаешь выкинуть нашу память на свалку. Вот из-за таких, как ты — «иванов, родства не помнящих» и случаются все беды. Как можно выжить в этом мире и не потерять страну, если мы не будем помнить прошлое, своих героев и традиций?!

— Я тебя умоляю, — Стас бесцеремонно перебил Ольгу, — побереги свои высокопарные слова для читателей. Вы же, писаки, привыкли «обувать» лохов, преподнося им

свои брехливые заметки, облекая их в красивую обертку.

Задохнувшись от такой явной грубости и хамства, Ольга с шумом отодвинула стул:

— Ничтожество и негодяй! — бросила она, направляясь к выходу.

— Овца безмозглая! Истеричка! — эти хлесткие слова догнали Ольгу у двери. Первым ее стремлением было вернуться и закатить Стасу пощечину. Но сделав глубокий вздох-выдох, она не оборачиваясь, выскочила вон.

Глава двадцатая

Ругая себя на чем свет стоит, Ольга направилась к автобусной остановке. Вот дуреха, размечталась, нашла кому верить! Еще и думала, что все у них со Стасом может наладиться. Наивная! Не успел поманить пальцем, как помчалась с ним, забыв обо всем на свете. Пренебрегла мудрыми словами: «Предав однажды — предаст и дважды». А ведь ее ждало дело, куда более значимое и важное, чем встреча с богатым хлюстом. Теперь придется до музея добираться добрых полчаса, а то и больше. А значит, что в архив до конца рабочего дня уже не успеть.

На глазах у Ольги навернулись слезы. От жалости к себе и унижения. Хорошенький щелчок по носу получила она сегодня. Что ж, поделом! Ольга отошла на край тротуара, остановилась, подняв голову вверх. Поморгала часто, прогоняя слезы.

Похоже, погода должна испортиться. На горизонте собирались тучи, небо подерну-

лось белесой дымкой, сквозь которую солнце светило не так ярко. Воробьи, усевшись на ветку дерева, оглушительно чирикали. Тряхнув волосами и досчитав до десяти, Ольга была готова отправиться дальше, но тут увидела Антона, выходявшего из магазина с пакетом сока в руке. Ее губы сами собой растянулись в радостной улыбке. Ольга приветственно вскинула ладонь:

— Антон! Привет!

Повернув голову и заметив Ольгу, он тоже разулыбался:

— Привет! Ты как здесь оказалась? Очередное задание?

— Типа того, — Ольга пыталась согнать с лица улыбку, но ничего не получалось, — а ты?

— А я здесь живу неподалеку. Сейчас собираюсь в музей. Вот заскочил за соком. Душно сегодня, — глаза Антона светились искренней радостью.

— Ой, а мне тоже надо в музей, — хлопнула Ольга в ладони.

— Поехали, — Антон указал на припаркованную у обочины «Ниву».

По дороге выяснилось, что в музей им надо по одному и тому же вопросу. Военные события в тех местах и история иконы тоже не давали Антону покоя.

Антон с легкостью управлял машиной, нырял в тихие переулки, объезжая пробки, успевая изредка поглядывать на Ольгу. Она откинулась на сиденье, с удовольствием ловила взгляды Антона, у нее было тепло и спокойно на душе.

В музее они оказались раньше, чем она рассчитывала. К счастью, Пчелинцева на ме-

сте не оказалось, и к ним вышла сотрудница научного отдела Элеонора Эдуардовна Энчеватова. Ольга ее неплохо знала. Было Энчеватовой лет семьдесят, но она продолжала работать, поскольку сам директор музея ценил ее, как прекрасного специалиста, частенько обращаясь за советами. Ольга всегда восторгалась этой очаровательной женщиной. Элеонора Эдуардовна, как истинная интеллигентка, при любых обстоятельствах умела «держать лицо», обладала негромким очень приятным голосом, всегда правильно выдерживала паузы и расставляла интонации. Кроме того, имела поистине необычное звучание своей фамилии, имени и отчества. Ольга помнит, как при первом знакомстве не смогла сдержать удивления, услышав такое сочетание. Элеонора Эдуардовна заметила это, и мило улыбаясь, пояснила:

— Моя мама была экзальтированной женщиной. Большой оригиналкой. Это она придумала мне и сестрам имена. Я самая старшая — Элеонора, потом Эмма, Эльвира и Эльза. А брата зовут Эраст. В детстве мы даже стеснялись своих имен, но мама всегда говорила, что назвала нас так не случайно. Поскольку уверена, что ее дети, обладая такими именами, не смогут опуститься до неблагоприятного поступка, грубости и хамства. И вырастут настоящими людьми. Не знаю, где мама это вычитала, но и в самом деле, мы с детства вели себя, как настоящие барышни, а Эраст, хотя и мальчишка, но муху не мог обидеть. Все выросли, получили образование и, думаю, если бы мамочка была жива, то могла бы гордиться нами.

Глядя на нее, Ольга подумала, что это имя ей необыкновенно подходит и даже невозможно представить, что Элеонору Эдуардовну звали бы, к примеру, Людмилой или Татьяной. Только Элеонора! Высокая, сохранившая стройность и прямую осанку, Элеонора Эдуардовна всегда выглядела безупречно. Аккуратно собранные в пучок-ракушку подкрашенные волосы, платья, сшитые по индивидуальному заказу, легкий макияж. Доброжелательность и уравновешенность Элеоноры Эдуардовны позволяли думать, что эта женщина обладает незаурядной выдержкой.

И в этот раз она встретила посетителей с приветливой улыбкой, провела в кабинет, собираясь внимательно их выслушать.

Ольга немного замялась, не зная, как объяснить Элеоноре Эдуардовне цель визита. Ведь ни имен, ни фамилий она не знала, и даже год, когда проходили события, связанные с иконой, не могла назвать.

Коротко взглянув на Антона, Ольга решила начать с рассказа игумена. Рассказ ее был короткий, но полный такой боли, что у присутствующих мурашки забегали по коже, а глаза наполнились слезами.

— Не так давно, мы с Антоном волей случая попали в монастырь. Это недалеко от заброшенной деревни, по дороге в Зыряновку. Наместник монастыря показал нам икону Божьей Матери. На ней еще видны следы от пуль. А попала она в обитель таким вот образом. Несколько лет назад туда пришел молодой человек. Он попросил встречи с игуменом. Когда батюшка вышел к нему, то юноша рассказал, что его прадед во время

войны ходил с этой иконой в атаку на фашиста. Один! И помог нашим бойцам взять высоту. Деда убили, а его внук сберег икону, спрятал дома и хранил всю войну. Они на кордоне жили. И когда немцы пришли туда, то подожгли дом и вывели семью на расстрел. «Партизаны» — злобно орали они.

Мальчишка, получается дед этого парня, передавшего образ Божьей Матери игумену, успел вынести икону из горящего дома и встал рядом с матерью и двумя младшими братьями перед строем фашистов с автоматами. Раздались выстрелы. Мать с тихим криком упала. Следом братишки. Мальчишка вздрогнул всем своим худеньким телом, шагнул было к матери, но потом, глядя в упор на гитлеровцев, поднял икону вверх, как его дед в том бою. Глаза его горели ненавистью, а губы что-то шептали. Немецкий офицер предостерегающе поднял руку, останавливая выстрелы и спросил:

— Малтшик, что ты говорить?

— Я прошу Богородицу спасти Россию... и чтобы наши победили, — храбро ответил парнишка.

— Разве ты не хочешь жить? Почему ты не просить жизнь для себя? — офицер смотрел на мальчика с изумлением.

— Хочу, — проговорил тот, — но дед мне говорил: русская земля вся под Богом. И Он не попустит, чтобы она погибла. Ну, а коли меня убьете, то и пусть. Вон деда, не побоялся смерти. На пулеметы пошел. И я не боюсь! — звонко крикнул паренек.

Он сделал шаг вперед, поднимая икону все выше. Гитлеровцы встрепенулись, лоя мальчишку в прицел.

Мальчишка продолжал стоять перед строем. Его фигурка, в худой рубашонке, в коротких портах, видимо перешитых матерью из старых мешков, могла показаться смешной. Босоногий, щуплый, с обветренным, осунувшимся личиком — тем не менее он не был жалок. Наоборот! Весь его непримиримый вид, взгляд, выражающий непоколебимую веру, руки, крепко держащие икону над головой, говорили о силе русского духа, его непобедимости.

Холодные серые, чуть выпуклые глаза офицера усталились на мальчика. Цепкий взгляд прошелся по рваной одежонке, грязным ногам в цыпках, давно не стриженной голове и остановился на красных от холода руках, сжимавших икону. Щека немца дернулась от тика, и он занес стек над мальчиком. Но тот не уклонился, не сжался от страха, лишь поднял выше икону, где на лице Богородицы, словно слезы, виднелась кровь его деда, и яростно выкрикнул:

— Не боюсь тебя, фашист! Всех не убьешь!

И столько дикой ненависти было в глазах мальчика, что офицер невольно шагнул назад и нервно согнув стек, резко бросил солдатам:

— Stop! Nicht Schießen!¹ — и, развернувшись, быстро направился к машине. Возле нее замедлил шаг, снова посмотрел на паренька и, махнув рукой, проговорил:

— Иди, мальтшик, иди!

Так, мальчику была дарована жизнь. Он не расставался с иконой до старости, а по-

¹ Стоп! Не стрелять! (нем.).

том поручил внуку вернуть ее в ту церковь на холме, где когда-то был старостой его дед, и у подножия которой и погиб, дав возможность нашим бойцам подняться в атаку. Внук приехал, а церковь как была разрушена, так и стоит бесхозная, полуразрушенная. Только ветер гуляет под куполом. Внук был в замешательстве, ведь дед был уверен, что церковь восстановили и там идут службы.

— А как же? — не раз повторял дед, — там же самые бои были. Сколько наших солдат погребло. Косил их немец, как траву. Непогребенных сколько осталось! Нельзя без церкви. Никак нельзя.



Пейзаж с белой церковью. 1914 г.
Худ. Андрей Шильдер

Но дед ошибся. И тогда внук решил отдать икону в монастырь неподалеку.

— Вот такая история. Только ни как зовут этих людей, ни где они сейчас живут, я не знаю, — закончила Ольга.

— Оля, вы заворожили и взволновали меня своим рассказом. Вот что значит журналист, — Элеонора Эдуардовна поднесла кружевной платочек к глазам, — но, право, не знаю, чем вам помочь. Действительно, в наших краях шли кровопролитные бои, были здесь и партизаны. Но ведь вы не называете ни имен, ни дат. Боюсь, это значительно затруднит поиски. Хорошо, я принесу вам все материалы, которые у нас есть, касающиеся военных действий на нашей территории. Возможно, вы и найдете какую-нибудь зацепку.

Принеся несколько увесистых распухших от документов папок, Элеонора Эдуардовна откланялась.

— Не буду вам мешать, — сказала тихо, — если понадобится, то я в хранилище.

Ребята углубились в бумаги. Фотографии, фронтовые письма, карты местности, приказы, донесения... Неожиданно Ольга рассмеялась. Антон недоуменно поднял брови.

— Смотри, что я нашла в воспоминаниях партизана, — Ольга вновь хихикнула, — оказывается, у партизанских радистов были простенькие шифры, которые немецкие дешифровальщики кололи на раз-два. И вот кто-то в штабе партизанского движения предложил делать в шифровках орфографические ошибки — типа «бранетранспантер», «овтамат», «сомалет». Поскольку в словарях

таких слов не было, лафа для немцев закончилась. Так что, «Превед, медвед» и прочий олбанский, который так любят некоторые пользователи компов, — хорошо забытое старое.

— Забавно, — усмехнулся Антон, — выходит, русские не лыком шиты. Гитлеровцы считали наших быдлом, деревенщиной неотесанной, «русиш швайн»... А мы им — «получите, распишитесь», и под зад коленом, до Берлина догнали, — все более веселился Антон.

— Ладно тебе, — Ольга шутливо щелкнула Антона по затылку, — давай дальше работать.

Два часа пролетело незаметно, однако найти ничего не удалось. В кабинет заглянула Элеонора Эдуардовна. По кислым физиономиям ребят она поняла, что поиски оказались безрезультатными.

— Думаю, в архиве вам должно повезти, — убежденно сказала она, — еще можно в загс обратиться и в епархию. Вы ведь сказали, что тот погибший старик был церковным старостой? Начните с того, когда была закрыта церковь в той деревне и кто там был последним старостой. Так вы узнаете фамилию героического деда. В результате выйдете на его родственников и выясните настоящее место проживания того мальчишки, а ныне почтенного пенсионера. Мне жаль, что я так ничем и не смогла помочь вам.

— Что вы! Что вы, Элеонора Эдуардовна! — горячо воскликнула Ольга, — я нашла здесь столько важных и нужных сведений для моего будущего материала в газету.

— Дай Бог! Дай Бог! — кивнула Энчеватова, любезно улыбаясь, — желаю вам удачи, Оленька. И вам, Антон.

Молодые люди попрощались с Элеонорой Эдуардовной и вышли из здания. Их встретил проливной дождь. На тротуарах успели разлиться лужи, а крупные капли со звоном шлепали об воду, вспучивая ее большими пузырями.

— Побежали, — крикнул Антон, рванув к машине. Взвизгнув, Ольга устремилась за ним.

Сквозь пелену дождя, за городом перекинулась коромысло радуги. А налетавший порывами ветер, усердно принялся разгонять мрачные тучи. Он рвал их на куски, гнал прочь, расчищая небо. И вскоре солнце, мягкое, уже предвечернее протянуло свои лучики к умытой и чистой земле.

Глава двадцать первая

В отбитом в бою немецком блиндаже было тепло и сухо. Добротные толстые стены выложены березой, на нарах настелена солома, в углу чугунная печурка. Усталые, вымотавшиеся в непрерывных сражениях бойцы сумели оттеснить гитлеровцев с их позиций, получив передышку и возможность выспаться. Тот бой был очень тяжелый. Впрочем, разве были они когда-то легкими в эту войну?

В начале осени сорок третьего их части присвоили звание гвардейской и перебросили на Украину. Тряпицын радовался:

— Можя, своих встрену.

Хотя и понимал, не до того будет. Правильно рассудил. Вот уже второй месяц шли непрекращающиеся бои за Киев на правом берегу Днепра. Приходилось урывками спать прямо в сырых окопах, рядом с убитыми товарищами, по трое суток не видеть никакой пищи, кроме сухарей и воды. По несколько раз подниматься в атаку навстречу смерти. А безногая смотрела им в глаза каждую минуту.

Сейчас, сидя в немецком блиндаже, ребята не могли понять и поверить, как же остались они в живых во вчерашнем бою. До сих пор тот ужас стоит перед глазами. Немцы огрызались артиллерийским огнем, атаковали раз за разом, но поступил приказ: «Позиций не сдавать!». И гвардейцы вгрызались в землю, поднимались в контратаки, изматывая врага. Немцы дрались за каждый метр, но наши бойцы теснили их, расширяя плацдарм. Еще немного и победа очевидна. Но потери! Сколько потерь!

Полк Рогожкина атаковал противника с левого фланга. Там было особо тяжело. Слишком много убитых, слишком много уничтожено орудий и танков, и силы, силы были на исходе. Немцы словно чувствовали это. Подтянули резервы с других участков, пускали в бой танки и пехоту, надеясь скинуть русских назад в Днепр.

— Не дать врагу захватить инициативу, — отдал приказ Рогожкин, — прорвать его оборону и вперед, вперед...

— В атаку-у-у! — политрук Гуреев побежал вдоль рядов залегших бойцов.

— Ну, гады! — зарычал брянский, — гады-ы-ы-ы!

Земля, мокрая после дождя скользила под ногами, грязь налипала на сапоги, фашистские

пули летели навстречу, но гвардейцы упорно ломились вперед. У Тихона заклинил автомат, он отбросил его в сторону и теперь бежал в атаку с голыми руками. Шептал только «Господи, оборони! Господи, оборони!». В сердце его плескалась боль и скорбь. Смерть была не страшна, в какой-то момент Тихон даже хотел ее. Потом спохватился: грех это. Принялся молиться, но горечь не отпускала. Несколько дней назад Тихон получил известие, что матушку вместе с сестрицей, восьмилетней Нюрой фашисты сожгли живьем в собственной хате, как семью священника. «Пока дым не закрыл, видно было, как мамка твоя держала икону и стояла ровненько, что свечка. И Нюра подле нее. Мешков навел, иуда, — писал Колька, — фрицам продался, стал полицаем. Вместе с мамашей своей, паскуда. А когда наши немчуру погнали из деревни, он с ними ушел... Встретишь — дави!»

«Дави», — горько усмехнулся Тихон, вспомнив про заклинивший автомат.

— Ура-а-а! Бей фашистов! — неслоь над полем. И вдруг впереди, сбоку, сзади, разбрасывая ошметки грязи и человеческих тел, раздались оглушительные взрывы.

— Мины-ы-ы! Ложись! — чей-то испуганный вопль взметнулся к небу.

— Вперед! Вперед! — подгонял в спину яростный крик политрука.

Закусив до крови губы и не переставая призывать Господа, Тихон убыстрял бег. От разрывов заложило уши, над головой чиркнул осколок, сбив шапку. Не оглядывался, и не смотрел по сторонам, но знал, никто из бойцов не повернул назад. Никто, из оставшихся в живых!

Как и когда прекратились взрывы, Тихон сразу не понял. Думал, совсем его оглушило, и потому такая тишина установилась вдруг. Не замечал, и как звал во весь голос:

— Господи, помоги! Лаврентий Калужский, спаси нас! Андрей Мещовский, молись о нас!

Сообразил, что минное поле закончилось, когда не увидел больше огненно-черных столбов и вздыбленной земли. Так же неожиданно впереди, совсем близко показались немецкие окопы.

Заметив русских, которые прошли там, где не должны были, немцы принялись выскакивать из окопов. В небе показались наши самолеты.

— Ложись! — услышал Тихон крик лейтенанта.

Пока лежали, уткнувшись в землю, могли наблюдать, как горела земля под фашистами, как бежали, бросая оружие, и как напрасно офицеры пытались повернуть своих солдат назад.

— Тихон, — раздался сбоку громкий окрик.

— Здесь я, — откликнулся Тихон, узнав по голосу Ивана Зубарева, и в свою очередь позвал протяжно: — Фарха-а-ад!

— Тут я, Тиха, — донеслось справа, — Кузьма-ота.

— Живой покуда. И Леха Бессмертный со мной, — Тряпицын приподнял голову, оглядываясь, — Димка, Димка... Пасканной...

— Жив, — послышалось далеко сзади.

— Товарищи бойцы, закрепим свой успех. Раздавим фашистскую гидру! За мной! — Гуреев устремился вперед.

И вновь поднялись бойцы в атаку. Воодушевление от победы придавало сил. Уже не так чувствовалась усталость, и только одно желание горело в сердце: гнать и гнать врага со своей земли.

Плацдарм был значительно расширен. Полк Рогожкина, сильно потрепанный, отвели во второй эшелон, и бойцы Корнелюка, которых осталось меньше половины, после суточного отдыха в просторном блиндаже, один за другим выползали под лучи позднего осеннего солнца.

— А-а-а, — брянский принялся яростно чесать тело, — вот немчура проклятая, развела вшей.

— Так, не умеют немые с ними бороться, — усмехнулся Тряпицын. Заметив поодаль ровный пень от огромной некогда сосны, он скинул шинель и принялся колотить ею о спил дерева. Вскоре подкладка покраснела.

— Димка, разводи костер, сейчас мы этих паразитов поджаривать будем, — брянский начал скидывать шинель, гимнастерку, галифе. Фархад, глядя на него тоже разделся.

— Совсем нельзя терпеть, — пожаловался он вышедшему из блиндажа Тихону, — больно злые.

— Смирно! — рявкнул сержант, приметив за деревьями лейтенанта. Бойцы вскочили.

— Вольно, — Корнелюк усталый, с посеревшим лицом, остановился возле костра. Его большие глаза ввалились, черные круги вокруг них еще более подчеркивали бледность кожи, от подбородка до уха виднелся свежий шрам.

— Ты почему не бреешься, Пасканной? — лейтенант присел на поваленный ствол дерева подле Тихона.

— Немцы бороды боятся, товарищ лейтенант, — смущенно произнес Дмитрий, — еще в сорок первом заметил, когда мы после отступления через болота сразу в рукопашную пошли. Бриться некогда было. Так, фрицы убегали, увидав бороду.

— Немцы то боятся, а эти нет, — усмехнулся Корнелюк, кивнув на нательную рубаху, которую Дмитрий держал над костром, — гляди, как трещат. А бороду в костер не сунешь. Да и не по уставу.

— Тихон! Наумов! А ты кого звал, когда по полю бежал? — лейтенант повернулся к Тихону.

— Это святые наши... калужские... мы всегда им молимся.

— Опять святые, опять Бог, — Зубарев крикнул с неудовольствием, — вот меня в школе учили, что нету Его. Нету!

— Для кого-то можа и нету, — встрял в разговор Тряпицын, — а у нас в селе говорили: «Без веры живут на этом свете, а на том не проживешь».

— На том — всем едино будет, — отмахнулся брянский.

— Не скажи-и-и, — Кузьма хотел сказать что-то еще, но умолк.

Потягиваясь, из блиндажа вышел Леха Бессмертный. Черты его лица стали еще более острыми, погрубели, шея с острым кадыком покрылась крупными мурашками, в отросших волосах виднелись седые волосы.

— Зажрали, сволочи, — почесываясь, скривился он.

Все засмеялись.

— Наумов, проводи меня до штаба полка, — Корнелюк поднялся.

Шли лесной тропинкой. По обе стороны краснели шляпками подосиновики, горделиво подбоченившись стояли боровики, сыроежки выбегали прямо к стежке. Корнелюк невзначай наступил ногой на расшлюпенившийся от дождей подберезовик. и в воздухе сразу остро запахло грибницей.

— Я вот что хотел рассказать тебе, Тихон, — начал Корнелюк, — мучает это меня, не дает покоя. Был у меня друг. До войны еще познакомились в Москве. Я в военном училище учился. Только поступил, ни с кем из ребят еще близко сойтись не успел, по дому скучал. В увольнении все больше один гулял. И вот иду я как-то вдоль Москвы-реки, а навстречу мне парень в разноцветном полушубке. Все на него оборачиваются, смеются, а он хоть бы хны. Шагает себе и шагает.

— Это как в цветном? — удивленно взглянул на лейтенанта Тихон.

— Сейчас объясню. Ну вот, идет он себе голову задрал, крутит ею из стороны в сторону, высотки, значит, рассматривает. И походка такая, знаешь, как на шарнирах. Красиво так выступает. Видно, огонь малый. Боевой. Лицо худощавое, мужественное, взгляд доброжелательный. Ну, я его и позамал:

— Эй, разиня! Воробей залетит.

А он ничего, не обиделся. Рассмеялся так залихватски.

— Не бойсь, — отвечает и тут же знакомиться начал, — Николаем меня кличут. А тебя?

Пожали друг другу руки, идем дальше.

— Ты чего так вырядился? — спрашиваю.

А Николай опять хохотать. А потом рассказал мне свою историю. Родился Николай в Рязанской области, в деревне. Семья беднейшая. Работать Коле пришлось с раннего детства. Потому и выучиться не пришлось. Окончил только четыре класса. «Четыре класса и коридор» — так он пошутил. А способный был — жуть. Особенно его притягивали различные приборы. Когда приезжали монтеры из района чинить радио, Колька не отходил от них ни на шаг. Бегал и в контору. Там был единственный на весь колхоз телефон, и как только председатель колхоза выходил из конторы, Колька бросался к аппарату и изучал его со всех сторон. Однажды разобрал телефон до последнего винтика. Каково же было удивление разъяренного председателя, когда Колька вновь собрал аппарат, все сделав правильно. Повзрослев, Колька уже самостоятельно чинил репродукторы, киноустановки, телефоны. Мог и сам собрать любой прибор. Председатель привозил ему детали из города, ненужные, выброшенные. Коля их исправлял и через несколько дней — готово! Его приглашали и в соседние колхозы и даже в райцентр. Когда Николаю исполнилось восемнадцать лет, он испросил у отца разрешения отправиться в Москву.

— Поехать можно, — согласился батя, — токмо в чем? Одежи нету у тебя приличной. А на дворе зима.

Николай загоревал, было. Но односельчане, узнав об этом, решили помочь земляку. И вот со всех дворов ему принесли по куску овчины — у кого какой был. Кто черный, кто рыжий, кто белый или серый. Местный портной-скорняк и сшил полушубок. Разноцветный. Как одел, прошелся по деревне — все девки его. Высокий, поджарый, в глазах смешинки бегают. Пофорсил Николай несколько дней в новом полушубке, позавлекал девчат. В нем и в столицу прикатил. Приехать-то приехал, а ни жилья, ни работы. Ночевал в будке путевого обходчика трамвайных путей, днем хватался за любую работу. Москва нравилась, несмотря на мытарства, вот только скучал по любимому делу.

Пока он мне это рассказывал, у меня созрел план, как ему помочь. У нас в училище в красном уголке стоял приемник. Мы на него давно поглядывали, но воспользоваться не могли. Не работал. Несколько раз его пытались исправить, но поскрипев день-другой приемник опять отключался.

— Приемник можешь починить? — спросил я Николая, рассуждая, что, возможно, удастся устроить его куда-нибудь на работу. Командир нашей роты курсантов старший лейтенант Зайцев был командиром понимающим, и я надеялся, что он поможет Николаю.

Всего около часа понадобилось Николаю, чтобы разобраться с приемником. Зайцев только изумленно хмыкал. Но видно было, что ему понравился Николай. Пообещал подумать о его дальнейшей судьбе. И действительно, через некоторое время вызвал меня,

и приказал пригласить Николая. Оказывается, есть возможность устроить его радиотехником в Центральный Дом Красной Армии.

— Там такие самородки очень нужны, — Зайцев с удовлетворением смотрел на Колькино сияющее лицо.

Николая в Дом Красной Армии взяли, а мы с ним крепко сдружились. То, чего не хватало мне, у Кольки было с избытком. Шутник, балагур, весельчак. Не терялся ни в какой ситуации, за друга готов был в огонь и в воду. Ценили его на работе. Специалист был отменный. Смелый, до безрассудства. Когда началась война в Испании, хотел уйти воевать. Конечно, его не взяли — такие умельцы были на вес золота. Только вот... не посчитались с его мастерством в тридцать седьмом. Арестовали по доносу и впяли четырнадцать лет лагерей без права переписки.

— Кто же донес? — спросил Тихон, боясь даже подумать плохо о лейтенанте.

— Думаешь, я? — понял его Корнелюк, — нет, подлости я бы человеку не сделал, а другу тем более. В тот день я увольнение получил, а Николай занят был. Договорились, часа через два встретиться в парке, пивка попить с воблой. Коля общительный был, друзей имел много. Говорит, я мол, с четырьмя дружками приду. Ну, я в казарму назад пошел и спать завалился. И проспал. Вскочил, вижу опаздываю. Я в парк, а ребята уже разошлись. Один Колька сидит. Грустный такой, задумчивый, что на него не похоже.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Да так, — поморщился Колька, — разговор не больно веселый вышел.

— О чем? — поинтересовался я.

— О политике, о чем же еще, — Колька сдвинул кепку на затылок, — пришли к выводу, что Сталин не совсем правильно делает, «вычищая» командный состав. Очень серьезное международное положение, а многих видных полководцев признают врагами народа. А если война? Как это все вдруг стали врагами народа? Не может такого быть! Вот хотя бы Тухачевский... Ну, какой он враг?

— Ты бы, Коля, поостерегся с такими разговорами, — я отчего-то почувствовал, что все это не к добру. Испугался за друга, — ты этих приятелей своих хорошо знаешь?

— Ребята надежные, — уверенно сказал Колька.

А на следующее утро, его и тех троих арестовали. Сразу стало ясно, кто донес. Сколько раз я ругал себя, что не узнал у Николая фамилию того четвертого. А сейчас вот думаю, и хорошо, что не спросил. Сам я вряд ли смог бы наказать его так, как накажет стукача жизнь. Теперь я это точно знаю. А Кольку жалею сильно. О нем я и хотел бы помолиться. Да не научился пока. Тяжело мне, потому что не смог помочь Николаю. Не смог... И не смогу уже...

— Сможешь, — уверенно проговорил Тихон, — сможешь, лейтенант. Твоя помощь очень нужна Николаю.

— Как? Каким образом? — встрепенулся Корнелюк.

— Молись... научись молиться... обязательно научись, Петр, — Тихон протянул лейтенанту руку, крепко пожал ее и пошел назад, старательно обходя сыроежки с разноцветными шляпками.

Глава двадцать вторая

Начавшийся с вечера мелкий, не осеннему теплый дождь не прекращался всю ночь. Шел утром и закончился только к полудню. Выходить из блиндажа в сырую мглу не хотелось, но и находиться внутри не было сил. От набившихся внутрь бойцов было душно, но более всего донимали вши.

— Вот заразы, немые, что они не мылись что ли? — в сердцах воскликнул Тряпицын, остервенело скребя ногтями плечи и живот.

— А тут, Кузьма, такое дело, — брянский, направляющийся к выходу, остановился, — вши тоже с фашистами воюют. Нас покусывают больше для порядка, чтобы злее были. А фрицам житья не дают. Так что мойся не мойся, вша свою работу знает.

— Скажешь тоже, — ухмыльнулся Леха Бессмертный, — вошь это всего лишь насекомое с неполным превращением. Прimitив, одним словом. И где фашист, а где наш солдат она знать не может.

— Ага, профессор! — с сарказмом произнес брянский, — только почему-то пленные немцы облеплены вшами, и блиндажи их так и кишат ими. А у нас терпимо, — Иван, не дожидаясь возражения Бессмертного, вышел наружу.

За ним потянулись и остальные. Намокшие деревья клонились к земле, пожухлая трава блестела, кое-где в низинках скопилась вода. Из оврага, тянувшегося у края леса, поднимался клочковатый туман. Осень стояла на удивление мягкая и теплая, скинули ватники и шапки, устроились, кто на пень, кто на кучу хвороста. Бессмертный, расправив на коленке



Осень. 1900-е гг. Худ. Константин Крыжицкий

листок бумаги, достал из кармана гимнастерки химический карандаш, сунул в рот и принялся старательно выводить буквы. Тихон, стиснув зубы, отвернулся. Писать ему было некому. Впрочем, как и брянскому, Тряпицыну и многим другим, у кого родные погибли в оккупации. Дмитрий Пасканной тоже отошел в сторонку и, прислонившись к сырому стволу березы, принялся напряженно следить взглядом за увядшим листиком, слетевшим с дерева прямо в мутную лужицу.

— Ты чего такой смурной, Дмитрий? — Тихон подошел к товарищу, — почему домой не пишешь?

— А куда писать, Тихон? — с горечью воскликнул Пасканной, — деревня моя и район, вся Белоруссия немцами оккупирована. С начала войны весточки от своих не получал. Ничего не знаю. Как они? Живы ли?

— Ничего, ничего. Коли суждено нам такое, то все выдюжим, — у Тихона перехватило горло, но сдержался, не дал голосу дрогнуть, — Господь с нами!

— Тихон, ты ответь мне, почему если Он есть, то кругом такая война: смерть, разруха, голод, страдание? Почему? — У Дмитрия слезы стояли в глазах.

— Это наказание Божие за нашу безнравственность, за наше безбожие и отступление. Господь попустил войну, чтобы это пресечь. Потому что пытались совсем задушить веру. Сколько храмов закрыли, разрушили, осквернили!

— Но в чем виноваты дети? Старики? — в голосе Дмитрия не слышалось непримиримости, но только тоска.

— Для того, что бы понять волю Божию, нужно верить ему всем сердцем, — Тихон дотронулся рукой до левой стороны груди, где в кармане лежала иконка — материнское благословение, — мой отец учил меня, что земная жизнь для верующего не цель, а приготовление к вечности. Господь дал нам свободу воли, а мы распоряжаемся этим даром неверно, совершаем зло. Бог долго терпит, но не может допустить гибели человека, его души. Вот и попускает беды. Виновные получают через войны наказание, а невинные, пройдя через огонь испытания, — награду. Все мы нуждаемся в очищении, а страдание — вид очищения.

— Не знаю, мне пока трудно... — Дмитрий не успел закончить. Из-за деревьев выскочил возбужденный Зубарев. Привлекая внимание, он оглушительно свистнув и радостно сообщил:

— Братцы! Тылы подтянулись. Повар уже вовсю кашеварит. Возле кухни борщом пахнет... И банно-прачечный отряд прибыл. Баньку оборудуют.

— Наш пострел везде поспел, — добродушно пробурчал Тряпицын.

— Изучал обстановку, — брянский подмигнул Тряпицыну, — готовься к помывке, Кузьма.

В баню отправились к вечеру. Между двумя крепкими березами был натянут шатер, из лапника сооружены стены — полевая баня. Неподалеку кипели, подогревая воду, огромные самовары, на самодельных, свежесколоченных верстаках располагались корыта со стиральными досками. В стороне вид-

нелся еще один шалаш — там бойцы должны были проходить дезинфекцию. Девушки-прачки сбились стайкой возле огромного чана, с любопытством поглядывая на бойцов. Изношенные серые юбки, полинялые кофты, наброшенные на плечи ватники. Многие прятали руки за спину.

— Ну, что прачечное войско прибыло? А мы вас заждались! — Это брянский не утерпел, подковырнул девчат. — Без вас немца никак не можем победить, — с иронией добавил он.

— Да где уж вам! — звонко выкрикнула круглолицая курносая прачка. — Вон какие грязные и вшивые. Только успевай почесываться, а не фрицев бить.

— Поговори мне, шмакодявка, — беззлобно погрозил девчонке брянский.

В ответ она показала ему язык. Молоденькая, невысокая, худенькая, она уперла руки в бока и притопнула ногой.

Широко растянуты
Полосы фронтовые
Если все бойцы полягут
На смену мы готовые!

— Не больно-то задавайтесь. Подумаешь, прачки... — Леха Бессмертный пренебрежительно скривился.

— А тебя как зовут, курносая? — сунулся, было, брянский к той, бедовой.

Но она только сердито хмыкнула и отвернулась. Зацепили, видимо, слова Бессмертного.

Вечером на лужайке устроили танцы. Долго думали, где добыть музыку. Вася Кошкин погиб, а кроме него играть никто не умел.

— А гармошка осталась? — спросила одна из прачек, — широкоплечая, приземистая, с плоским лицом и немного раскосыми глазами. Две черные косы спускались до пояса. Подружки окликали ее Женей.

— Пока цела, — Иван то и дело бросал взгляд на давешнюю озорную девчонку. Понравилась она ему, по сердцу пришлась.

— Так я сыграю, — пробасила Женя.

— Фархадка, сбегай, — обернулся Зубарев к узбеку.

...Женя уселась на пенек и растянула меха. Плавная мелодия «На сопках Манчжурии» поплыла над лесом. Иван подскочил к бойкой дивчине. Но та, дернула плечиком и, подхватив стоящую рядом подругу, закружилась в танце. Так же поступили и остальные девчата. Мелодия закончилась, и Женя опять заиграла. Зазвучал тот же вальс. Встрепенувшись солдаты, поправили ремни, заломили шапки, и только направились к девушкам, как они с легким смешком принялись вальсировать друг с другом. Ребята недоуменно переглянулись.

Женя в третий раз принялась выводить тот же мотив.

— Почему другая песня не играешь? — у Фархада вытянулось лицо.

— А я только эту знаю, — смутилась Женя.

Девчонки, посмеиваясь, вновь вышли в круг.

— Да, хватит вам, — догадался о причинах «мести» Иван. Он кинул сердитый взгляд на Бессмертного, — один дурак сказал, а вы на всех обиделись...

— Устали мы что-то. Завтра стирки много. Мы же прачки... — притворно зевнула та, ко-

торую брянский обозвал «шмакодявкой», а теперь корил себя за это. Ну, как осерчала?

— Погоди чуток, — брянский схватил девушку за руку.

— Ой, Зиночка, смотри-ка, какой прыткий, — насмешливо фыркнула одна из девушек, высокая и плотная, с большими красными ладонями, — и голос, прямо командирский.

— Вольнонаемные мы, — нараспев произнесла Зиночка, — их приказам не подчиняемся.

В Зининых словах вроде как ирония слышится, а в глазах любопытный огонек горит. Приглянулся солдат. И лицом, и выправкой, и смелостью.

— Девчата, всем отбой! — отрывисто бросила замполит полевого прачечного отряда Воскобойникова.

Прачки не оборачиваясь, скрылись за деревьями. И только Зина не выдержала и, спрятавшись за кустом орешника, выглянула, ища глазами понравившегося солдата. Ойкнула стыдливо, встретившись с ним взглядом, и со всех ног бросилась догонять боевых подруг.

Глава двадцать третья

Тихону приснилась служба. Торжественная, пасхальная. Отец с кадилом перед алтарем. Мать с крошечной Нюрой на руках. Деревенские бабы в белых платочках, с узелочками в руках, мужики, мнущие картузы в руках. Все с радостными, просветленными

лицами. Отец, хотя и в стареньком, старательно заштопанном матерью облачении, выглядит нарядно и торжественно.

— Христос воскрес! — громко провозглашает с амвона.

— Воистину воскрес! — ликующе отвечают собравшиеся.

Пахнет куличами, выглядывают из узелков красные бока яиц, свечи горят ярко, и все-все в храме сияет и торжествует: лики на образах, паникадило, росписи на стенах, видневшаяся через открытые Царские Врата часть алтаря. Две старушки из церковного хора тянут благостно:

— Воскресение Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ты боеси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем...

Отец спускается вниз, берет матушку за руку и ведет к выходу.

— Батюшка, — окликает отца Тихон, — куда же вы? Еще служба не закончилась...

Молча улыбаясь, идет отец мимо, выискивая глазами кого-то среди верующих.

— Здесь я, батюшка, здесь, — пробираясь между людьми, Тихон спешит за отцом.

Тот кивает молоденькой девушке. Лица ее Тихон не видит, но что-то знакомое чудится в ее хрупкой фигурке, движениях, походке. Держась за руки, отец, матушка с Нюрой и эта полужнакомая девчонка удаляются прочь. Уже возле двери, отец оборачивается, взглядом останавливая следовавшего за ним Тихона.



Зимний пейзаж с церковью. 1880-е гг.
Худ. Гавриил Кондратенко

— Тебе туда, сынок, — указывает отец на алтарь, — иди... иди с Богом!

Мягкий, теплый свет хлынул в открытую дверь, выхватив на минуту силуэты, словно плывущих по воздуху людей. Миг, и вот уже их очертания растаяли, унесенные ввысь. Лицо Тихона заливают слезы, а сердце наполняется тихой печалью. Ему хочется припасть к тому месту, где недавно стояли его родные, и целовать землю, где недавно виднелись их следы.

— Тихон, Тихон, — трясет кто-то Тихона за плечо. Он оглядывается и... просыпается.

— Слушай, можно я возьму твои сапоги? А то мои не просохли, — брянский тормозил Тихона. В голосе — радость и удовольствие.

— Э-э-э, зачем кричишь, зачем человека будишь? Только заснул, Тиха, — Фархад укоризненно зацокал языком, ворочаясь на нарах.

— Фархадка, брат, прости. Мне очень надо, — брянский широко улыбнулся.

— Бери, — Тихон сел, потер глаза, прогоня сон, — к Зине что ли?..

— Завтра переводят их отряд... попроситься надо, — Иван быстро натянул сапоги и выскочил из блиндажа.

Дождь щедро поливал землю уже третий день. Почва напиталась водой, пружинила под ногами. Ели гнули тяжелые лапы к земле, голые ветви осин и берез потемнели, влага крупными слезами катилась по стволам.

Предвкушая встречу с Зиной, брянский торопился напрямки через лес. Хотя расстались они каких-то три часа назад, но Ивану казалось, что не видел Зину целый век. Уже неделю, пока банно-прачечный отряд обслуживал их часть, они встречались с Зиной каждый день. Правда, урывками, порой успевая только переброситься двумя-тремя фразами, но Иван понял, что лучше Зины ему не надо никого. Сегодня он намеревался сказать девушке об этом. А по ее глазам и радости, с которой Зина встречала его, Иван догадывался — Зина чувствует то же самое. Девчата их отряда давно все заметили и посмеивались над брянским, когда он появлялся у прачек.

— Гляди, Зин, ухажер явился, — насмешливо хрипела Женя. Простыла, выбегая, распаренная от горячей воды и стирки, из блиндажа подышать воздухом.

— Пускай, пускай, — осекала прачку Воскобойникова, — Зиночка заслужила.

Строгая и требовательная замполит отряда благоволила к Зине. Может, потому, что Зина была самая молодая среди прачек, оттого, наверное, что рано осталась сиротой. У самой Воскобойниковой немцы угнали единственную дочь в Германию, и она была убита по дороге при попытке к бегству. Вот и жалела замполит Зину, оберегала как могла, хотя могла и разнос устроить, коли за дело.

За всю неделю Зине с Иваном и поговорить, как следует, не удавалось. Откладывали на потом. А сегодня Воскобойникова объявила:

— Выдвигаемся в расположение другой части. Двигаемся завтра.

Зина в слезы. Иван ведь ничего не знает. Придет завтра, а их уже нет. Черкнула весточку, попросила Женю отнести. Самой разве можно?! Стыд какой! Женя уважила подругу, а вернувшись, подмигнула лукаво: жди, мол, обещался прийти.

Сейчас Зина ждала Зубарева на лужайке. Там, где прачки ловко проучили зазнавшихся бойцов. Иван подошел неслышно, обнял Зиночку сзади, закружил. Она от счастья замерла вся, прижалась к Ивану, ткнувшись лбом в колючую шинель.

Отыскали большую разлапистую ель, забрались под дерево на сухую подстилку из прелых иголок. Сидели молча, слушая шум дождя, поскрипывание ветвей, шорох листьев под лапками невидимого мелкого жителя леса.

— Как будто и нет войны. Правда? — прошептала Зина.

— А ты кем была до войны? Где жила? — Иван прикрыл Зину полой шинели.

— Кем была? Не успела я кем-то стать, — тихонько засмеялась Зина, — а мечтала на доктора выучиться. Мы недалеко от Мурманска жили, в рыбацком поселке. Мой отец в море ходил, на шхуне. А мы с мамой ждали его на берегу. Помню, как мамочка всегда плакала, когда провожала отца в море. А я рыдала вместе с ней. В день, когда рыбаки должны были вернуться, все выходили на берег и напряженно вглядывались в море. И только шхуна появлялась вдаль, люди начинали обниматься и плакать от счастья. А мама никогда особо не радовалась, словно чувствовала, что однажды отец не вернется. Так и случилось. После весенней путины, сколько мы ни ждали, рыбаки так и не вошли в залив. Накануне был сильный шторм и, видимо, шхуна опрокинулась и все утонули. Мама не хотела этому верить, каждый день уходила на берег, подолгу стояла там, поджидая отца. Даже когда к берегу прибило несколько тел рыбаков с той шхуны, мамочка все равно продолжала туда ходить. А потом она заболела, лежала в постели с закрытыми глазами, ничего не ела и не хотела пить лекарства. Я плакала, теребила ее, а потом забиралась к ней на кровать, и мы лежали, обнявшись, пока я не засыпала. И вот, как-то раз, я проснулась от того, что замерзла. Мама уже не была теплой как прежде, и не грела меня своим телом. Ее рука продолжала обнимать меня, но сквозь рубашку я чувствовала холод. Мамочка умерла, так и не сказав мне ни слова, — Зина громко всхлипнула. Иван ласково погладил ее по

щеке, вытирая катившиеся слезы, — и ничего у меня от них не осталось: ни от папы, ни от мамы. Даже карточки.

— А потом? — спросил Иван, прерывая долгое молчание Зины.

— Попала в детский дом. Мне семь лет тогда было. Училась. Нас там кормили, одевали, но... — Зина тряхнула головой, отгоняя неприятные воспоминания, — у нас воспитательница хорошая была. Добрая очень. Варвара Семеновна. Любила она нас. В детдоме много детей рыбаков было, и у нее тоже муж сгинул в море. Она меня и еще нескольких девочек в церковь водила. Сначала жутко мне было: всюду иконы, глаза и лики у святых, казались, такими суровыми, тетки все в темных одеждах, беспрестанно крестятся, глядят на нас строго. Потом понимать стала, и Варвара Семеновна столько всего о Боге рассказывала.

— Тю-тю, — присвистнул Иван, — так Бога ж нет!

— Ты что? Ты что? — Зина в сердцах даже оттолкнула слегка Ивана. — Как нет? Он есть! Есть!

Отвернувшись, она расстегнула ватник, запустила руку за пазуху и вытащила привязанный к ляжке нижней рубахи крестик на длинной веревочке. Сунула Ивану в руки.

— Бог на кресте был распят, живьем! Представляешь? За нас, за людей. Как мы сейчас, как наши солдаты погибают за Родину. Он есть, не сомневайся. Я раньше тоже, как ты думала. Посмеивалась даже. Только Варвара Семеновна и батюшка наш в церкви мне много чего объяснили. Теперь я точно знаю: Он есть! И ты верь, Иван. Очень тебя прошу,

верь! Я когда стала в церковь ходить и поверила, мне легче стало, могла уже о маме и отце вспоминать без истерики. Чувствовала, что Бог рядом, не бросит меня, — Зина доверчиво прижалась к Ивану, положила ему голову на плечо, продолжая рассказывать:

— Когда меня из детдома выпустили, я у Варвары Семеновны жила. Идти мне было некуда, в домике нашем уже другие люди жили, да и не хотелось ехать назад в поселок. Напоминало мне там все о нашей прошлой жизни. Так и жили с Варварой Семеновной вдвоем. Тут война началась. Я сразу на фронт попросилась. Отказали. Говорят, мала еще. Всего семнадцать лет мне исполнилось. Но я упростила, чтобы взяли хотя бы вольнонаемной, в прачки. Варвара Семеновна не пускала, отговаривала. Куда, мол, тебе, такой малявке. А я все равно ушла. И знаешь еще что... — Зина подняла растерянные глаза на Ивана, — когда я еще в школе училась, к нам в гости приезжали немецкие школьники. Мы ходили с ними в театр, мы с ними пели. Я одного немецкого мальчишку запомнила. Он так хорошо пел. И вот все время думала: а что, если встречу его и узнаю? Неужели он тоже среди этих? Однажды иду по полю, только бой прошел, и мне показалось, что он лежал среди убитых. Ну, такой похожий молодой парень... В пшенице лежит... И в небо смотрит... Я долго над ним стояла... Не могла понять: разве мог такой мальчик с чистым голосом пойти убивать?

Иван склонился над Зиной. Смотрел на ее круглое, с пухлыми щеками лицо, глаза темные и глубокие, словно море в грозовой день, высокий лоб, и ему хотелось взять Зину

на руки, и унести далеко-далеко, туда, где нет войны и боли, крови и смертей, а только тишина и покой.

Зина заложила за уши неровно, клоками подстриженные волосы. Первое время она очень стеснялась своей стрижки, натягивая шапку пониже.

— У меня длинные косы были, пришлось налысо подстричься от вшей. Под машинку не хотелось, Женя ножницами срезала. Вот теперь отрастают неровно, — смущенно пояснила она, поймав взгляд Ивана.

— И пусть! Все равно ты самая красивая, — Иван погладил русую прядку, спросил с любопытством: — А чего ж Женя сама... Или не боится?

— Она отрезала в начале войны, а сейчас дустом обрабатывает. А у меня от него голова болит и тошнит.

— Тяжело тебе, — не спросил, а утвердительно произнес Иван, поднеся Зинины ладони к губам. Она хотела выдернуть руки, но Иван удержал.

— Тяжело и жалко... вас, солдатиков жалко. Бывало, белье привезут, а оно такое заношенное, черное, завшивленное. Халаты белые, ну эти, маскировочные. Они в крови, не белые, а красные. Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанины. Слезами отмываешь и слезами полощешь. И горы, горы этого белья. Руки болят, сил нет. Да только как подумаешь, сколько вам на передовой пережить довелось, и усталость пропадает. Так ведь не только стирка. Прежде чем белье сушить, пропитываем его мылом «К», для того чтобы не было вшей. А оно

очень вонючее, запах ужасный. Там, в этом помещении, где стираем мы и сушим это белье, и тут же мы спим. Дают нам двадцать-двадцать пять граммов мыла — на одного солдата постирать белье. А оно черное, как земля. И у многих девушек от стирки, от тяжести, от напряжения грыжи, экземы на руках. У меня и ногти слазили. Думала, что никогда не смогут они расти. Но все равно день-два отдохну — и нужно опять стирать.

— Милая ты моя, береги себя. Береги! — Иван крепко обнял Зину.

— А что я? Ведь не в бою. Я за тебя молюсь теперь. Значит, не случится ничего, живой будешь. Побережет Господь, — Зина высвободила руку и перекрестила Ивана.

— Так ведь нет... — начал, было, он, хотя и не хотелось ему ничего говорить сейчас. Но все-таки возразил. Учили его в детстве, что существование Бога — это все выдумки попов. Вот и хотелось сказать об этом Зине.

— Тс-с-с, — поднесла она палец к губам, — ничего не говори сейчас. Не надо. Просто поверь: Он есть!

Дождь усилился. Промокшие еловые лапы склонились до самой земли, давая возможность влюбленным хоть немного побыть в одиночестве.

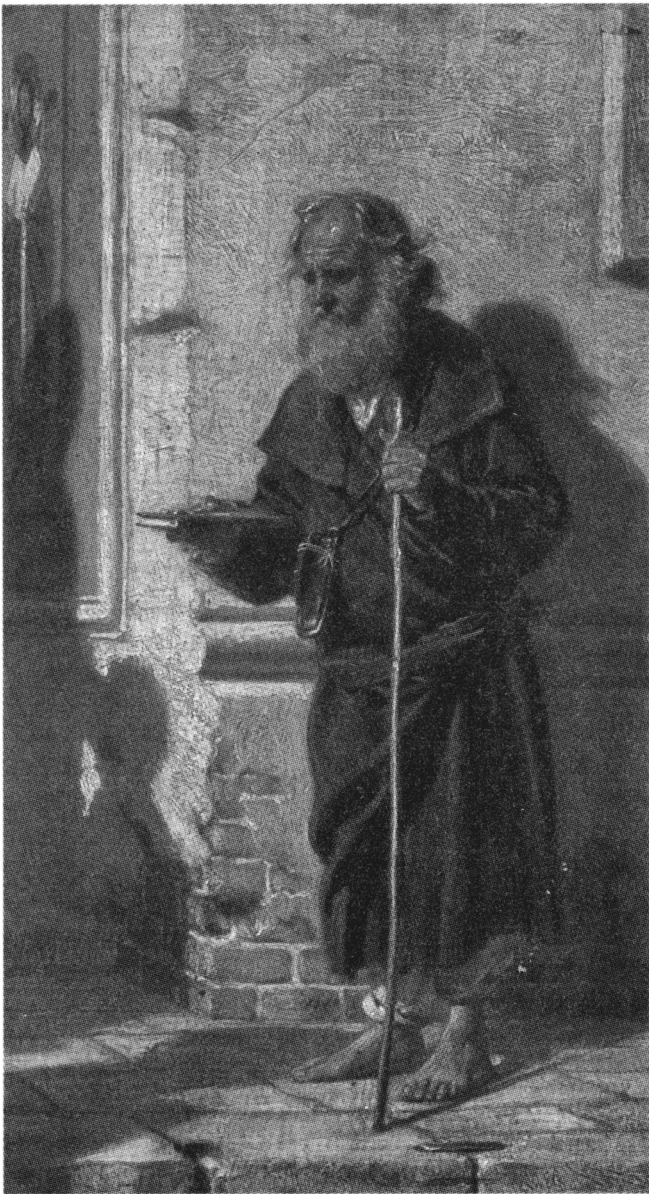
Глава двадцать четвертая

Ольга не предполагала, что два дня работы в архиве дадут первый результат. Они с Антоном начали поиски, как и советовала Элеонора Эдуардовна с изучения церков-

ных записей. Для этого пришлось съездить в епархию и получить благословение на исследование приходских книг, куда заносились священнослужители, дьяконы, чтецы, алтарники и другие лица, которых, как объяснил Ольге Антон, называют одним словом «клир». Вписывались в такие книги и церковные старосты.

Журналистов интересовала только одна церковь, и поэтому они сразу углубились в чтение истории этого храма. Перелистывая страницы, Ольга погружалась в ту давнюю эпоху, перед глазами мелькали люди, сегодня забытые, но в то время сделавшие столько много для своего края.

Та церквушка, которая сиротливо стоит сейчас на холме, подставляя ветрам осевшие, полуразрушенные стены, была построена в конце семнадцатого века. Княгиня Куракина обратилась с челобитной к тогдашнему Патриарху Андриану, где нижайше просила разрешить ей строительство в своей вотчине церкви в честь Смоленской Божьей Матери. Патриарх благословил княгиню на этот подвиг, и менее чем через два года церковь открылась. Была она небольшая, деревянная, с деревянной же колокольней. Прошел целый век, прежде чем житель села Игнатий Никифоров, разбогатевший в Петербурге на издании и продаже духовной литературы, возвел роскошную кирпичную церковь на гранитном фундаменте. Для росписи стен Игнатий пригласил лучших мастеров, а на колокольню завез колокол весом более пяти тонн, и его «голос» был слышен далеко окрест. Особый колорит звучанию придавало серебро, содержавшееся в сплаве.



У церкви. 1867 г. Худ. Илларион Прянишников

— Звучал колокол, жило село. А сейчас? — с грустью проговорил Антон, — церковь закрыли в тридцатых годах, а после войны и село стало хиреть. Стали укрупнять колхозы, школу перевели в центральную усадьбу, а нет школы, нет деревни.

— Ты знаешь, я раньше никогда не задумывалась об этом, — Ольга оторвалась от записей, — считала: нужно жить настоящим. Что нам прошлое? Какая связь? И когда это было? А та поездка в Зыряновку будто перевернула во мне что-то. Услышала про мальчика с иконой и поразилась. Я всегда думала, что вера в Бога присуща только древним старушкам да темным людям. А тут мальчишка! Который вырос во время активной борьбы с религией. И видимо, не только он один верил...

— Оля, во время войны многие наши солдаты шли в бой с молитвой. Матери зашивали им в подкладку иконки и крестики. Стали открываться церкви, монастыри. Когда немцы уже видели в бинокль Москву, то на борт самолета подняли чудотворную икону Тихвинской Божьей Матери и трижды облетели с ней город. Ленинград спасла Казанская икона. А Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой. И только после этого был дан приказ к наступлению. Да и многие военачальники верили в Бога. Василевский был сыном священника, сам Жуков напутствовал солдат перед боем, говоря «С Богом!», глубоко верующим человеком был Шапошников. А сколько офицеров и простых солдат стали поистине верующими на войне! — Антон говорил с большим внутренним волнением. Видно было, что тема эта была ему близка и дорога.

— Многое для меня пока не ясно, особенно в вопросах религии, — Ольга в задумчивости теребила прядь волос, — но очень хочу узнать и понять.

Вновь углубившись в чтение, она старательно водила пальцем по строчкам.

— Смотри! Мне кажется, тот самый, — у Ольги даже пальцы слегка задрожали. Торопясь она прочла: — 14 октября 1872 родился и 15 ноября крещен Степан, его родители крестьянин села Дубровка Анисим Васильев, сын Астахов и законная жена его Лидия Ивановна, оба православного вероисповедания. Таинство крещения совершил приходской священник Григорий Вострецов.

— И что? — пожал плечами Антон. — А откуда видно, что этот Степан дед нашего мальчика?

— А вот здесь дальше, в самом конце. Видишь? — Ольга указала Антону на другую запись, — 5 марта 1930 года родился и 29 марта крещен Степан, родители лесник Гавриил Степанович Астахов и его жена Анна Семеновна. Восприемники: церковный староста Степан Анисимович Астахов... все, дальше записей нет. Церковь закрыли как раз в тридцатом году.

— Может быть, однофамильцы... — неуверенно произнес Антон.

— Мы это узнаем, когда проверим, — Ольга решительно встала, — все едем в загс. Дело за малым — найти адрес Степана Гавриловича Астахова.

Через два часа Ольга уже записывала адрес в блокнот. Степан Гаврилович Астахов проживал в Калуге на улице Клюквина.

Выехать решили наутро. Благо, что завтра выходной день и не нужно было отпрашиваться с работы. Наверняка, Виктория сделала бы недовольное лицо и на десять минут прочитала бы лекцию о том, что некоторые только и знают, что отлучаться, а материалы сдают сырыми и не вовремя.

Дорога предстояла неблизкая, и Ольга рассчитывала подремать в пути. Неделя эта выдалась суматошная. Многие в редакции были в отпусках, и главный гонял оставшихся в «хвост и в гриву». Кроме своих культурных новостей, Ольге досталось присутствовать на заседании в мэрии, разбираться с жалобой на некачественную колбасу, изготовленную на местном мясокомбинате, и писать о полицейском, который в свободное от несения службы время, учится играть на скрипке. Нервотрепки прибавляли ворчание заведующей, ее раздражительность и требование делать все быстрее. Да что говорить! Виктория тоже устала. Журналистов в отделе не хватало, а спрос остался прежний.

Поерзав на сиденье, Ольга уселась поудобней и закрыла глаза. Но сон не шел. Она рисовала в уме встречу со Степаном Гавриловичем, пыталась представить, как он выглядит, и что скажет им. А вдруг и вовсе не захочет разговаривать? Люди, пережившие смертельную опасность, всегда замкнуты, не хотят лишний раз берeditь в памяти прошлое.

Перед глазами вставали то седовласый старик, то босоногий мальчишка с иконой в руках, то фашист с ледяными глазами. Бежали в атаку солдаты, падали и снова вставали,

а церковь с проломленным куполом вдруг поднялась воздух и поплыла вверх.

Заскрипели тормоза, «Нива» остановилась.

— Оля, приехали, — Антон легонько дотронулся до Ольгиной руки. Она вздрогнула, и... проснулась.

— Прости, что не развлекала тебя разговорами, — Ольга виновато взглянула на Антона.

— Нет тебе прощения, — тот сделал строгое лицо, но, не выдержав, рассмеялся, — пошли. Нам нужен дом три, а квартира... — Антон сверился с записями в блокноте, — пятьдесят семь.

— Ой, как-то мы спонтанно сорвались, — замялась Ольга, — надо было позвонить предварительно или справки навести, предупредить. Мне прямо неудобно.

— Ты как не журналист, честное слово! Вспомни, с какими корифеями тебе приходилось беседовать, — подмигнул ей Антон.

— Ну, ты сравнил! — дернула Ольга плечом, — тут совсем другой случай.

— Согласен. Но раз уж приехали... — улыбнулся Антон ободряюще, — не переживай. Все будет хорошо.

Долго звонили в домофон. Наконец откуда послышался надреснутый голос:

— Слушаю...

— Мы к Степану Гавриловичу, — пискнула Ольга.

— Проходите, — кодовый замок запищал.

— Странно, даже не спросил кто мы, — пожал плечами Антон и открыл дверь.

Обшарпанный подъезд выглядел так, словно там сроду не убирались. Затоптанные ступеньки, разбросанные на полу рекламные листовки, бычки от сигарет, конфетные фантики. Ольга брезгливо поморщилась, увидев испианные не совсем приличными выражениями стены лифта. Вдобавок, кое-где пластик оказался прожженным. Видимо, кому-то нечем заняться, как тушить сигареты о стену.

Подойдя к двери, Ольга сделала глубокий вдох-выдох и нажала на кнопку звонка. Послышались шаркающие шаги, и дверь широко распахнулась. Стоящий на пороге пожилой мужчина выглядел неважно. Бледное худощавое лицо покрылось испариной, подслеповатые глаза лихорадочно блестели, сухие бескровные губы почти не выделялись.

— Вам плохо? — воскликнула Ольга.

— Да захворал чуток, простыл видать. Сыну говорил, чтобы не вызывал врача, чего зря людей беспокоить. А он, видать, все-таки позвонил в поликлинику. Я уж и таблеток напился, сейчас полегчает. Да вы проходите, раз пришли, — хрипло проговорил старик и посторонился, пропуская гостей.

— Мы собственно... не врачи, — начал Антон, — из газеты мы. Насчет деда вашего Астахова Степана Анисимовича.

— Деда-а-а? — хозяин нахмурился и побледнел еще больше. — Писать, стало быть, о нем хотите? Только Степану Анисимовичу это не надобно. Дед не ради славы на смерть пошел...

— Вы прилягте, Степан Гаврилович, — Ольга с беспокойством взглянула на старика, — давайте я вас провожу.

Она подхватила Степана Гавриловича под руку. Тот, шаркая ногами послушно пошел с Ольгой.

— Вот сюда, спальня моя здесь, — указал он на дверь в глубине квартиры.

Небольшая комната была чистой и светлой. Широкое окно выходило во двор, в углу над маленьким столиком располагались несколько икон, на полочке горела лампада. Возле стены стояла кровать с придвинутой к ней табуреткой. Ольга заметила коробочки и пузырьки с лекарствами. Над кроватью развешены фотографии. Бросался в глаза большой портрет женщины лет сорока. Светлые волосы подняты вверх и перехвачены заколкой с зелеными камушками. Глаза такого же цвета смеялись, на крупном лице застыло задорное выражение. Полные губы, прямой нос, темная родинка на щеке — женщина смотрелась красавицей.

— Жена моя — Таня, померла пять лет назад, а я вот задержался на этом свете. Пора, заждалась Танюша меня... — Степан Гаврилович перехватил взгляд Ольги, разглядывающей портрет.

— Хотите я вам чаю согрею? — Ольга уложила старика, заботливо подоткнув одеяло.

— Согрей, дочка, согрей. Надо же, как прихватило! Всю войну, когда хату нашу фрицы спалили, по землянкам ютился и ничего. Даже не кашлянул. А теперь не успеешь на балкон выйти, и все... заболел. Ты вот что, дружка то своего зови сюда, чего он там, в коридоре топчется. И чай на всех готовь... — Степан Гаврилович потер грудь рукой.

— Что? Болит? Возможно, у вас воспаленные легкие, — предположил Антон.

— Нет, сердечко шалит, — хозяин слабо улыбнулся.

Пока готовился чай, стало заметно, что старику полегчало. Щеки слегка покраснели, исчезла отдышка, повеселели глаза.

— Не люблю я их, — указал Степан Гаврилович на аптечные пузырьки, — а все ж помогают иногда...

Чай пили молча. Потом ребята стали прощаться.

— Вы на меня не сердчайте, — остановил их Степан Гаврилович, — тяжело вспоминать все это. На моих глазах деда тогда... фашист из автомата. Засел, гад, на колокольне и поливал огнем.

— Конечно, тяжело, — Ольга погладила старика по вздрагивающей руке, — только люди должны знать об этом... всегда помнить... и чтобы не повторилось. — Ольга смутилась и замолчала.

— Дед мой и в первую империалистическую воевал. Георгиевским крестом сам Брусилов наградил его. Потом комиссовали по ранению. Вернулся в село. А тут вскорости и революция, опосля война гражданская. Потом в колхозы начали загонять. Дед, бывало, говорил: «Можо они и ничева эти большаки, да токмо Бога не любят. А стало быть, не по пути нам с ними» Потому и в колхоз не вступил. Забрал семью и ушел на кордон жить. А в церковь ходил. До последнего старостой был. Очень батюшку нашего уважал. Отец Серафим всю жизнь в нашей церкви служил. Отца моего крестил и венчал, и меня тоже крестил. В тот год и церковь закрыли. Дед рассказывал: батюшку на Соловки угнали да

по дороге застрелили. Жалел его дед сильно. Много не пил, а коли примет стопочку, плакать начинал да батюшку вспоминать: «Ведь как жил, батюшка? Ничего себе, все Богу. Бывали деньки и хлебца, маленькой корочки на обед нету. Все раздаст больным да бедным. Где какая копеечка появится, несет горькой вдовице али старухе бездетной. А сам в заплатах ходил. Ради Иисуса служил, а не ради хлеба куса».

Степан Гаврилович провел ладонью по глазам, задышал часто, потом сказал с натугой:

— Вы в другой раз приходите. Поправлюсь чуток, и поговорим.

Прощаясь, Антон подал Астахову руку, а Ольга спросила тихонечко:

— Можно я вас обниму?

— Не возражаю, — по-военному бодро отчеканил Степан Гаврилович, только в уголках глаз вновь блеснула слеза.

Глава двадцать пятая

Замполит подняла прачек еще в потемках. Те, потирая глаза, натываясь на ящики и тазы, принялись собирать свое нехитрое хозяйство. Сносили корыта и стиральные доски на подводы, проверяли, не осталась ли вода в самоварах, аккуратно складывали крошечные обмылки. На улицу, к подводам мчались бегом, но все равно через полчаса все промокли. Зина клевала носом, несколько раз плескала водой в лицо, чтобы прогнать сон. Она не так давно вернулась. Иван проводил

ее до расположения отряда, крепко обнял и долго не хотел отпускать. Зина и сама бы стояла вот так до самого утра. И потом бы не расставалась с милым. Но проклятая война!

Наскоро сколоченный дощатый сарай, где девушки стирали, сушили и тут же спали, потемнел от дождя. Наброшенный вместо крыши брезент провис. Пробираясь между спящих тел, Зина старалась ступать неслышно. Не дай Бог, кто-нибудь из прачек проснется и доложит Воскобойниковой о позднем возвращении Зины. А замполит, на расправу короткая, могла и на гауптвахту посадить, хотя и не положено вольнонаемных так наказывать. Но Воскобойникова не раз повторяла:

— Да — не военнообязанные, да — прачки, но дисциплину нарушать не позволю. Мы с вами на фронте, и поэтому спрос будет самый строгий.

Девчата в отряде все понятливые на замполита не обижались. Если попадало от Воскобойниковой, то за дело. Бывало, что и на отбой вовремя не являлись, отлучались самовольно, только замполит быстро к порядку приучила. И если уж прачки и нарушали иногда дисциплину, то с оглядкой. А Зина так сегодня вообще в первый раз. Вот и тряслась, боялась попасться на глаза Воскобойниковой. Не раздеваясь, прямо в ватнике, улеглась возле стенки, закрыла глаза... и вот уже «подъем» кричат. Эх! Поспала бы она сейчас хотя бы часочка два. Да нельзя!

— Что это вид у тебя странный, сонный, усталый, — остановила замполит Зину, тащившую самовар к выходу, — неужели к отбою опоздала?

— Самую малость, — опустила Зина глаза, — всего-то часочекхватила.

— Смотри у меня! — Воскобойникова нахмурилась, сурово сдвинув брови, хотела и еще что-то резкое сказать. Да в это время от двери Женя радостно завопила:

— Девчата! Дождь кончился! Ура! Знать, солнышко решило нас проводить!

Прачки высыпали на улицу. Поднявшийся ветер раскидал тучи по небу, гнал их прочь, и солнце, неяркое, осеннее, но еще ласковое проглядывало сквозь ключья тумана.

— Галина Владимировна, — обратилась Зина к замполиту, — а давайте, белье, что не досохло, на улицу вывесим. Не отдавать же сырое. А ветерком его мигом продует.

— Молодец, Зинуля, — похвалила Воскобойникова, — в самом деле, в сарае влажно, оттого не сохнет белье. А это офицерский комплект. Иди, Зиночка, развесь.

Зина проворно начала укладывать белье в бадейку. Нижние рубахи, кальсоны, портянки. Женя достала гармонь, присела на лавку. Гармонь ей отдали бойцы Корнелюка.

— Учись играть, да Васю Кошкина вспоминай, — торжественно произнес сержант Гурев, вручая Жене инструмент. А девушка каждую свободную минуту хваталась за гармонь.

Сейчас она растянула меха, наигрывая уже набивший всем оскомину вальс.

— Смени пластинку, Жека. Давай, чего-нибудь другое, — взмолились прачки.

— Ну, вы тогда пойте, а я попробую подыграть.

Девчата расселись кружком, поглядывая друг на друга.

— Нин, давай ты, — повернулись к товарке.

Нина самая старшая из девушек, ей уже за тридцать. Оставила пятилетнего сына матери и ушла в прачечный отряд. Как сама говорила: мужа по фронтам искать — живого или мертвого. Из Сибири она, сызмальства из деревни своей никуда не выезжала, а тут не побоялась — в такую даль приехала. Голос у Нины — заслушаешься. И из себя — красавица! Темноволосая, чернобровая, глаза с поволокой, а кожа на лице, словно шелк: смуглая да гладкая. Любая городская модница позавидует. И фигурой уж больно ладна. Как говорится, ни убавить ни прибавить.

Прислонившись спиной к железной печурке, Нина затынула низким, красивым голосом:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит, —
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист, дрожит

Зина подхватила бадейку с бельем. Ну, затынули тоскливое. А у нее сейчас сердце от радости и счастья прыгает. Одна из девушек поднялась, было, чтобы помочь Зине, но та махнула рукой: сиди, мол, сама развешу.

А на улице — благодать! Хочется раскинуть руки и кружиться по поляне, купаясь в нежарких лучах солнца, подставляя лицо тугому ветру и выкрикивая одно лишь имя: Иван! Зина сделала несколько плавных танцевальных движений, держа перед собой бадейку. Ах, как хорошо! Она представила себе, как вальсируют они с Иваном на летней танцплощадке в парке. Играет духовой

оркестр, дирижер взмахивает палочкой, а Иван подхватывает ее на руки и плывет, плывет по кругу. У Зиночки перехватывает дух, ей хочется, чтобы музыка звучала и звучала, а Иван не останавливался.

Но что это? Что за странный неприятный звук пытается заглушить игру оркестра. Разом, вынырнув из своих мечтаний, Зина с испугом подняла голову вверх. Над поляной спускаясь все ниже кружил немецкий самолет. Как он здесь оказался? Почему пропустили наши зенитчики? Не заметили? Раздумывать было некогда. Прижимая бадейку с бельем к груди, Зина метнулась к сараю. Но фриц заметил девушку, и видимо, решил поиграть с ней. Под ноги Зины легла пулеметная очередь. Она отпрянула назад.

— Зина, Зина, беги в лес... ложись... — кричали девчата, сбившись у порога.

Фашистский летчик спустился совсем низко, пролетая на бреющем над головой Зины. Она увидела его хохочущее сытое лицо, глумливые глаза, поднятый вверх большой палец руки. Развернувшись, Зина побежала к лесу, но немец вновь нажал на гашетку. Зина металась с бадейкой в руках, которую почему-то не бросала, а так и держала перед собой, а фашист посылал пули то сбоку, то впереди или сзади девушки.

— Бросай белье, бросай... беги, — на замполите лица не было. Она не знала, как помочь Зине, и только молила, чтобы солдаты на позициях услышали вой самолета.

Втянув голову в плечи, Зина бросилась к сараю. Выстрелов не было слышно. Еще чуть-чуть, еще один шагжок. Секунда и она

нырнет под спасительную крышу. Свинцовый дождь полился с неба. На этот раз фашист бил точно в цель.

Зина присела, словно от неожиданности, а потом завалилась навзничь. Воскобойникова выскочила из укрытия, опустилась перед Зиной на колени. Та медленно открыла глаза:

— Куда же бросать? Нельзя в грязь... потом перестирывать девочкам...

— Девчата, соломы скорей. Живая она... — закричала Галина Владимировна.

Раненую осторожно переложили на пук соломы, прикрыли шинелью.

— Куда ее? — спросила Женя.

— В живот...

— Ой, мамочка! Галина Владимировна, разрешите... я мигом... ему сказать надо... — Женя умоляюще смотрела на замполита. Та молча кивнула.

Иван чистил свой ПППШ, когда увидел появившуюся возле блиндажа, запыхавшуюся прачку. Лицо бледнее мела, расширившиеся глаза, перекошенный рот... Брянский вскочил.

— Что?! — не крикнул, прохрипел.

— Скорей... — только и проговорила Женя.

Оставив девушку далеко позади, Зубарев мчался, не замечая, как хлестают по лицу ветки, и уже давно галифе и ватник стали влажными от мокрых кустов и брызг, летящих из-под сапог. Влетел на поляну и сразу увидел ее, свою Зину, лежащую на земле. Солома под ней пропиталась кровью, лицо покрылось желтоватым восковым налетом, черты заострились. Девушки всхлипывали рядом.

— Отойдите, — тихо проговорила Воскобойникова, заметив брянского, — пускай одни побудут.

Склонившись над Зиной, он дрожащей рукой прикоснулся к ее щеке. Зина приоткрыла глаза, слабый огонек загорелся в них. Узнала.

— Иван... Ваня... — зашептала с усилием, — видишь как... получилось... Ты смотри не плачь... не плачь... Возьми у меня... там... крестик... Это мой... крестильный... Молись за меня... и за себя... молись. А мне идти пора... пора... к отцу и... и... маме...

— Зина! Милая! Зина! — брянский гладил и гладил Зину по лицу, — ты будешь жить... сейчас санитар придет... сейчас...

— Прощай... Ваня... — слова клокотали у Зиной в груди, она попыталась приподнять голову, но потом бессильно опустила ее на солому, — ты верь Ему... и молись... Он не оставит... Он есть...

— Зина-а-а-а!.. — крик, полный тоски и боли, разнесся окрест, разом обрушив небо. Вздогнули деревья, спряталось солнце за тучу, стих ветер. Зубарев подхватил безжизненное уже тело Зиночки и, прижавшись к ее лицу, заплакал.

Глава двадцать шестая

Весь ноябрь шли жестокие кровопролитные бои. Немцы словно мстили за освобождение Киева, бесконечно атаковали, бросая против русских танки, тяжелую артиллерию, самолеты. Вся нейтральная полоса

была покрыта телами убитых — и наших, и немцев. Взвод Корнелюка уже несколько раз принимал пополнение, но бойцы продолжали гибнуть. Казалось, нет конца этим смертям, боли, страху. Иван Зубарев нацарапал на стволе своего автомата «За Зину!» и в атаку шел с особым остервенением. Солдаты, спавшие урывками, старались в короткие передышки, хотя бы немного подремать, не обращая внимания на взрывы и выстрелы.

Отбив очередную атаку фашистов, бойцы без сил упали на дно сырого окопа. Смеркалось, осенний день короток, но немцы и ночью не успокаивались. Включали пронзительные сирены и прожекторы, простреливали участок ничейной земли, пускали осветительные ракеты.

— До темноты успеет фриц еще разок лупануть, — посмотрел на небо Бессмертный.

Фархад с посеревшим лицом и запавшими глазами принялся стягивать сапоги.

— Ребята-ы, — произнес с придыханием, — смотрите, что у сержанта выпросил, — узбек вытащил из вещмешка ботинки с обмотками.

— На кой они тебе? — брянский вытащил кiset и обрывок газеты. — По мне так лучше сапоги.

— Обмоточки — милое дело, — Тряпцын вытянул ногу в ботинках, — с ноги не соскочит, тряпка, коли промочил, на ноге быстро высохнет, а в сапоге вода хлюпает, пока не снимешь да не просушишь.

— Не могу я в сапогах, — жалобно проговорил Фархад, — ноги натер. Вот, — он по-

казал на галифе, на котором виднелась кровавая полоска ниже колена.

— Тогда мотай, — Леха Бессмертный задумчиво пожевал губами, вытянув длинную шею. Сказал негромко:

— А я, братцы, все вспоминаю тот бой в сорок первом. Мы еще высоту никак взять не могли. Там на колокольне фриц укрепился и бил по нашим, не переставая, гад! И церковь рядом еще была. Помните?

— Такое забудешь! — откликнулся Дмитрий. — И пришла бы нам, братцы, всем хана, если бы не дед.

— Как сейчас помню: идет тот старик с иконой, фашист по нему лупит, а дед как заговоренный. А икона, словно жар горит. Жуть! — Леха в возбуждении вскочил, но тут же пригнулся. Еще шальную пулю схлопочешь.

— Почему же жуть? — Тихон тоже встал, облокотился спиной о стену траншеи, ногами уперся в другой край окопа. Поза удобна тем, что голова над бруствером не торчит, а значит, ты для гитлеровца не мишень.

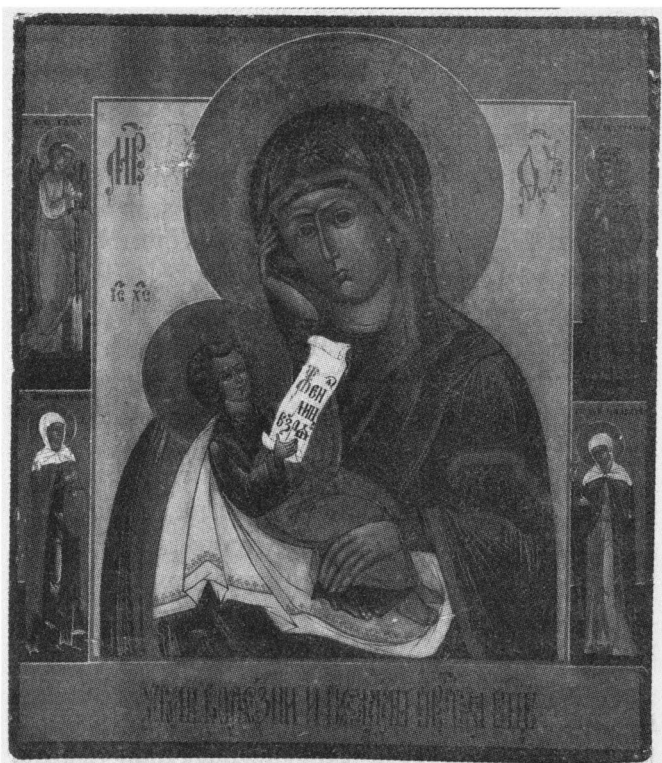
— Не жуть это, а помощь Богородицы, посланная свыше, — продолжил Тихон.

— Ага, — подхватил Фархад, — это Мама Бога... э-э-э... Божья Мать нас спасла. А второй раз в лесу. Скажи, Тиха?!

— Это когда мы плутали? — уточнил брянский.

— Ага, — радостно повторил узбек, — Тиха Маму Бога... э-э-э Божья Мать попросил, и Она послала нам добрая старушка.

— А что? Все может быть, — сосредоточенно произнес Пасканной.



Утоли мои болезни и печали Пресвятая Богородица.
Икона XIX в.

— Научно доказано, что Бога нет, — Бес-
смертный покрутил гусиной шеей, словно
ему натер ворот гимнастерки, — хотя неко-
торые факты говорят обратное.

— Кто же это доказал? И как? — загоря-
чился Зубарев.

— Есть такая наука — атеизм, доказываю-
щая, что мир материален, — спокойно пояс-
нил Леха.

— Брехня это, а не наука, — брянский
опустил голову, чтобы друзья не увидели его

заблестевших глаз. Зину сейчас он вспомнил и ее слова, сказанные на прощание:

— Верь ему, Ваня, и молись. Он есть!

А разве Зина могла обманывать? Такая чистая и непосредственная, с душой нежной и светлой, как солнечный лучик в весенний день.

— Может, и брехня, — вновь вставил свои слова Дмитрий.

— Он есть! — твердо произнес Тихон и перекрестился.

Услышав слова Тихона, который повторил то же самое, что перед смертью говорила Зина, брянский заплакал, уже не стыдясь.

— Он есть! — Фархад приподнялся и встал рядом с Тихоном, имея в виду Бога Тихона, а возможно, и своего Аллаха.

— Может, и есть! — Дмитрий Пасканной шагнул к Тихону.

Леха Бессмертный ничего не сказал, но придвинулся поближе к боевым товарищам.

— Он есть! Он есть! — Иван несколько раз с силой потер лицо ладонями и положил руку на плечо Тихона.

— А где же Тряпицын? Где Кузьма? — спохватился Дмитрий.

Откуда-то сбоку раздался негромкий храп. Тряпицын мирно спал, подложив под голову скатку.

Подали голос немецкие тяжелые гаубицы, которые начали обстрел русских позиций. Началось! Минут через пятнадцать обстрел прекратился. Тихон осторожно выглянул из окопа. Копоть и дым осели, и стало отчетливо видно, как немцы плотной цепью двига-

лись к нашим позициям. Тихон удивился, стояла глубокая осень, а фрицы шли в расстегнутых шинелях, держа интервал, уверенно вышагивая и не ломая цепи. Холодный ветер трепал полы шинелей, и можно было увидеть торчащие за голенищами сапог запасные рожки для автоматов. За ремни засунуты гранаты с длинными рукоятками и саперные лопатки.

— Давайте, давайте. Сейчас мы вам дадим прикурить, — зло процедил Зубарев, нащупав на поясе гранату.

— Стрелять прицельно! Короткими очередями! Подпустить ближе! — скомандовал лейтенант.

Бойцы напряженно ждали. Уже слышно стало, как немецкие офицеры подали команду:

— Feuer!!!!¹

Лавина огня обрушилась на наши окопы.

— Огонь, — крикнул лейтенант.

С двух флангов заработали пулеметы. Вступили автоматы и ППШ. Солдаты стреляли осмысленно и эффективно. Тут же ударили наши минометы, от леса, заходя немцам в лоб, урчали танки. Задрожала, запрыгала земля, начали осыпаться окопы.

— Приготовиться к атаке, — пронесся над головами раскатистый голос Корнелюка, — Впе-е-ере-е-ед!

— С Богом! — кивнул своим ребятам Тихон.

— С Богом! — рванул за лейтенантом брянский.

¹ Огонь! (нем.)

Фархад понесся за ним, опередив Тихона и Тряпицына. Внезапно узбек остунулся, наступив на размотавшуюся обмотку, и упал, ткнувшись носом в грязь. Автоматная очередь сразила наповал бегущего за Фархадом Тряпицына. Он упал вперед, широко раскинув руки, словно обнимая напоследок эту землю, ради которой не пожалел жизни.

— Кузьма-ота, Кузьма-ота, — подполз к нему Фархад, размазывая по лицу слезы пополам с грязью.

— Ура! Ура-а-а! — неслоь над полем.

Не выдержав шквального огня, ведущегося с обеих сторон, и немцы, и наши бойцы залегли.

— Братцы! Смотрите, это же Лешка! Лешка Попов! — Зубарев указал на танк невдалеке.

Из-под гусениц пробивался черный дым. Башня была разворочена. В люке показалась голова танкиста без шлема. Черные волосы слиплись от крови. Красная полоска текла от затылка по виску и подбородку. Это был Лешка. Немцы, заметив танкиста, открыли прицельный огонь. Он спрыгнул с брони и принялся отстреливаться из пистолета.

— Фархадик, прикрой, — бросил Зубарев узбеку и быстро пополз к танку.

— Лешка, держись... держись, — шептал брянский, стиснув зубы.

Танкист встал, отбросил пистолет. Выхватив из-за пояса гранату он, покачиваясь пошел на гитлеровцев. Послышалась короткая автоматная очередь, а Лешка продолжал идти с зажатой в поднятой руке гранатой. Кинуть ее Лешка не успел, пуля, выпущенная из винтовки, попала танкисту прямо в сердце. Лежа на мокрой холодной земле, он

не видел уже, как метал гранаты, укрывшийся за танком брянский, как бежали в атаку наши бойцы, как гнали немцев, впрыгивали в их окопы, плеская огнем из автоматов.

Уже ночью, укрывшись плащ-палаткой и подсвечивая себе зажигалкой, ребята читали письмо, которое брянский достал из кармана комбинезона убитого Лешки Попова. Письмо было написано второпях, буквы налезали друг на друга, некоторые предложения были не окончены, не думал Лешка и о знаках препинания. Не до того было.

Привет с Украины на Урал в г. Полевской.

Добрый день веселый час пишу письмо и жду от вас. Здравствуй мама как живешь и какое у вас здоровье уже как месяц я от вас ничего не получал и наверное ничего не буду получать ведь сами знаете какая обстановка. Сейчас я вступил как говорится на фронтовую полосу и сейчас нахожусь... Как полмесяца тому назад была занята вся область а сам областной город освобожден был к 7 ноября это город Киев а я нахожусь в Киевской области но слышно ЕГО как ОН ЛЕТАЕТ СЮДА и старается бомбить станции но скоро..... мама должны идти в БОЙ..... . Ну пока все крепко целую вас 18 ноября 43 г.

— Отправить не успел, — Иван аккуратно сложил листочек и сунул в карман гимнастерки, — жив останусь, много же мне поехать по России-матушке придется.

Брянский застегнул пуговицу, нащупал рукой несколько шуршащих листочков с адресами. Адресами тех, кого напрасно ждали в тылу.

Новый сорок четвертый год встречали на передовой. Промерзший блиндаж украсили тремя сосновыми ветками, которые притащил откуда-то брянский. Накануне лейтенант принес праздничный паек: пять банок консервов, фляжку со спиртом.

— Товарищ лейтенант, маловато... — Зубарев кивнул на фляжку.

Корнелюк обвел глазами блиндаж. Низкий потолок, железная печурка, двухъярусные нары, на которых помещались шесть человек.

— Хватит, ребята, — сказал лейтенант просто, не по-командирски, — завтра в наступление.

— Вы заходите к нам, товарищ лейтенант, — Дмитрий Пасканной подбросил в печурку полено, — вместе новый год встретим.

— Загляну, — коротко бросил Корнелюк и вышел.

Бессмертный вызвался нарядить ветки. Повесил обертки от консервов, кусочки ваты, стреляные гильзы.

— А я вам сейчас... сюрприз, — прибывший неделю назад с пополнением Женька Тамбасов, выскочил из блиндажа.

К вечеру мороз отпустил, ему удалось скатать двух небольших снеговиков. Он установил их на бруствере. Одному нахлобучил на голову пилотку, а второму повязал портянку.

— Дед Мороз и Снегурочка, — провозгласил торжественно.

— Хорошо еще, что наши окопы во второй линии, — ворчливо одернул его брянский, — а то бы лежал уже с дыркой в голове.

— Мы пскопские, понятие имеем, — задиристо произнес Женька.

— Ты слюни-то подотри. Понятие он имеет. Сколько лет-то тебе? — Зубарев снисходительно усмехнулся.

— Ну, девятнадцать, — пробурчал Женька.

— Вот тебе и ну, — брянский щелкнул Тамбасова по носу, — будешь лишний раз высовываться, схлопочешь шальную пулю. И снаряды, между прочим, тоже сюда долетают.

— Ладно, чего ты? — Женька потер веснушчатый нос.

— Давай-ка, Рыжик, «второй фронт» открывай, — позвал молодого солдата Дмитрий.

Женька засмеялся, взлохматив свои ярко-рыжие волосы.

— Меня и в школе Рыжиком дразнили, — сказал радостно.

Вскоре на столе красовались банки с консервированной колбасой и американской тушенкой. Кусковой сахар Женька высыпал на обрывок газеты.

Впуская морозный воздух, в блиндаж вошли Корнелюк с сержантом Беликовым. Бойцы приветствовали командиров радостными возгласами. Быстренько разлили спирт: солдатам в котелки, лейтенанту и Беликову в кружки.

— Товарищи бойцы! — Корнелюк встал. — Товарищи мои дорогие! С наступающим вас новым годом. Желаю всем скорейшей победы, а главное... — лейтенант умолк. Посмотрел на каждого, поднял кружку повыше, — главное, вернуться домой живыми.

— Ура! — коротко крикнули бойцы и сдвинули посуды со спиртом.

Выпили. Плеснули еще.

— Помянем... — сдавленно проговорил Иван Зубарев.

Не чокаясь, опрокинули обжигающую жидкость в рот. Молча сели. Брянский опустил голову, потом грохнул кулаком по столу.

— Закуси, Иван, — Тихон пододвинул брянскому банку.

— Проклятая война, — Дмитрий сглотнул тугой комок.

— Да, война. Нет счета, сколько мы потеряли боевых товарищей. Но ведь не сдались! Не победил нас фашист! Гоним его... назад гоним, — лейтенант потер грудь. Видимо, ныла рана, — а друзей своих погибших будем всегда помнить, куда сами живы...

Дмитрий разлил остатки спирта.

— За сержанта Бунеева!

— За Зину!

— За Юрку Шаповалова!

— За Алешку Попова!

— За Тряпицына Кузьму!

— А я, ребята-ы, решил после войны найти и взять с собой сына Тряпицына, — узбек сморщился, словно собирался заплакать, — и маме своей написал, пусть она заберет мальчишка, если... если меня убьют. У нас хорошо... виноград, дыни, много риса, барашки. Знаете, какой вкусный мой отец готовит плов? А какие хрустящие у мамы получаются лепешки! Вот скажи, Тиха, ты кушал когда-нибудь шурпа?

— Даже не слышал, ни о плове, ни о шурпе, — Тихон грустно улыбнулся, — лепеш-

ки, да. Матушка пекла иногда, по большим праздникам. Но больше всего я ждал Пасху. Накануне красили яйца луковой шелухой, матушка ставила в печку кулич, тушила картошку с мясом...

— У меня мамка мастерица была похлебку варить, — перебил Тихона брянский, — такая она у нее наваристая получалась... а уж вкусная...

— Вот приедете ко мне после войны, сестрица вам вареников с вишней наделает. Язык можно проглотить, — лейтенант встал, прощаясь.

— А я мороженое люблю, — несмело проговорил Рыжик, когда Корнелюк с Беликовым ушли.

Праздник получился грустным. Но он и не мог быть иным. Война еще не закончена, немцы огрызаются, как цепные псы. А сколько смертей пришлось пережить каждому солдату... Гибли товарищи, родные, гибли, но не сдавались.

Дмитрий с брянским и Бессмертным вышли на улицу покурить. С ними увязался Женька. Тихон сел поближе к печке, открыл дверцу. Дрова уже прогорели, в топке слабо мерцали угольки, теплый воздух пахнул в лицо.

— Ты опять вспомнил своя мама? Да, Тиха? — Фархад присел на корточки рядом с Тихоном, — я очень хочу, Тиха-ошна¹, чтобы ты приехал ко мне после война. Моя мама станет твоя мама. Отец примет тебя, как родного.

¹ Друг (узбек.)

Тихон хотел ответить Фархаду, но горло словно перехватило железной рукой. Черная мгла опустилась в блиндаж, и перед глазами сменяя друг друга, поплыли картинки из прошлого, перетасовав сны и реальные события. Матушка с иконой в горящем доме, отец, лежащий на пыльной траве возле церкви, закрытой на огромный замок, смеющаяся Нюра, протягивающая ручки Тихону. А вот они все вместе, держась за руки, исчезают в лучах света, махнув на прощание. Втроем уходят на небо. Нет, с ними еще незнакомая девушка. Словно яркая ракета вспыхнула в мозгу Тихона, осветив лица уходящих людей. И он узнал ту, что шла рядом с его семьей. Это была Зина!

Поднялась горечь из души, осела на губах. Запечалилось сердце, соленые слезы жгли глаза. Тяжело остаться на свете без родительской поддержки, знать, что никто не может обогреть словом и взглядом. «Постой, — сам себя одернул Тихон, — разве я один? Со мной Бог! Был и будет!». Взглянул на Фархада, подал руку, пожал крепко, повторил громко:

— С нами Бог!

С Богом пошел Тихон дальше по дорогам войны. С Богом шли и его боевые друзья. И Господь хранил их до поры до времени. Хотя бойцы понимали, что до победы дойдут не все.

— Конечно, пожить хочется. Но, прежде чем меня убьют фашистские твари, я их немало положу. Вот этими вот руками... до последнего вздоха буду драться, — зло щурился брянский.

— Верно, — подхватывал Рыжик, — захлебнется немчура в своей крови.

— И нашей немало прольется... и сколько пролилось... — негромко отзывался Пасканной.

Но о смерти все-таки старались говорить редко. В основном вспоминали довоенное время, рассказывали о родных местах, передавали фронтовые байки. Вот только война оставляла солдатам слишком мало времени для мирных разговоров. Иногда даже письма домой приходилось писать второпях, на коленях. Впрочем, в отделении сержанта Беликова весточки домой посылали только Леха Бессмертный, Фархад и Женька-Рыжик. Родители Бессмертного были эвакуированы в Томск и сообщали сыну, что устроились и живут неплохо. «Терпим временные неудобства, — читал Леха строки, написанные быстрым, округлым почерком отца, — барак холодный, бывают перебои с продуктами, но это ведь не фронт! Мы с мамой держимся. Главное, береги себя, сынок!»

У Рыжика мать жила в Куйбышеве. Перед самой войной поехали все вместе в гости к родственникам. Там их и застало страшное известие. Оттуда отец и ушел на фронт, а Женька с мамой остались в Куйбышеве. Отца убили в первый месяц войны, и пятнадцатилетний Женька несколько раз бегал на фронт, чтобы отомстить за батю. Каждый раз его возвращали, советуя подождать. Ждать Рыжик не мог. Хотя и жалко оставлять мамку одну, но в конце сорок третьего приписал себе год и ушел воевать. Попал во взвод Корнелюка. Бойцы сразу полюбили Женьку за смешливость, добродушие, бесшабашную храбрость в бою.

— На рожон не лезь, — не раз осекал его брянский.

— Я же с Богом. Да, Тихон? — Женька хоть и находился во взводе не так давно, но уже уяснил, что вера в Бога объединила бойцов отделения Беликова. С молитвой и Его именем на устах шли они в бой. И Женька вместе со всеми кричал:

— Ура-а-а! С Богом!

Рыжик быстро почувствовал себя своим во фронтовой семье, но, как всякий мальчишка, первый раз уехавший из дома, отчаянно скучал по матери. Ее письма и фотокарточки, где родителя были сняты в день свадьбы, бережно хранил, временами просматривая.

Периодически получал известия из дома и Фархад. А однажды почтальон принес ему посылку. Сушеная дыня, изюм, вяленая баранина, лепешки, успевшие в дороге зачерстветь, табак. Гостинцы жевали в перерывах между вражескими атаками, закусывая мясо сладким изюмом.

— Вкуснота, — подводил вверх глаза профессорский сынок Бессмертный, грызя сухую пресную лепешку.

— Ага, — соглашался брянский, катая за щекой кусочек дыни.

Тот же брянский в конце июня принес радостную для Дмитрия Пасканного новость:

— Димка, доставай бумагу и карандаш, письмо пиши, — крикнул, выныривая из бокового окопа, — наши освободили Богущевск. А значит, и твоя деревня свободна.

Взвод Корнелюка находился в обороне. День начинал разгораться. Не так давно, ранним утром немцы шли в яростную ата-

ку. Вначале, как обычно двадцатиминутная артподготовка. Затем показались танки, за ними пехота — примерно две роты.

О готовившейся контратаке бойцы знали. Корнелюк, вернувшийся из штаба батальона, объявил:

— Утром немцы предпримут атаку. В бой бросят все что имеют. В том числе танки. Всем получить противотанковые гранаты. Окопы отрыть в полный профиль.

В помощь роте была выдвинута батарея противотанковых орудий.

Как только немецкая атака началась, сержант Беликов еще раз обозначил боевую задачу:

— Наша задача — пехотинцы!

— Ну, братцы славяне! Православные! — брянский обернулся и посмотрел на Тихона. — С Богом!

— Помогай Господи! — перекрестился Тихон.

— Огонь! Огонь! Огонь!

— С Бо-го-о-о-м! — кричали бойцы Корнелюка, давя на спусковой крючок.

Вспыхнуло несколько немецких танков. Это заработали наши орудия. Танки попятись. Залегла и немецкая пехота, а вскоре стала откатываться к своим окопам, побросав убитых и раненых.

В атаку немцы больше не решились идти, но открыли перестрелку.

Едва немного затихла стрельба, Дмитрий схватился за карандаш.

«В первых строках моего письма разрешите передать Вам свой красноармейский привет. Дорогая жена Проска, прошу Вас срочно

сообщите мне про Вашу жизнь Я очень волнуюсь, и хочу знать что произошло с нашим колхозом с момента моего отхода в армию, как Вы живете, как дочь Оля, как мамаша, Дуня, получили ли от кого с родных письма, когда получили то напишите мне их адреса . Пока что все ответьте »

— Ха! Ты, что это свою жену на Вы величаешь? — хохотнул Зубарев, заглянув Пасканному через плечо.

Дмитрий смутился:

— Неграмотная она, читать ей будет сосед или еще кто, который грамоте разумеет. Вот я не только к ней, но и к этим людям обращаюсь.

— В школу не ходила, что ли, твоя Проска? — поинтересовался Бессмертный.

— Окончила только четыре класса. Потом отец не пускал. Самая младшая, а школа далеко, вот и боялся одну отпускать, — Дмитрий склонился над бумагой.

Тут же противно завывли немецкие минометы.

— Приготовиться, — Беликов предупреждающе поднял вверх автомат.

— Как нам жениться, так ночь коротка, — с досадой проговорил Дмитрий, черкнул еще пару слов: «Пока все. Нет времени. Привет всем. Ваш муж Дмитрий» и сунул недописанное письмо в карман.

К вечеру бой утих. Солдаты лежали в окопах измотанные, усталые и голодные. Никто не обращал внимания на немецких санитаров, которые собирали своих убитых.

— Иван! Не стреляй! — доносились в окопы их крики.

— Пошли вы... заткнитесь, — процедил Зубарев.

— Жрать и... курить охота. — Дмитрий сел, собираясь свернуть самокрутку. Похлопав по карманам, вытащил расплющенный, сырой коробок спичек.

— Иван, — позвал брянского, — спички кинь. Мои...

Договорить Дмитрий не успел. Совсем рядом разорвался снаряд, погребая под слоем земли сидевших в окопе друзей.

Глава двадцать восьмая

Статью о войне Ольга так в печать и не сдала. Писала вроде на подъеме, фактами располагала, да и живы были еще ощущения и чувства от видений на поле, от рассказа игумена, встречи со Степаном Гавриловичем. Но перечитав готовый материал, Ольга недовольно отвернулась от экрана компьютера. Все, все, как будто, хорошо и правильно. Да и те, кому Ольга статью показывала, — и Вика, и Лида Морозова, журналистка со стажем, и ответственный секретарь Яков Ефремович, — текст одобрили.

— По-моему, очень даже, — похвалила Вика, что с ней бывало крайне редко.

Лида молча подняла вверх большой палец, а Яков Ефремович протянул Ольге конфетку. Карамельками, ирисками и шоколадными «Кара-Кумом» и «Грильяжем» секретарь угощал авторов неплохих, хороших и очень хороших статей. В этот раз Ольге достался «Кара-Кум». Такая оценка Якова Ефремо-

вича, который считался «акулой» пера, была лестной, однако, сколько бы Ольга ни перечитывала текст — все отчетливей понимала: в материале есть какая-то незавершенность, отчего он казался куцым, словно что-то главное осталось невысказанным, упущенным.

Главный хмурился, встречаясь с Ольгой, но про материал не спрашивал. А она никак не могла решиться принести ему давно написанный текст.

— Понимаешь, я же чувствую, не хватает здесь чего-то, — сетовала Антону. Он соглашался, но как помочь не знал.

В конце концов, устав от попыток нащупать истину, Ольга решила плюнуть на свой труд и засунула статью подальше в ящик стола. Антон тоже посоветовал так сделать:

— Отпусти ситуацию... забудь. Решение всплывет потом. Помнишь, как игумен говорил: богоугодное дело всегда совершится, какие бы препятствия ни чинились. А твоя статья очень важная и нужная. Давай подождем.

Ольга с благодарностью взглянула на Антона. Как она раньше обходилась без его поддержки, советов, искренней нежности. Теперь сама себе поверить не могла, что когда-то относилась к нему слишком предосудительно, даже посмеивалась над казавшейся нелепой внешностью. Вспоминая свое поведение и мысли, Ольга краснела от стыда. Видела только простые джинсы, обыкновенную рубашку и сразу причислила Антона к числу недотеп и неудачников. А вот человека едва не проглядела. Совместная поездка в Зырянку помогла изменить взгляды. И дело совсем не в том, носит ли человек джин-

сы «Levis» или брендовую футболку. Более близкое знакомство, а потом и дружба с Антоном позволили Ольге понять: Антон и есть тот самый принц на белом коне. Правда, роль коня выполняла старенькая, обшарпанная «Нива». Но от этого принц не становился хуже. Верный, порядочный, заботливый, искренний... Список можно продолжать еще и еще. Антона было за что любить. Ольга и полюбила... Безоглядно, доверчиво, светло.

В ответных чувствах Антона не сомневалась и была по-настоящему счастлива. Они виделись каждый день, всякий раз радуясь этим встречам, словно в первый раз. О свиданиях не договаривались, в этом не было нужды. Даже если случалось так, что во время рабочего дня влюбленные не пересекались где-нибудь в коридоре редакции или в буфете, то вечером Антоном обязательно ждал Ольгу возле здания.

Очень скоро Ольга не могла жить без неспешных прогулок по городу, поездок в ближайшую рощу, разговоров обо всем на свете. Но как-то дождливым октябрьским днем Антон позвонил Ольге рано утром, что удивило и взволновало ее.

— Олюшка, мне надо будет отлучиться дня на два, — Антон говорил быстро, видно спешил, — пока ничего рассказывать не буду. Пусть будет сюрприз.

В трубке прозвучали короткие гудки отбоя. Ольга была озадачена. Куда так внезапно мог сорваться Антон? И что за сюрприз он готовит? Таких неожиданностей она побаивалась. Но как бы Ольга ни беспокоилась, оставалось только ждать.

Антон, как и обещал, вернулся в субботу.

— Оля, собирайся! — возбужденно проговорил Антон в трубку, — жду внизу, едем туда...

И вновь загадка. Куда? Зачем? Что за спешка? Ольга даже немного рассердилась. Неужели нельзя все объяснить? Может, эта поездка вовсе ей не нужна.

— Это как раз то, что тебе нужно, — Антон поцеловал Ольгу в щеку. Она удивленно подняла брови: Антон словно телепат прочел ее мысли.

— Поехали, по дороге все узнаешь, — Антон распахнул дверцу машины. «Нива» была забрызгана грязью от ступиц до крыши. Интересно, где же путешествовал ее друг.

Ольге не терпелось узнать все побыстрее. Но она помалкивала. Ждала, когда Антон сам начнет разговор. А он и сам спешил поделиться новостью.

— Ты не поверишь, просто фантастика, — начал он, едва машина выехала со двора Ольгиного дома, — моя мама в прошлое воскресенье ездила в монастырь. В тот, где мы ночевали, после поломки «Нивы». Надеюсь помнишь, и трапезу, и игумена... Так вот, там мама совершенно случайно узнала, что уже третий месяц в заброшенной деревне восстанавливается церковь. И даже священник приехал. И деревня теперь не «мертвая». Некто, по фамилии Тряпицын выкупил часть земель, создал фермерское хозяйство и начал строить дома для работников. А мы-то и не знали ничего!

— И в чем сюрприз? — не поняла Ольга.

— Ведь это и есть то, что не хватает в твоей статье, — Антон перехватил все еще недоуме-

вающий взгляд Ольги, — ладно поехали. После беседы с батюшкой тебе все станет ясно.

Ольга раздраженно хмыкнула. Какое отношение имеет незнакомый фермер Тряпичин к ее тексту о войне. Вечно Антон что-то выдумывает.

Они миновали то место, где несколько месяцев назад бросили сломанную машину, и пошли пешком через поле. Через несколько метров Антон свернул на разбитую проселочную дорогу. «Нива» натужно ревели, проваливаясь в многочисленные ямы, но упрямо ползла в гору. Обогнули березовую рощу и оказались прямо перед церквушкой. Видно было, что ремонтные работы ведутся тут полным ходом. Сами стены храма еще окружали «леса», но наверху уже красовался новый купол с крестом.

Заметив среди рабочих батюшку в перепачканной известкой рясе, Антон поспешил к нему. Ольга, спотыкаясь о кирпичи и недовольно хмурясь, двинулась за ним.

— Отец Григорий, благословите, — склонил Антон голову.

На вид батюшке было лет пятьдесят. Русые, уже тронутые сединой волосы слегка вились возле висков. От уголков глаз лучиками разбегались морщинки. Небольшая бородка тоже вся в серебряных нитях. Ольге понравилось его открытое лицо, доброжелательная улыбка.

— Пойдемте чай пить, — предложил отец Григорий, — правда, жилье у меня пока временное.

Он привел гостей в строительный вагончик, поставленный сразу за храмом.

— Живу по-походному, потому матушка с детками пока не вызываю, — батюшка обвел рукой крохотную комнатку, где уместались только раскладушка, столик и две табуретки, — Фархад Григорьевич обещает через месяц сдать еще три дома, тогда милости прошу на новоселье.

Двигаясь бочком, чтобы ненароком что-нибудь не задеть, отец Григорий принялся готовить чай.

— Дед и отец мой были роста среднего, худощавые, а я вот вымахал, не знаю в кого, — шутил он над своей высокой, громоздкой фигурой.

Поставил на стол три разномастных кружки, сахарницу с отбитой ручкой, пачку печенья, сушки в тарелке.

— Чем богаты... — улыбнулся широко и радостно.

Чай оказался обжигающе горячим и очень вкусным. Чувствовалось, что батюшка был любитель побаловаться чайком и в секретах заварки толк знал.

— Сюда бы еще сахарку, да не такого, что сейчас продается, быстрорастворимый, а настоящего кускового, — батюшка с хрустом разломил большими ладонями сушку, — дед мой Тихон Григорьевич, бывало, ножом колот да с маленьким кусочком всю чашку и выпивал.

— А я в чай всегда воду холодную добавляю, не могу пить горячий, — несмело проговорила Ольга.

— Зря. Весь вкус теряется. Это уже не чай, извините, а не пойми что... — батюшка взглянул на Антона: — Вижу, вижу, молодой

человек, что вам не терпится начать главный разговор.

— Это так, — согласно кивнул Антон.

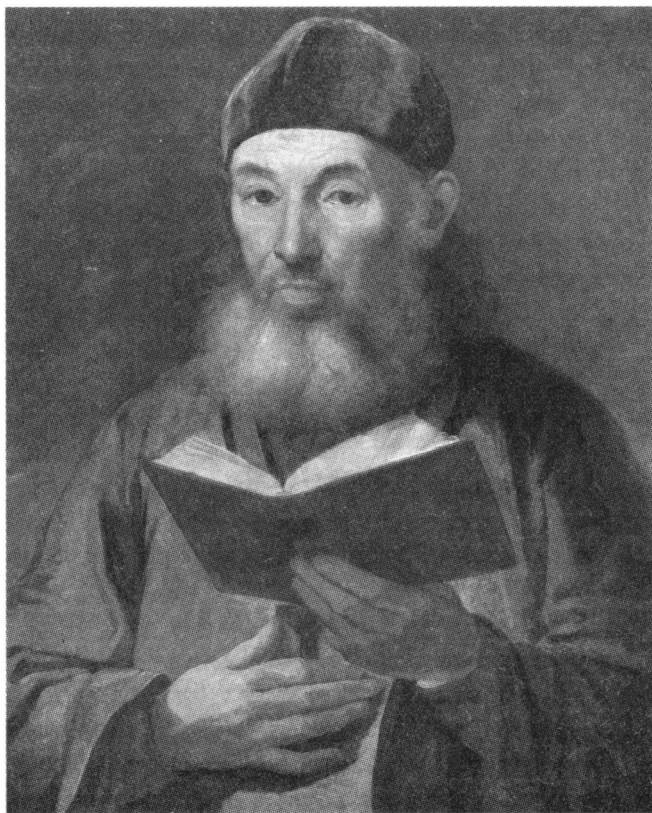
— Ну что ж! Не буду испытывать ваше терпение, — отец Григорий повернулся к Ольге: — С Антоном мы вчера беседовали, но он просил повторить эту историю специально для вас.

Ольга недоуменно пожала плечами. Антон улыбнулся ей ободряюще и легонько сжал ладонь.

— Где-то полгода назад по состоянию здоровья перевелся я из Мурманска в эти края и был определен временно на службу в маленький районный городок, — продолжил отец Григорий, — и вот однажды вызывает меня владыка. Я ждал этой встречи и летел, как на крыльях. Надеялся, что получу назначение в один из храмов областного центра. Тем более, что имел положительную характеристику с прошлого места службы, а сам архиерей не раз отмечал меня, как священника добросовестного и активного. Владыка с моего назначения разговор и начал. Но предложил мне не городское служение, а три церкви на выбор. Все в глухих, заброшенных деревнях.

— Все храмы разрушены, требуется восстановление. Но дело это благое. Подумай. Через три дня жду, — сказал на прощание владыка.

На следующий день я отправился в две деревни, предложенные мне. Надо ли говорить, что картины увидел безрадостные и совсем впал в уныние. Хотел уже развернуться и ехать назад, и выбрать любую наугад, коли такова воля архиерея. Еще раз сверился с



Портрет священника. Первая половина XIX в.
Худ. Александр Варнек

адресами и разволновался так, что едва не случился со мной сердечный приступ. Надо сказать во время беседы с владыкой, я пропустил между ушей название третьей деревни. А теперь, прочитав его более внимательно, сразу же решил, где я буду служить. Дело в том, что в этих краях воевал мой дед, тоже священник — отец Тихон. Он мне много рассказывал о войне, и эти воспоминания

врезались мне в память. Особенно рассказ о том, как штурмуя высоту возле этой деревни, наши бойцы раз за разом поднимались в атаку, но все безрезультатно. Солдаты гибли под смертельным огнем фашистов, укрывшихся на колокольне. Полегли бы они здесь все, если бы не незнакомый старик. Он вышел из рощи и, неся в руках икону, двинулся на гитлеровцев. Тех минут хватило нашим бойцам, чтобы преодолеть расстояние до церкви и захватить высоту. Дед помнил всех своих однополчан, мог говорить о них бесконечно, и, мне казалось, что никогда этих бойцов не видя, я знаю их всех в лицо.

Наконец, Ольга начала понимать, что к чему, о каком сюрпризе ей говорил Антон.

— Ваш дедушка воевал, будучи уже священником? — задала она вопрос, воспользовавшись длинной паузой.

— Нет, священником он стал после войны. Поступил в Москве в Богословский институт. Приняли чудом. Дед был ранен в правую руку в сорок четвертом, контужен. Их в окопе снаряд накрыл. А ведь правая рука для священника главная. Но поступил в институт, потом учился в Новодевичьем. И все время думал, а как служить будет, коли рука не работает. Но незадолго до рукоположения произошло чудо — рука снова стала подвижной.

— А где служил отец Тихон? В Москве? — вновь спросила Ольга.

— Нет, там его не оставили, за отказ сотрудничать... сами понимаете с кем. Отправили на Север. Там и отец мой, и я родились. Дед всю жизнь хотел приехать сюда, отыскать

того мальчишку, что со стариком был, а со своими боевыми друзьями, которые остались живы, связь поддерживал постоянно. Страшное время им пришлось пережить...

— Расскажите... пожалуйста, — попросила Ольга дрогнувшим голосом.

Короткий осенний день клонился к закату, а они все сидели над остывшим чаем, вместе с героями рассказа отца Григория шли в атаку, мерзли в окопах, кричали от боли.

— А вы знаете, что стало с однополчанами вашего дедушки? — Ольгины глаза выражали сострадание и печаль.

— Конечно. Лейтенант Петр Корнелюк погиб при форсировании Днепра. Зубарев Иван был убит в боях за Будапешт. Фархад Рахимов был ранен в ногу, вернулся в родную деревню вместе с маленьким мальчиком Гришей, сыном Кузьмы Тряпицына. Кстати, Фархад Григорьевич Тряпицын и есть наш благодетель и фермер, который возрождает здесь деревню. Дмитрий Пасканной долго лежал в госпитале, получив тяжелое ранение в плечо, умер, как и мой дед в восемьдесят седьмом году. Леонид Бессмертный убит осколком того снаряда, который разорвался возле окопа. Женька Рыжик закончил войну в Берлине, вернулся домой героем.

Когда я собирался сюда ехать, позвонил Фархаду Тряпицыну, и он захотел, чтобы деревня жила, чтобы действовала церковь. Сейчас его стараниями не только восстанавливается храм, но и построено жилье для нескольких семей, приехавших в деревню работать. К весне будет построена школа. С родственниками всех боевых товарищей

деда я поддерживаю отношения: мы пишем друг другу, перезваниваемся. Вот планирую всех пригласить сюда на День Победы. Единственно, не известна судьба того мальчишки. Дед Тихон сетовал, что не спросил тогда фамилию паренька, и очень хотел найти. Не удалось. Искали и мы с отцом, но... Даже не знаем жив ли он.

— Жив. Степан Гаврилович Астахов жив, — торжественно сообщила Ольга. Она увидела, как заблестели от слез глаза у батюшки. Он встал, приложив руку к левой стороне груди. Вслед за ним поднялись и Ольга с Антоном.

— Господи Милостивый, слава Тебе! — отец Григорий перекрестился.

— Вы знаете, что и икона цела? — нарушил Антон установившееся молчание.

— Да, да. Наместник монастыря сказал мне об этом. Как только храм начнет действовать, икона будет передана сюда, — батюшка все еще был взволнован, его голос срывался.

Словно пазлы в рассыпной картинке, Ольга сложила в голове структуру своей статьи. Она уже точно знала, что необходимо добавить, чтобы материал имел законченный вид.

Пора было прощаться, и отец Григорий вышел проводить гостей. Они остановились возле храма. Заметно похолодало, солнце готово было вот-вот нырнуть за дальний лес. По тропинке, ведущей в деревню, показался мужичок. Невысокий, сутулый. Обветренное лицо в глубоких морщинах, похоже, заменял седьмой десяток. Видно было, что проделал мужичок довольно длинный путь пеш-

ком. Резиновые сапоги в грязи, выпачканы и брюки. За спиной у него виднелся объемистый рюкзак, в руках пакет.

— К сыну приехал, а автобус только до поворота довез, а дальше пять километров пешком, — пояснил он, поздоровавшись, но дальше не пошел. Остановился и, задрав голову, принялся рассматривать купол. Смотрел долго, потом повернулся отцу Георгию:

— Иду, вижу, церковь стоит, потом смотрю, поп идет. Значит, думаю и Бог есть.

Отец Георгий ответил серьезно:

— Не сомневайся, отец. Он есть!



ДОЛГ СОВЕСТИ

Старая Ада умирала в своей маленькой одинокой квартирке. О том, что именно в эту ветреную, осеннюю ночь смерть пришла к ней, Ада догадалась по тем признакам, которые безошибочно узнают люди, стоящие на краю жизни. Дохнуло на Аду ледяным ужасом, затрепетала, заметалась душа, ослабло дыхание, и сердце, угасая, стучало все реже и реже. Ада облизнула сухие губы и прикрыла глаза. К смерти она была готова и не страшилась ее, но сейчас в ее замутненном мозгу мелькала какая-то мысль, и Аде хотелось ухватить ее за кончик. Ей казалось, что от нее ускользает что-то важное и нужное.

Мысль то уплывала вслед за затухающим сознанием, то яркой зарницей вспыхивала вновь. И старая Ада почувствовала, что смерть не хочет забирать ее, пока она не поймет, что же хочет ей сказать Господь. А что это именно Он дает ей отсрочку, Ада не сомневалась.

Ада подняла слабеющую руку ко лбу и перекрестилась.

— Господи, помоги! — прошептала едва слышно, стараясь отыскать взглядом икону Спасителя. Наконец нашла, и ей даже удалось сосредоточиться, наблюдая, как расплы-

вающееся неясное пятно стало постепенно превращаться в святой образ, запечатленный иконописцем на куске дерева. Икону эту, висевшую в родительском доме, Ада чудом сохранила во время войны и потом берегла пуще глаза. Дерево от времени было кое-где проедено жучком-точильщиком, позолота поблекла, но сам Божий образ оставался ярким и словно живым.

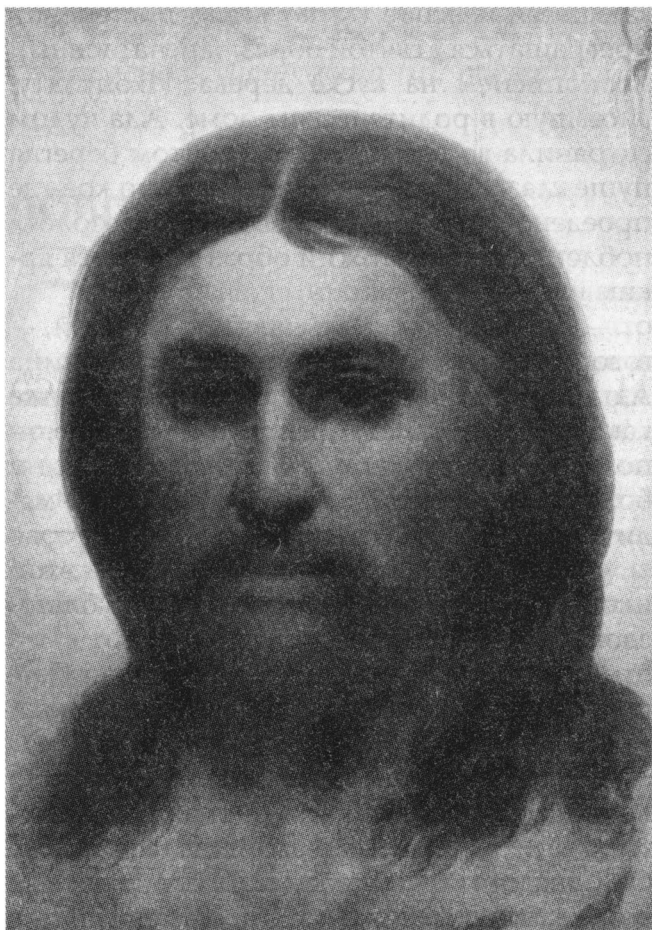
— Старины эта иконы необыкновенной, — говорила, бывало, давнишняя приятельница Ады, соседка ее Аркадия Петровна, год уже как покоившаяся на городском кладбище, — по всему видно. Лет ей, поди, двести, а то и больше. Удивительно, как сохранилась. Умели раньше делать.

— Да, да, — соглашалась с ней Ада, — этой иконой еще маминого отца его бабка благословляла на брак.

— Ах, ах, ах, — изумлялась Аркадия Петровна, прицокивая языком, — чудно да и только.

И вновь Ада кивала головой. Чудом было не только то, что икона не пропала в лихолетье, но и сама жизнь Ады оказалась чудом. Она так считала, особенно после того, как выжила во время оккупации, казалось бы, в невероятных условиях. В тот миг, когда поняла Ада, что беда миновала, она сразу и безоговорочно поверила в Бога и потом уже оставалась с Ним всю оставшуюся жизнь.

— Господи, подскажи, дай понять, почему душа моя так мается. Ведь столько пришлось мне вынести, да и Ты сберег меня, видно, для чего-то. Так в чем грех мой, что не хочешь Ты забрать мою душу? Или дела, какие остались



Спаситель. 1870-е гг. Худ. Евграф Сорокин

здесь у меня? — Аде казалось, что она произносит эти слова вслух, а на самом деле ее бескровные губы даже не шевелились. Она говорила с Богом сердцем и еще живым пока разумом.

Внезапно у Ады обмякли руки и ноги, и она уже было подумала, что отвернулся от

нее Господь и заберет сейчас ее душу, так и не дав напоследок сердечного успокоения.

Ада прикрыла глаза и приготовилась отойти в мир иной, но вместо этого неожиданно задремала, ощутив воздушную легкость во всем теле и внутреннее умиротворение.

И сразу очутилась в том страшном сорок первом, когда пылал их маленький городок, стоящий на подступах к Москве, и чужие солдаты с враждебными, злыми лицами и гортанным выговором заполнили двор их небольшого дома.

Двухэтажный на несколько квартир дом затерялся среди тихой зеленой улицы, обсаженной липами и тополями. Таких строений было полно в их городе, и все люди за много лет такого соседства стали родными, привыкли делить пополам горести и радости.

По местному градостроительному обычаю нижний этаж в таких домах возводился из кирпича, а второй из дерева. Этакая аккуратная избушка на шесть семей. Один подъезд, скрипучая дубовая лестница, орущие кошки — неизменные обитатели всех квартир. Во дворе сараюшки, рядом нарезаны участки земли с аккуратными грядками, кустами смородины и зарослями малины у забора. Почти деревенский быт, однако приметы городской жизни все-таки врываются сюда шумом заводского гудка и фырканием одного-единственного автобуса, курсировавшего между школой, расположенной в старинном особняке, и рабочей окраиной. Вот и все. В остальном всем приезжающим сюда казалось, что попали они в большую дерев-

ню: пение петухов, мычание коров, колодцы во дворах, запах сирени и жасмина. Весной и осенью непролазная грязь, летом пыль, а зимой сугробы под самые окна.

Семья Ады занимала квартиру на втором этаже. Напротив, дверь в дверь жили мать и сын Митрофановы. Он — шумный запьянцовский рабочий местного овощесушильного завода.

— Беспутный ты, Колька, — качали головой соседи.

— Ага, — как-то радостно соглашался он.

В самом деле, Колька, когда выпьет, принимался горланить частушки или пускался в пляс прямо на улице. А то начинал громко окликать прохожих, иногда задирали да подначивали. Однако никто на Кольку не обижался, потому как знали, был он абсолютно безобидный и к тому же очень несчастный. Мама Ады, Варвары Кузьминична так говорила:

— Невеста его бросила прямо в день свадьбы. Не пришла в загс и все, с другим уехала. Нехорошо поступила, страшно, греховно. Вот Колька загоревал да запил. Жалко его.

Через стенку от Митрофановых обитал тихий, незаметный старичок — бывший кузнец Василий Иванович Андрусь. Больной, убогий. В Гражданскую рубанул его стгоряча шашкой белый офицер за то, что сын Василия Ивановича в Красную Армию подался:

— Думал, помру, а вот выжил, — как бы удивляясь такому исходу событий, рассказывал сосед, — а зачем? Сынка и старухи моей давно уж нет в живых.

Перебирая воспоминания, Василий Иванович начинал плакать и вытирать слезы черным, отбитым пальцем. Маленькая Ада боялась этого пальца с полуслезшим ногтем, а Варвара Кузьминична, жалеючи, обнимала деда:

— Для того тебя Господь сохранил, чтобы молился ты тут за них, поминал за упокой души.

— Да, да, — плакал Василий Иванович.

Варвара Кузьминична наливала деду миску горячих щей, совала пару вареных яиц и ломоть хлеба.

На первом этаже сразу две квартиры занимала многодетная семья Ковалевых: совсем еще молодые муж с женой и их семь деток, мал мала меньше. Мама Ады всегда низко кланялась им при встрече:

— Мое почтение Петру Андреевичу и Екатерине Федоровне.

— Мама, ну зачем ты? — дергала ее за руку Ада. — Ты же их старше.

— Это большой труд, деток столько родить да воспитать, — гладила Варвара Кузьминична дочку по голове, — от Господа награда. Я вот тоже хотела детей побольше, да, видно, Богу не угодно мое хотение. Одна ты у меня. Вымолила.

Петр Андреевич работал вместе с отцом Ады по печному делу. Клади голландки, русские, каменки для бани. Иногда, когда Ада подросла и у нее бывали каникулы в школе, отец брал ее с собой.

— Ремесло это мужское, а ты все ж посмотри, — ласково приговаривал Михаил Терентьевич, — может, когда и стодится наука эта.

Мастера ходили по окрестным деревням, да и в городе, где преобладало печное отопление, от заказов отбоя не было. У кого дымоход засорился, кто-то хотел переделать громоздкую русскую печь на более легкую и изящную «шведку», были и такие, которые решались вмонтировать в печь угольный котел.

— Колосники забиваются, прогорят скоро, да и дух другой от котла, — пытался отговорить таких смельчаков отец.

— Зато дров меньше нужно, — возражали те.

Рядом с Ковалевыми на первом этаже жил предмет тайного вздыхания Ады — Санька Воробьев. Мать его трудилась уборщицей в школе, отец — водителем в леспромхозе. Санька был старше Ады на два года. Он нравился девочке с первого класса, но подойти к нему она не решалась, только издали наблюдала, как Санька с утра пораньше отводил сестер-близнецов в детский сад, а потом вечером, усадив их в песочницу, устраивался рядом с книжкой в руках.

— Небось профессором хочешь стать, — шутливо задира л его изрядно подвыпивший Колька Митрофанов.

— Не знаю, — пожимал плечами Санька, улыбался слегка виновато, и вновь углублялся в чтение.

Ада не раз мечтала, как однажды Санька подойдет к ней и скажет:

— Давай дружить, что ли.

И они будут всюду ходить вместе: и в школу, и на речку, и даже в детский сад за близнецами.

Но Санька был вечно занят: сестры на нем, к тому же Ада часто видела его в городском тире, где он упражнялся в меткой стрельбе. Да и у Ады тоже забот хватало. Она ходила в музыкальную школу — училась игре на скрипке, и маме приходилось много помогать по хозяйству.

Так и ограничивались они с Санькой быстрыми взглядами, застенчивыми улыбками да словами приветствия при встрече.

...Когда началась война, Ада перешла в седьмой класс. Она долго не могла поверить, что их мирную, размеренную жизнь ворвалась беда. Однако вскоре война пришла и в их городок. Улицы погрузились в темноту, потянулись по улицам первые беженцы, не слышно было детского смеха.

Первым ушел на фронт Колька Митрофанов, и его мать Степанида Алексеевна ходила с заплаканными глазами. Затем простился со всеми Петр Аркадьевич, и жена его Екатерина Федоровна висла на нем, до последней минуты не отпуская мужа. Вслед за ним призывали и старшего Воробьева. Михаил Терентьевич получил на время отсрочку — этим летом сильно простудился, да и возраст приближался к пятидесяти. Родители Ады поженились поздно, а потом Варвара Кузьминична долго не могла забеременеть и родить.

— Видно, прогрешили мы Богу, вот и не оказывал Он нам в Своей милости, — рассказывала мама, с благоговением взглядывая на икону, — молились с отцом, в Троицу-Сергиеву Лавру ездили, каялись со слезами. Пожалел Господь, явил чудо. Не устаю благодарить Его за тебя.

К словам матери девочка относилась скептически. В школе утверждали, что Бога нет, а религия пережиток прошлого; а Санька даже выступал на общешкольном собрании с докладом: «Бог или человек». Из его сообщения Ада поняла только то, что советский человек верить во всякую темную ерунду не должен, и приняла этот вывод круглого отличника Саньки Воробьева безоговорочно, прежде всего потому, что докладчик ей необыкновенно нравился.

Война пошатнула ее убеждения. Страх закрался в детскую душу, и бороться с ним она могла только неумелой молитвой. Глядя, как мать горячо молится у иконы Спасителя, Ада и сама просила некогда отвергаемого ею Бога:

— Помоги Ты всем нам. И беспутному Кольке, и дяде Пете, и... Саньке.

Немцы захватили город в конце августа. Всю ночь совсем рядом ухали бомбы, трещали автоматы, вспыхивали ракеты, а утром чужая речь резанула уши и грубые окрики заставляли вжаться в стенку, закрыв лицо руками.

Каждый день приносил тревожные новости. В городе был установлен новый порядок, появились полицаи с повязками на рукавах, патрулирующие улицы и бесцеремонно врывающиеся в квартиры в любое время дня и ночи.

Появились первые жертвы. Мама тревожно шептала на кухне:

— Коммунистов расстреливают. Вон Васильевы не успели уйти, так их... прямо во дворе, — и испуганно крестилась.

На первом этаже их дома тоже жили гитлеровцы. Согнали всех обитателей в спешном порядке на второй этаж, а сами, как хозяева, расположились в квартирах. Санька с матерью и сестрами теперь жил у Митрофановых, а Екатерину Федоровну приютил Василий Иванович.

Всегда любившая игры на свежем воздухе, общительная и свободолюбивая Ада вынуждена была вести почти затворническую жизнь. На улицу лишний раз не сунешься, — страшно. Школа закрыта, там разместилась немецкая комендатура, кое-кто из одноклассников уехал из города, остальные тоже сидят по домам.

С трудом преодолевая страх, Ада выскакивала с ведром на колонку за водой или в сараюшку за какой-нибудь мелочью. Иногда она встречала на лестнице Саньку. Паренек хмурился, был бледен, а однажды шепнул Аде:

— Все равно на фронт уйду.

— А мамка? А близняшки? — ахнула девочка.

Санька еще больше побледнел.

Однажды обитатели второго этажа проснулись от страшного грохота. Крики, звон разбитого стекла, лай собак. Ада осторожно отодвинула занавеску. Все окна внизу, где жили немцы, раз за разом, громко звякнув разлетелись на мелкие осколки. Увесистые камни, пущенные из темноты умелой рукой, быстро находили свою цель.

Гитлеровцы с оружием в руках выскочили во двор, беспорядочно стреляя в темноту. Двое из них поднялись наверх и принялись

выталкивать полусонных, полуодетых людей на улицу.

— Партизан, партизан, — орали злобно.

Екатерина Федоровна подхватила на руки одного из малышей, годовалого Леньку, остальные детки пугливо жались к ней, плача и вздрагивая. Варвара Кузьминична помогла малышам спуститься. Санькина мама крепко держала дочек за руки. Самого Саньки не было видно.

— Кто это делать? — подскочил к ним здоровый фриц с перекошенным лицом. — Я буду всех стрелять...

— Мы ничего не знаем, — сделал шаг вперед отец Ады, — мы все спали.

— Молчать, русский свинья, — фашист наставил автомат на Михаила Терентьевича.

В тусклом свете, долетающем сюда из разбитых окон, Ада увидела, как у отца заходили желваки на щеках, а губы вытянулись в узкую полоску. Это был плохой признак. Отец был очень вспыльчивым по натуре. Потом, правда, быстро отходил, но в горячке мог наломать немало дров. Ада не раз слышала, как отец после подобных вспышек говорил маме:

— Ну, прости дурака, Варенька. Ты же меня знаешь. Не хотел, прости.

— Бог простит, — неизменно отвечала мама. Ада знала, что мама не могла долго сердиться на своего Мишеньку.

Вот и сейчас было заметно, что отец накален до предела. Оскорбительные слова фашиста вывели его из себя. Мама, стоявшая поодаль, обеспокоенно посмотрела на мужа и начала придвигаться к нему поближе.

— Кто свинья? — повысил голос Михаил Терентьевич и тут же зашелся в хриплом кашле. Немного отдышавшись, он сипло прокричал:

— Это вы свиньи, пришли сюда незваные. Но ничего, скоро мы вас...

Закончить Михаил Терентьевич не успел. Раздалась автоматная очередь, и он замертво упал на пыльную траву.

Все, что произошло потом, Ада могла воспроизвести в своей памяти с трудом. Мама дико закричала и, протянув руки, пошла навстречу гитлеровцу:

— За что? Да за что? Ведь не звери вы... За что?

И вновь выстрелы разорвали ночную тишину.

Глядя на медленно оседающую на землю мать, Ада, словно во сне, шагнула вперед. Потом присела на корточки и нащупала в траве осколок кирпича. У нее отключился разум. Перед глазами, как в круговороте, мелькали убитый отец, лежащий ничком у порога собственного дома, мать, тянувшая руки к фашисту, ее предсмертный стон, потухающие глаза, полные скорби. И белый платок, соскользнувший с маминой головы.

Девочка захлебывалась слезами, детское сердце переполняла ненависть к тем, кто в одно мгновение лишил ее самых дорогих людей.

Ада подняла руку с зажатым в кулаке камнем вверх, широко размахнулась и тут же поймала взглядом черный зрачок автомата. Через призму соленых слез он дрожал

и плавился перед глазами, как в тумане, то удаляясь, то приближаясь к ее голове.

— Не надо, не стреляйте, она же ребенок, — услышала она тихий голос Екатерины Федоровны.

Горе настолько переполняло Аду, что она совсем не думала о том, что через секунду может бездыханно лежать, раскинув руки на прохладной земле, и не страшилась смерти. Маленькая ростом, худенькая, словно веточка ивы, она бесстрашно смотрела прямо фашисту в лицо. Ей хотелось только одного: прямо сейчас, немедленно отомстить, наказать обидчиков.

— Найдн, найдн, — ворвался в уши громкий окрик. Один из гитлеровцев что-то быстро проговорил солдату, готовому вот-вот спустить курок.

Потом Аду грубо толкнули в спину и повели через весь двор на дорогу, ведущую в центр города. Пройдя несколько метров, девочка оглянулась. Соседи сбились в плотную толпу и потерянно смотрели ей вслед, даже дети не плакали. Недалеко за их спинами Ада заприметила Санькину фигуру.

Ноги у Ады налились тяжестью, сердечко застучало часто и гулко, а уши, словно ватой заткнули. Девочку страшила неизвестность, подгоняемая резкими окриками, спотыкаясь, она пошла вперед, стараясь не думать о том, что ждет ее в скором времени.

Аду привели в комендатуру. Ей стало немного спокойнее на душе, когда она переступила порог своей родной школы. Ну и что с того, что здесь теперь обосновались гитлеровцы, зато ей известен здесь каждый уголок.

До революции в этом здании располагалось казначейство, а потом сюда переехали дети. Невысокая, добротная, в два этажа постройка, оставалась украшением города. Высокие колонны венчали фасад, полукруглые окна были забраны в фигурные решетки, фронтоны украшала искусная лепнина.

Ада приходила сюда вместе с отцом перед самой войной. Михаил Терентьевич проверял тягу в печах, к тому же директор школы Елизавета Акимовна попросила:

— Убрали бы вы камин на втором этаже, Михаил Терентьевич! Весь вид в классе портит.

Отец долго рассматривал встроенную в стену неглубокую открытую топку, украшенную порталом из ольхи в комбинации с отделкой, расписанной изразцовой плиткой и литыми чугунными панелями с художественными рельефами. Камин располагался в кабинете истории, и учительница завесила его картой Советского Союза.

— А чем вам камин не угодил, Елизавета Акимовна? Ведь какая старина, и сделан уж очень добротно, красиво.

— Заложить камин надо, — Елизавета Акимовна поправляла очки на носу, — знаете ли, напоминает о старом режиме.

От директрисы и от самой веяло старорежимностью. Седые букли, очки в тонкой оправе, строгая длинная юбка, безупречно белая блузка с рядом мелких пуговичек. Говорила она медленно, четко проговаривая каждое слово, преподавала в школе немецкий язык, и ее за глаза и учителя, и родители звали «немкой». Не только из-за предмета,

который она вела, но за чопорность, чрезмерную аккуратность и серьезность.

Отец ходил возле камина, крякая и почесывая затылок.

— Стало быть, надумали убирать?

— Безусловно, — вскинула голову Елизавета Акимовна.

— Тогда кирпич завезти надобно, — вздохнул Михаил Терентьевич, — заложу да штукатурю.

— Хорошо, я дам вам знать, когда надо будет начинать работу, — директриса распрощалась и вышла из класса, а отец еще постоял немного, оглаживая рукой прохладу плитки, заглядывая внутрь камина:

— Смотри, — показал Аде, — как все сложено мастерски. Вон тут сбоку ниши сделаны, а над дымоходом — арка ажурная, а там, в глубине вроде как полочка каменная виднеется. Чудно.

Разговор этот состоялся во вторник, а уже в воскресенье началась война. И кто бы мог подумать, что два месяца спустя Ада будет стоять на пороге родной школы не в качестве ученицы, а как пленница.

Втянув голову в плечи, Ада затравленно оглянулась. Справа дверь в школьную раздевалку, чуть поодаль лестница на второй этаж, напротив библиотека, потом пионерская комната, спортзал, кабинеты химии, физики и литературы. Сейчас все эти комнаты заняты вражескими солдатами. Из полуоткрытых дверей слышна приглушенная немецкая речь, стрекот пишущей машинки, телефонные звонки. У входа по обе стороны застыли в карауле два фаши-

ста с непроницаемыми лицами. Тяжелые руки сжимают автоматы, в глазах равнодушные и пустота.

Аду втолкнули в одну из комнат. Она сразу узнала: это кабинет немецкого. Здесь когда-то царствовала Елизавета Акимовна, а теперь из-за учительского стола на девочку смотрят ледяные глаза фашистского офицера. Доклад конвоиров девочки звучал быстро и четко. Ада ничего не поняла, хотя и учила немецкий язык, но ответ офицера зазвенел в голове. Он бросил коротко:

— Schieben! — и девчужка поняла, что немец приказал ее расстрелять.

Комната завертелась перед глазами. Плакаты с немецким алфавитом, портрет Гете на стене, картина, изображающая веселых пионеров-тельмановцев. Ада сидела вон на той парте у окна, и Елизавета Акимовна частенько делала ей замечания, чтобы девочка не отвлекалась. Но Аду привлекали гомон воробьев за стеклом, почтальон с тяжелой сумкой, продавщица мороженого, старый тополь с огромным дуплом. Неужели ничего этого Ада больше не увидит? Ни снежных сугробов, сверкающих под неярким зимним солнцем, ни лопающихся весной почек на деревьях, ни летнего теплого дождика. Ничего. И Саньки не увидит. Всего один маленький щелчок, и она превратится в травинку, как в сказке, которую ей когда-то в детстве рассказывала мама. Сказка была о том, что все люди не умирают, а превращаются в траву, которая шумит на могилах. Но Ада еще слишком маленькая, чтобы умирать, она хочет жить, хочет до-

ждать победы, хочет вырасти, чтобы никогда не забывать...

Ада обернулась на открытую дверь. До лестницы на второй этаж ее отделяло всего несколько метров. Она попятилась, потом резко оттолкнула фашиста и помчалась через коридор к лестнице. Солдаты на мгновение опешили. Она слышала их гортанные окрики, летевшие ей вслед. Девочка стрелой взлетела наверх и заметалась в поисках убежища. Этаж был пуст, видимо, немцы заняли только нижние комнаты. Слабая надежда толкнулась в сердце. Слыша топот кованых сапог за спиной, Ада прижала в немой мольбе руки к груди, прошептала: «Боженька, помоги» — и юркнула в кабинет истории.

...Поднявшись на второй этаж, гитлеровцы, гогоча и громко переговариваясь, принялись методично обыскивать комнаты. Они не спешили, знали: эта русская скверная девочка никуда не денется. На окнах крепкие решетки, снаружи здание патрулируется, а на выходе вооруженная до зубов охрана.

Наивная маленькая дрянь. Она еще надеется вырваться отсюда? Только ей это не удастся. Рано или поздно ее ждет справедливое возмездие, потому как эти русские нелюди не имеют права поднимать руку на германского солдата, они должны знать свое место, и для этого солдат вермахта и пришел на эту землю.

Дверь за дверью, комната за комнатой — круг поисков сужался. Вот остался последний учебный класс. Все — птичка в клетке. Довольный хохот гулко раздался на этаже.

Ухмыляясь, оттягивая минуту торжества германского нацизма над этими людьми второго сорта, гордо называющими себя советским народом, фашисты открывали шкафы, вываливая оттуда книги, карты, плакаты, переворачивали парты и ученические скамейки, словно Ада была крошечной пылинкой и могла спрятаться за спинкой стула. Но русской партизанки нигде не было видно.

Заметив завешанный картой камин, гитлеровец сунул туда голову, щелкнул зажигалкой. Сверху свисала паутина, копоть и гарь, насчитывающая без малого полвека, покрывала стены камина. На солдата дохнуло пылью, отсыревшей золой и затхлостью. И девочка вряд ли могла пролезть вон в ту узкую щель, которая виднелась сбоку. Немец громко чихнул и, схватив глобус, стоящий на камине, изо всей силы ударил его об пол. Модель земного шара раскололась на две половины, издав глухой, протяжный звук.

Хлопнула оконная рама, прохладный ветер ворвался в класс, затрепав занавеской. Неужели девчонке удалось протиснуть свое худое тельце между решетками и убежать? Солдаты заглянули в открытое окно. Там внизу пышно разросся кустарник сирени, и, скорее всего, это обстоятельство и позволило хитрой девчонке убежать. Крона смягчила падение и скрыла от глаз патрулей.

...Только когда звук сапог вражеских солдат затих внизу под лестницей, Ада перевела дух. Все время, пока фашисты находились на этаже, девочка лежала, свернувшись калачи-

ком на каменной полочке, сбоку от дымохода, той самой на которую когда-то обратил ее внимание отец. Притихнув, словно мышка, Ада старалась не дышать, мысленно обращаясь к Богу. Вся надежда теперь у девочки была на Него. Один раз Он уже помог ей: в самый напряженный момент Ада вспомнила о камине, и именно Господь подсказал ей мысль спрятаться там. Неужели и сейчас оставит ее Боженька? Ада, представляя их старую икону, просила, умоляла Спасителя простить ее за то, что когда-то смеялась над Ним, не верила, отвергала. Ее наполненное болью, страхом и печалью сердечко молилось вместе с ней, трепетало в груди, согревая свою хозяйку, лежащую ничком на холодном камне.

До самого вечера Ада не выходила из своего убежища. Время от времени она впадала в дрему но, даже уплывая во сне, продолжала контролировать свое тело. Это было сложно и непривычно, но Ада понимала, что от ловкости и хитрости зависит ее жизнь. У Ады замлели плечи, ломило спину, а рук и ног она вообще не чувствовала. Но девочка затаилась и ждала. Ждала, пока последний гитлеровец покинет школу, когда стукнет входная дверь и в дверях заскрипит ключ. И только когда в здании стихли все звуки и темнота окутала комнаты, Ада выбралась из камина. Она бесшумно прошла по классу, разминая тело, поеживаясь от холода. Ее тоненькое платьишко, надетое впопыхах прямо на голое тело, совсем не грело от ночной прохлады. И только сейчас девочка почувствовала, как сильно она проголодалась. Желудок слов-

но прилип к спине, в животе урчало. Как ни страшно было Аде, тем не менее она пугливо спустилась по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке. Прежде всего, она сразу прошла в туалет, расположенный под лестницей и напилась воды, потом умылась и начала обходить комнаты в поисках хоть какой-нибудь пищи. Многие классы оказались закрытыми, и девочка совсем загрузтила. Кроме физического недомогания, голода и боли, ее мучили воспоминания о гибели родителей. Снова и снова Ада перебирала в памяти последние мгновения их жизни, и слезы катились из глаз. В какой-то момент своим ставшим за один день уже не детским умом девочка поняла, что она не должна плакать, иначе ослабнет и не сможет бороться, иначе она просто погибнет, выдаст себя. А она должна жить. Должна. Ради мамы и отца, ради того, что они очень ждали свою дочку, молили Господа, и он даровал им ребенка. Значит, Ада просто обязана остаться на этой земле, выкарабкаться, обмануть своих врагов и, может быть, когда-нибудь вновь увидеться с Санькой.

Ада не нашла даже крошки. В тех комнатах, куда девчужке удалось проникнуть, на столах — только аккуратные стопки бумаг и немецкие газеты. Маленькая затворница, стараясь не нарушить порядка, двигала письменные приборы, стопки бумажных листов. Но, видимо, педантичные немцы ничего съестного на столах не хранили, а ящики оказались запертыми.

Совсем отчаявшись, Ада, наконец, обнаружила в самой крайней комнате, крохот-

ную дольку шоколада, прикрытую листовкой. Скорей всего, хозяин кабинета забыл о шоколадке или впопыхах не успел убрать в стол. Некоторое время Ада боролась с искушением: взять или не взять. У нее уже не было моченьки терпеть голодные спазмы, но и боялась, что исчезновение кусочка мог заметить гитлеровец. Наконец голод победил страх, и Ада проглотила шоколад, почти не почувствовав его вкуса. Вновь напилась воды, и, поднявшись на второй этаж, присела на парту. Как только в окно стал вползать серый рассвет, Ада перекрестилась на темный еще край неба и полезла в камин.

* * *

У Ады началась непростая жизнь. Днем она затихала на каминной полке, и даже когда засыпала, ее разум не отключался, фиксируя любые звуки. Постепенно тело Ады привыкло к неудобному, полусогнутому положению, она научилась различать своих мучителей по голосам, наделяя их безликими именами-прозвищами: фриц первый, фриц второй, пятый, седьмой. Вот звякнула ложечка в стакане, это четвертый собрался пить кофе. Он всегда заваривал его ровно в одиннадцать часов. Ада принюхивалась. Так и есть. Тонкий кофейный аромат заставил желудок сжаться, но девочка привычно отогнала мысли о еде. Не сейчас, позже, как только стемнеет. И организм послушно переходил в режим дремоты. Через час седьмой снимал трубку телефона и куда-то звонил, скорей всего с докладом. В четыре замолкала пишущая машинка, и десятый шумно по-

тягивался. Иногда Ада слышала, как кто-то тихонько поднимался по лестнице, и девочка буквально втискивалась в твердую поверхность каминной полки, ощущая, как мигом становятся потными ладони.

Наконец около восьми часов вечера фрицы покидали комендатуру и, выждав еще некоторое время, Ада начинала ночной обход. Первым делом в туалет. Ее организм научился терпеть естественные нужды, приспособливаясь к образу жизни, который вынуждена была вести девочка. На дверях школьного туалета немцы прикрепили листок с надписью «Sanitärraum». Девочка там умывалась, протирала влажной тряпочкой тело. Однажды она нашла закатившееся за корзину для мусора золотое кольцо. Широкое, массивное, с россыпью крохотных голубых камешков. Ада долго рассматривала кольцо. Она впервые держала такую дорогую вещь в руках. Были в диковинку и тусклый блеск металла, и выгравированные на поверхности витиеватые, переплетенные между собой буквы «Н» и «Е», и ощущения тяжести на ладони.

«Красивое», — отметила про себя Ада.

Но для нее было бы лучше найти вместо кольца кусочек хлеба. Девочка вздохнула и положила находку на край умывальника.

На втором этаже в учительской Ада обнаружила забытую кем-то из преподавателей шерстяную кофту. Долго не решалась взять, опасаясь, что фрицы могут заметить ее исчезновение. Потом все-таки закуталась в мягкую вещь и сразу почувствовала, как согревается не только тело, но и душа.



Девочка в платке. Конец XIX в.
Худ. Николай Рачков

Каждую минуту Аду преследовал страх. Днем она боялась повернуться, издать какой-нибудь звук, даже дышать, а ночью из каждого темного угла ей мерещились фашисты. Аде было очень тяжело. Ее жизнь была далеко не сахар. Но это была жизнь! И Ада не уставала благодарить Бога, что он подарил ей возможность хотя бы вот так, но существовать. Ада не думала, сколько это продлится, не считала дни и ни о чем не мечтала. Она просто жила. Сложнее всего было обхо-

даться почти без еды. Невольной пленнице редко что удавалось отыскать. Приходилось довольствоваться кусочками печенюшек, выброшенными немцами в мусорку. Ада еще больше похудела, стала словно прозрачной, но, как ни странно, радовалась этому обстоятельству. Так легче оставаться незаметной. Хотя она понимала, что скоро может умереть от голода, поскольку совсем ослабела.

Но с некоторых пор Ада стала находить маленькие брусочки хлеба, завернутые в белую бумагу. Первый раз она обнаружила кусочек за занавеской на окне второго этажа и сразу вспомнила, что днем она слышала крадущиеся шаги: кто-то поднимался по лестнице. И вот теперь этот хлеб. Аду тут же до костей пробрал мороз. Ее обнаружили! И теперь пытаются выманить, словно мышку из норки. Что же делать? Ада долго стояла возле вожделенного кусочка, потом взяла его в руки и с наслаждением вдыхала кислородный, очень вкусный хлебный запах. У нее закружилась голова, черные мушки запрыгали перед глазами, и Ада, теряя контроль над собой и не понимая, что она делает, быстро разжевала этот хлебушек и проглотила тугой комок. Она тут же похолодела вновь, потом горько заплакала, будучи уверенной, что завтра ее непременно отыщут и...

Назавтра весь день девочка ждала, притаившись в своем укрытии, но ничего не случилось. Все так же четвертый пил свой кофе, звонил по телефону седьмой, диктуя сводку, потягивался десятый. Все, как всегда.

Ада дольше обычного не покидала камин, напряженно вслушиваясь в каждый шорох,

но никаких подозрительных звуков не долетало до ее ушей. Скреблась мышь за плинтусом, дождь шуршал по листьям во дворе, тихонько вздыхали разошедшиеся полы. Наконец организм потребовал свое и Ада, трепеща и вздрагивая, выбралась наружу. На цыпочках прокралась в коридор, шарахаясь от своей тени, спустилась вниз. Никого. Жадно напилась, и уже умываясь, заметила мыло, оставленное кем-то из фрицев на полочке, подле умывальника. С каким удовольствием Ада вымылась, а потом долго дула на кусочек, пытаясь высушить. Среди выброшенных в мусор бумаг, оберток от шоколада и пустых банок не нашлось ни одного обломка печенья, зато на том же месте за занавеской Аду ждал заветный ровный брусочек хлеба. В этот раз она жевала его медленно, наслаждаясь каждой крошкой. Но сегодня ее пир не закончился. В крайнем кабинете девочка вновь нашла дольку шоколада. Она долго сосала ее, затем присев за парту, попыталась предположить, кто же оставляет ей хлеб. И было ли сегодняшнее мыло тоже забыто случайно? А шоколад? Так кто же? Мысль о том, что это может быть кто-то из фашистов, она откинула сразу. Перебрала всех обитателей комендатуры: нет, ни один из фрицев не подходил на роль доброго Деда Мороза. Тогда, может быть, проходящая в обед уборщица. Звуки, принадлежавшие этой женщине, Ада слышала уже несколько дней. То, как она негромко ворчала по-русски, двигала шваброй по полу, звякала ведром. Эта женщина вполне могла оставлять для Ады еду. Только вот откуда уборщица, нанятая немцами, по всей видимости, недавно, знала про Аду?

У Ады разболелась голова. «Наверное, все-таки это тетенька меня подкармливает. Больше никому», — рассудила Ада.

Хлеб, завернутый в бумагу, день изо дня неизменно появлялся на прежнем месте, и Ада окончательно уверовала в то, что сможет выжить.

В один из дней Ада слышала совсем не характерные звуки. Седьмой принялся звонить уже с утра, что-то истерично крича в трубку, четвертый не заваривал свой кофе, а пишущая машинка замолкла перед обедом. За окном гремела, приближаясь, канонада, выстрелы звучали все ближе. Внизу топали, гаддели, чем-то гремели фрицы. Прямо у входа взорвалась граната, потом еще одна и через мгновение Ада слышала внизу, в коридоре родную русскую речь.

— К стене, к стене, — кричал кто-то, — руки вверх.

На лестнице застучали сапоги, веселые, возбужденные голоса доносились до Ады, и девочка поняла: это пришли свои. Она вылезла из своего убежища и, пошатываясь, вышла в коридор. И тут же столкнулась с высоким молодым красноармейцем в длинной, припорошенной снегом шинели и каске.

— Ты кто такая? Откуда? — удивленно присвистнул солдат, а Ада обняла, дотянувшись ему только до пояса, и заплакала.

Боец подхватил изможденную, легкую, словно пушинка, девчущку и понес вниз. Крепко обхватив его за шею руками, Ада приподняла голову и тут же вздрогнула. Вдоль стены выстроились гитлеровцы. В глазах страх и ненависть. И только один немец

смотрел на нее жалостливым взглядом. Смотрел так, как не может смотреть фашист. Ада прочитала в его лице сострадание и грусть. Девочка перевела взгляд на его руки, поднятые над головой. На безымянном пальце блеснуло широкое золотое кольцо с буквами «Н» и «Е».

Аду принесли в крайний кабинет и усадили на стул.

— Побудь пока здесь, — ласково сказал солдат, — сейчас я тебе поесть что-нибудь дам.

Выложив перед девочкой ломоть хлеба, открытую банку с тушенкой и луковицу, боец ножом взломал закрытые ящики стола.

— Много не ешь, — обернулся он к девочке, но она и сама замерла с поднесенной ко рту ложкой. В столе лежал завернутый в белую бумагу нарезанный на ровные, аккуратные кусочки хлеб.

Ада сползла со стула и подошла поближе. Она узнала эти брусочки. Тут же заметила и плитку шоколада. Так значит, ее подкармливал фриц. Но кто? Какой? Солдатик достал из ящика фотоальбом. На кожаной коричневой обложке было написано красивой вязью: «Hans. Else. Irma».

— Ганс, Эльза, Ирма, — прошептала Ада, поднося ладонь к груди. Она перевернула страницу. На нее смотрел тот самый немец с кольцом, рядом с ним улыбались белокурая женщина и девчушка, удивительно похожая на нее.

— А что им будет? — спросила Ада, имея в виду фрицев.

— Понятно что... — неопределенно протянул солдат.

— Вот этот, — Ада указала на фотокарточку, — он мне поесть давал... оставлял.

— Да не жалея ты его, — махнул рукой боец, — ешь давай... нашла о ком плакаться. Звери они, нелюди. Игрался он с тобой, а если бы подвернулся случай, расстрелял бы без сожаления. Ешь...

И Ада, глотая слезы, принялась за тушенку.

* * *

Старая Ада будто снова перенеслась в то страшное свое детство и ясно, очень ясно увидела лицо того фрица, и имя вспомнила, которое забыла уже давно и даже нарочно гнала из памяти. А вот сейчас увидела все, как наяву. Неспроста сон этот, ох неспроста. Старуха пошевелила пальцами.

— Господи, — беззвучно прошептала, — поняла я все, поняла. И грех свой, грех беспамятства осознала.

Она прикрыла глаза и, ощущая, что мысли уплывают, ускользают от нее, и руки холодеют и наливаются тяжестью, поспешила не сказать, нет. Говорить Ада уже не могла, а торопилась подумать, успеть до своего последнего мгновения, передать свою мысль Ему.

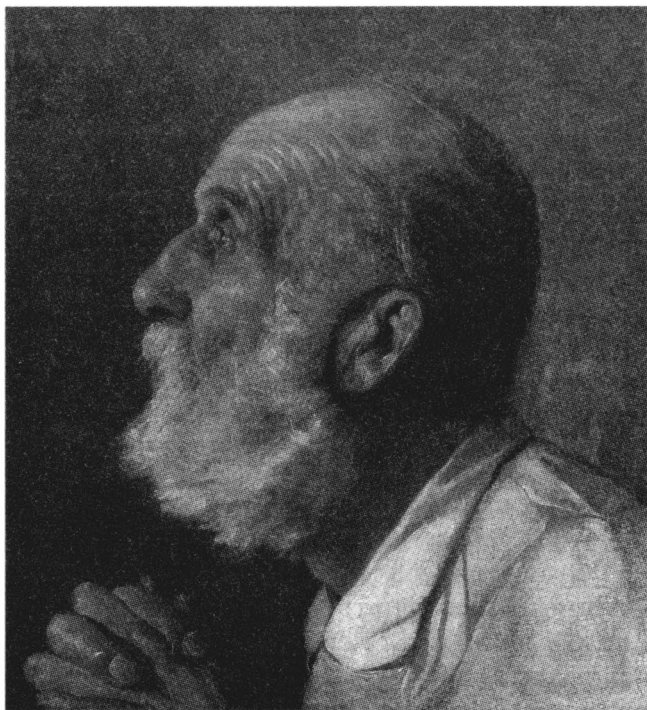
— Господи, помяни во Царствии Своем Ганса, Эльзу, Ирму. Или так: Ивана, Елизавету, Ирину. Прости меня, Господи, и благодарю Тебя, что дал мне возможность напоследок покаяться. Прости...

Сознание Ады окутала темнота, она уже не чувствовала своего тела, только губы напоследок дрогнули, и легкая улыбка озарила уже мертвое лицо.

ДЕД

Сегодня дед с утра почувствовал себя плохо. Щемило сердце, ныло раненое плечо, в правом виске постоянно пульсировала боль. Он долго лежал, потом с натугой встал и, шаркая ногами, пошел на кухню. Налил воды, но пальцы, онемев, разжались, и стакан упал на пол, рассыпался звонкими осколками. Из комнаты тут же выглянула невестка, пламенея ярко-красной головой (выкрасилась позавчера, дед тогда аж плюнул в сердцах: уже 50 лет — а все туда же). Невестка зло скривила губы, и ничего не сказав, громко хлопнула дверь. Дед, неловко нагнувшись, собирал остатки стакана. Он вдруг остро ощутил свое одиночество, подумал, что, наверное, зажился на этом свете, и уж пора ему ложиться в землю, которую когда-то так щедро полил своей кровью.

Первое свое ранение получил он под Смоленском, в самом начале войны. Немцы наступали, не давая передышки нашим войскам, пускали в ход авиацию, танки, пехоту. Их рота обороняла небольшую высотку уже третьи сутки. Держали из последних сил, вгрызаясь в землю. И тогда молоденький лейтенант поднял их в атаку. И дед, тогда еще безусый солдат — Сашка, рванувшись вперед, вдруг почувствовал, как что-то кольнуло в плечо. Он пробежал еще несколько шагов и упал, уткнулся лицом в траву. И уже теряя



Голова старика. 1874 г. Худ. Николай Кошелев

сознание, продолжал зажимать рану рукой, ощущая, как горячая кровь толчками выливается на землю. Тогда его спас Витька, школьный товарищ. Дружили с детства, сидели за одной партой и на войну ушли вместе, приписав себе в документах лишний год.

Витька тащил его до санитарной машины, и изредка, приходя в сознание, Сашка слышал, как он всхлипывал то тише, то громче, приговаривая: «Держись, ты только держись». Витька сдал его санитарам, а сам тут же убежал обратно, туда где, не умолкая, гремел бой. Дед смутно помнил, как везли их на

полуторке и рядом с ним в забытьи стонали такие же раненые, как он.

А Витьку дед так больше и не увидел. Уже после войны узнал, Витька погиб под Москвой зимой 1941 года. Сашка часто вспоминал друга: его щуплую фигуру, белесые волосы, голос. Но что странно, никак не мог вспомнить его лицо. Как будто что-то стерлось в памяти, оберегая душу солдата.

Сильно хлопнула входная дверь. Это пришел внук. И сразу же из комнаты донеслись звуки музыки. Тяжелый рок заполнил квартиру, надоедливо заползая в уши.

Внук вошел в кухню, грохнул на плитку чайник.

— Дед, хлеб подай.

Дед суетливо подошел к шкафу, открыл дверцу, но руки опять подвели его, и дверца с шумом закрылась. Невестка тут же вышла из комнаты, в сердцах выхватила хлеб у него из рук. Дед смотрел, как она зло режет буханку на куски. Вот со стуком поставила тарелку на стол, смахнув крошки в мусорное ведро.

Тогда, под Сталинградом, обороняясь, они знали, что надо, во что бы то ни стало отстоять город. Полевая кухня где-то застряла, а, скорее всего, разбомбили ее фашисты, и на третьи сутки старшина, достав всеми правдами и неправдами твердый брусок хлеба, аккуратно разрезал его на кусочки, бережно смахивая крошки в большую заскорузлую ладонь. Сашка так и не успел тогда откусить от него ни кусочка, он зажал его в руке, и тут фашистская пуля достала его. После операции, уже очнувшись в палате госпиталя, Сашка увидел на тумбочке пыль-

ный слипшийся кусочек хлеба. Он долго потом берег его, носил в кармане шинели, пока хлеб совсем не высох и не рассыпался в мелкие крошки.

Дед прошел в свою комнату. Вытащил из альбома фотографию покойной жены, вглядываясь подслеповатыми глазами в родные черты. Вспомнил, как после войны встретился с Ниной здесь же в родном городе. Он как-то сразу прикипел к ней душой, да и она отвечала взаимностью.

Дед прикрыл глаза, ясно увидел, как трудно пришлось им в первые годы. Работали вдвоем на стройке ради квартиры и только через пять лет получили вот эту — двухкомнатную. Сколько же радости тогда было. Через год родился сын Юрка. И они с Ниной долгими вечерами мечтали о том, как вырастет сын и будет жить лучше их, потом пойдут внуки, и в старости можно будет отдохнуть среди любящих людей. Нина бежала в церковь, просила у Бога, чтобы помог поставить Юрочку на ноги. Сама-то она уже тогда болела, родить больше не могла, хотя и мечтали они о большой семье. Вот и не могли надышаться на единственного сына. Вот и рос он своенравным и балованным. Когда маленький был, бывало с матерью, и в церковь ходил, и отца уважал, приставал с расспросами о войне. Дед сына оберегал, не дело мальцу такие страсти слушать. Потом уже, когда сын вырос, дед все мечтал о том, как сядут они с ним за стол, и он расскажет Юрке обо всем: и про Витьку, и про молоденького лейтенанта, и про своих однополчан, с которыми ходил в атаку, спал под

одной плащ-палаткой, хоронил друзей. Но Юрка захоронился в компании — девчонки, гитара, танцы. Все недосуг ему было.

Сын ушел в армию, потом сразу же привел невестку в дом. Стал нелюдимым, с отцом почти не разговаривал, а когда умерла Нина, как будто перестал замечать его. После работы ужинал и уходил в комнату, к телевизору.

Дед долго перебирал в шкафу свои боевые награды, хотел было зайти в комнату к сыну, но так и не решился. Он давно понял, что сын терпел его только ради большой пенсии, и если бы не это, доживать бы ему свой век в доме престарелых. Опять заломило висок, дед потер лоб рукой, но боль не отпускала.

И опять память бередила сердце. Форсирование Вислы. Сколько полегло тогда наших солдат. Не успела их рота закрепиться на другом берегу, как налетела стая мессершмиттов, сбрасывая на их головы тонны раскаленного металла. Солдаты наскоро окапывались, пытаясь удержать позиции. Эта бомба упала совсем рядом, и Сашка уткнулся головой в бруствер окопа, удивляясь, какая тишина вдруг наступила. Из ушей тонкой струйкой потекла кровь, и в голове вспыхивали миллионы ярких искр, вызывая страшную боль. Плацдарм тогда все-таки удержали. Ценой невероятных усилий, смертей, крови. Но выстояли и с боями продвинулись вперед. Но уже без Сашки. Уехал долечиваться в госпиталь.

Дед лег на кровать, хотел дотянуться до тумбочки, чтобы взять лекарство, но не смог. Он плотно сомкнул веки и вдруг совсем ясно

увидел Витьку, его лицо, веснушчатое, курносое, со смешно оттопыренными ушами. Витька широко улыбался, махая ему рукой. Дед счастливо вздохнул, и из-под неживых уже век, скатились холодные слезинки. Он не слышал, как в комнату вошел сын, склонился над ним и вдруг заплакал. Заплакал громко, не скрываясь, прижимаясь щекой к холодной дедовой руке.



УДАРНАЯ ГРУППА

Эти два дня в году были для Раисы Кирилловны самыми скорбными. Дни, наполненные воспоминаниями, слезами, сердечными переживаниями. Как, впрочем, и для многих людей, чьи семьи коснулась страшная война. А пришла война почти в каждую русскую семью, жила там в фотографиях, воспоминаниях, бережно хранимых письмах-треугольниках. У Раисы Кирилловны ничего этого не было. Скупые мамнины воспоминания да история войны, прочитанная в книгах. Ее отец Кирилл Гаврилович Кузьмин пропал без вести зимой сорок второго. Ни одно письмо солдата не дошло до их семьи, а маленькая пожелтевшая от времени карточка куда-то уже давно затерялась. Вот потому и горевала Раиса Кирилловна в День Победы, до которой не дожил ее отец, да в день его рождения, ибо ни даты смерти, ни места захоронения она не знала. А может, и не было даже холмика и сгинул боец бесследно где-то в лесах Калужской области, откуда и пришло в тот грозный год извещение.

Было Раисе Кирилловне в ту пору всего два годика, и, конечно, девчущка не понимала ни материнских слез, ни сдерживаемых всхлипываний старшего брата, ни скорбного черного платка, накинутого бабушкой. А когда подросла, принялась искать отца, вернее, сведения о нем. Безрезультатно.

— Господи, помоги, — не раз слышала Раиса Кирилловна горячую молитву матери, — хоть бы могилке Кирюшиной поклониться.

Время шло. Не дождалась мама, так и не смогла припасть к могильному холмику. Умерла поздней осенью, и Раиса Кирилловна горько рыдая о потере любимого человека, вспоминала и отца. А ночью ей приснился сон. Будто везет она на лошади в сторону кладбища два гроба. В одном мама, а в другом отец.

— Эх, девка, придется тебе еще и отца хоронить, — растолковала ей сон соседка, старенькая бабка Маня.

— Какое там, — махнула рукой Раиса Кирилловна, — с каких пор ищут, все без толку. Сгинул отец, пропал. Бои там были страшные. Немец к Москве рвался, аккуратно по Варшавскому шоссе напрямик и лез. А наши шоссе то держали. Вот где-то там и погиб. Видно, и похоронить по-человечески было некому. Мамочка все горевала об этом.

— А по сну выходит, что ты это и сделаешь. Похоронишь отца-то, — стояла на своем бабка Маня.

— Да ну тебя, — Раиса Кирилловна даже рассердилась немного на соседку. «Вот что городит? Почти шестьдесят пять лет прошло с начала войны и надежды, что след отца отыщется, — никакой».

Разумом понимала, а сердце тосковало. И молилась Раиса Кирилловна, просила Бога, чтобы ради памяти матери помог Он в поисках. Хотя уже, по правде сказать, перестала искать, не писала больше по инстанциям, а только ждала и верила. А чего? Знала,

что найти отца совсем надежды не осталось за давностью лет.

Только послал Господь ей такую милость, о которой Раиса Кирилловна за несовершенством веры своей и не помышляла. Как раз перед Днем Победы в ее домике прозвучал телефонный звонок. И отчего-то сразу екнуло сердце у старой женщины и застучало сильнее. Дрожащими руками схватила трубку, крепко прижимая к уху, словно боясь пропустить что-то важное. А новость, и в самом деле, была ошеломляющей. Звонили из маленького районного городка, что в Калужской области. Оказывается, ребята из поискового отряда нашли останки нескольких десантников, защищавших Варшавское шоссе, и в их числе отца Раисы Кирилловны.

— А как, как он погиб? — у женщины перехватило дыхание, и она прошептала эти слова, но на том конце провода ее услышали.

— В День Победы на мемориальном комплексе будет происходить захоронение, — мягко ответил ей женский голос, — если вы приедете, то мы организуем вам встречу с исследователями тех событий. Очевидцев, к сожалению, уже нет в живых.

И Раиса Кирилловна вместе с дочерью засобиралась в дорогу. Вначале они долго ехали на поезде, а потом от столицы автобусом по в начале шумному, а потом все более пустынному шоссе. Дорогу окружали густые леса, кое-где встречались деревушки, утопающие в цветущих садах.

«Господи! Папочка мой родной, — под шум мотора думала свои скорбные мысли

Раиса Кирилловна, — как же тебе не хотелось погибать! Молодой, сильный, красивый...»

В тот первый год войны исполнилось Кириллу Кузьмину тридцать два года, как и сейчас младшей дочери Раисы Кирилловны Наташе. Мама рассказывала, что был он веселым и заботливым, ценили его в колхозе за хорошую работу. Трудился Кирилл конюхом, и на селе тогда не было неуважаемых профессий. Уважали земляки своих односельчан за мастеровитость, за умение быть преданным родной земле, за тяжелый труд, вышибающий подчас не только пот, но и слезу. Но самые настоящие кровавые слезы полились и у мужиков, и у баб во время войны. Вот почему сейчас в благополучном мирном двадцать первом веке плакала Раиса Кирилловна, представляя своего молодого отца, вынужденного стрелять, убивать, терпеть лишения и тосковать о своих родных.

— Мапочка, — припала к ее плечу дочка, — теперь дедушку отпоют и предадут земле. Это же счастье... .

— Да, да, — соглашалась Раиса Кирилловна, а сама так и не смогла успокоить свое сердце. Чем ближе она подъезжала к этому городку, тем сильнее поднималась в ее душе волна противоречивых чувств: жалости и гордости за своего отца, отдавшего свою жизнь за Родину и столько лет пролежавшего в земле русской без погребения, но вот теперь вновь обретшего свою славу. Раиса Кирилловна и сама не могла понять, как в ее душе рождались такие высокопарные слова, не свойственные ей в обычной жизни. Но сейчас ей хотелось думать о найденных,

погибших в том сорок втором десантниках именно так.

Церемония захоронения была торжественной и очень волнующей. Проникновенные слова, много цветов, звуки оркестров. Но ничего этого Раиса Кирилловна не видела. Она смотрела на гроб, обитый красной материей, на котором был прикреплен листок с надписью: Кузьмин Кирилл Гаврилович, и не могла поверить, что наконец-то ее встреча с отцом состоялась. Пусть через много лет, пусть при таких вот скорбных обстоятельствах, но они именно сейчас, в эту минуту соприкоснулись душами, узнали друг друга и обнялись.

Раису Кирилловну вызвали к микрофону, и командир поискового отряда вручил ей личные вещи отца, найденные на месте гибели. Женщина трясущими пальцами перебирала покрытую бурыми пятнами капсулу, где находилась полуистлевшая бумажка с адресом. Ее собственноручно писал отец. Фиолетовые чернила местами расплылись, бумага обгорела по краям, но еще можно было разобрать многие слова, адрес, фамилию и имя мамы. А вот ржавый корпус часов, стрелки выскочили, а циферблат остался. Пряжка от ремня, солдатская ложка с нацарапанными на алюминиевой ручке инициалами: К.К.

Раиса Кирилловна слушала рассказ об обстоятельствах гибели ударной группы, где воевал тогда отец, и словно представляла себе и то заснеженное шоссе, и вой немецких снарядов, и крики раненых. Она была там, на передовой, вместе со своим отважным отцом и видела своими глазами, как он, сцепив зубы, держал бой.

— Слышь, дядька Кирилл, завтра меняем расположение, — протянул кисет Санька, молодой паренек в лихо сдвинутой на затылок ушанке.

— Чудак-человек, что ж ты меня дядькой-то величаешь, — улыбнулся Кирилл, — я ж тебя всего на десять лет постарше. Ну, может, чуть поболее.

— Мамка так учила, — застенчиво произнес Санька, — ты ведь женатый и дети у тебя есть. Стало быть, дядька.

Санька прибыл в их часть недавно в качестве пополнения и как-то сразу прибился к Кириллу, и тот старался опекать и поддерживать молодого бойца.

— Сам откуда будешь? — спросил Кирилл, скручивая папироску.

— Из-под Брянска, — охотно сообщил Санька, — в деревне мамка и пятеро братьев и сестер остались. Батя тоже где-то воюет. Поскорей бы и мне в бой.

— Выходит, необстрелянный еще? — Кирилл внимательно всмотрелся в круглое лицо, покрытое редкими веснушками. Рыжий завиток выбился из-под шапки, в серых глазах застыла удаль.

— Не-а, — подтвердил Санька, — сейчас слышал, как взводный говорил, что выходим завтра на позиции. Я их... — парень сжал автомат.

— Мать-то жива?

— Не знаю, — Санька сглотнул подкативший к горлу комок и отвернулся, — под немцем они были, писем давно не получал. —

Он сплюнул и лег ничком прямо на снег. Кирилл увидел, как дергаются у Саньки плечи, но ничего говорить не стал. Только опустил ладонь на плечо пареньку и легонько сжал. Крепись, мол, солдат.

На следующее утро перед полком выступил немолодой уже командир. Солдаты выстроились у кромки леса. Серая снеговая туча нависла над их головами, готовая вот-вот разразиться метелью. Конец января жал крепкими морозами и большими снегами, а теперь вот и поземками да метелями.

— Бойцы! — негромко начал полковник, — мы с вами совершили великое дело — погна-ли фашистов от Москвы. Это большая победа. Это радость для нас и наших близких, это шаг к нашей победе над врагом. Но немец не сдается, огрызается. Сейчас из-под Рославля идут огромные силы противника для подкрепления своим войскам. Мы не должны допустить этого. Иначе как мы будем в глаза смотреть матерям и детям нашим, женам и братьям, сестрам и отцам. Иначе как оправдаемся перед погибшими товарищами.

Подул резкий, колючий ветер, туча разом лопнула, и на головы солдатам словно сыпанули из мешка белой пылью. Ватники и ушанки тут же покрылись снегом, а за спинами звонко треснула огромная сосновая ветка.

— Слушай боевую задачу. Ударная группа должна выйти на Варшавское шоссе и задержать противника, — продолжал командир. Он внимательно осмотрел бойцов, — хотя бы на сутки, но задержать. В это время наши основные силы укрепят рубежи и не дадут фашистам взять реванш. Хотя бы на сутки, сынки!

Немного погода десантники выдвинулись вперед. Группу возглавлял немолодой уже полковник Кузнецов, успевший побывать в самом пекле боев.

— В три колонны становись, — скомандовал полковник, и бойцы быстро выполнили приказ.

Снег все лепил и лепил, и ветер швырял его в лица, по которым он тут же стекал прохладными струйками. Кирилл с Санькой стояли в головной колонне. Парень был сосредоточен и серьезен, и Кирилл подумал, что он стухнул.

— Не бойсь, — шепнул Кирилл необстрелянному солдату, — можа, и выживем.

— Да нет, ничего, — как-то неопределенно ответил Санька, улыбаясь слегка виновато. Кирилл оглянулся назад. Позади него, пытаясь идти стройно, но то и дело проваливаясь в глубокий снег почти по пояс, шагали десантники.

— Однако человек шестьсот будет, — прикинул на глазок солдат, — должны выстоять, пошерстить фашиста. Не журись, Санек, — подтолкнул он товарища локтем, — двум смертям не бывать, а одной не миновать.

На позиции вышли только к вечеру. Шоссе переметало поземкой, по краям безмолвно застыли огромные сугробы. Десантники углубились в лес, расположились на короткий привал. Доставали из вещмешков хлеб, банки с тушенкой.

— Эх, сейчас бы горяченького похлебать, — с тоской воскликнул кто-то.

— Ага, — весело подхватили бойцы, — может, тебе и теплую печку да жинку под бок.

— Нету жинки, робята, — черноусый солдат, который мечтал о горячих щах, повесил голову, — у сестры в Бресте гостила с дитем в июне сорок первого. Никого нету у мене.

— И мои погибли, — откликнулись изда-лека.

— А у меня брата и сестренку в Германию угнали, проклятые...

— Батька с первых дней на войне...

— О моих ничего не известно...

Со всех сторон неслись негромкие печаль-ные голоса.

— Тихо, — шикнул лейтенант, — для того и пришли сюда, на верную смерть, чтобы не смогли фашисты и дальше звер-ствовать на нашей земле. За это и погиб-нуть не страшно.

Кирилл почувствовал, как к его плечу приник Санька.

— Ничего, ничего, — шепнул он парень-ку, — помирать никому не хочется, только ведь, сам понимаешь, не можем мы иначе. Я не могу...

— И я... — всхлипнул Санька, — и не дюже-то боюсь, просто мамку вспомнил.

— Ты того... на рожон не лезь, — обнял сво-его друга Кирилл, — возле меня держись.

Он на секунду прикрыл глаза и горестно вздохнул. «Господи, мальчишка ведь совсем. Какая ему война?»

— Немецкая автоколонна в пяти кило-метрах отсюда, — передавали бойцы по ря-дам, — приготовиться к бою.

Видимо, разведчики вернулись, и вове-мя. Группа заняла оборону по обе стороны шоссе.

— Окапываться некогда, — отдал приказ полковник, — да и не к чему, стоим до последнего... .

В ночной тишине ясно слышался шум приближающихся моторов, вдали полоснули лучи фар. Голубоватый снег зловеще вспыхнул красными искрами.

Кирилл приготовил связки гранат, автомат. Санька надвинул шапку пониже на глаза и крепко сжал губы. Поодаль на лесной опушке замер в ожидании оружейный расчет. Ими командовал невысокий юркий лейтенант.

— Орудия к бою, — донесся до Кирилла его низкий голос.

— Огонь, — крикнул Кузнецов, когда немецкая колонна подошла совсем близко.

В пылу боя Кирилл потерял ушанку, от разрывов снарядов заложило уши. Он стрелял, что-то кричал, бежал, падал ничком, все время держа в поле зрения Саньку. Тот так и не расцепил губ, бил и бил из автомата по выскочившим из машин фашистам.

Немцы отступили. Кирилл и не заметил, что ночь уже давно закончилась, прекратилась метель, холодное солнце выглянуло из-за тучи, а снег вдоль дороги окрасился в красный цвет.

Бойцы устало опустились в сугробы. У Саньки слегка подрагивали руки, по подбородку из закушенной губы стекала капелька крови.

— Герои, все герои, — сипло проговорил Кузнецов, осматривая поредевшую группу, из шестисот осталась половина. — Сейчас они снова попрут, но наша задача держать, держать шоссе. Я верю в вас, верю...

Голос у Кузнецова сорвался. Он взглянул на раскиданные по обочине тела убитых и раненых.

— Раненым помочь, а погибших... погибших, потом похороним, когда... — полковник вновь замолчал, а потом задрав голову к небу что-то тихо прошептал.

— Богу молится, — определил Санька.

— А ты почему знаешь? — удивился Кирилл.

— А у меня батяня так Бога просил, когда тяжело становилось. Выйдет, бывало, во двор, поглядит на небо и молитвы шепчет.

— А ты? Верующий? — Кириллу почему-то захотелось, чтобы этот бесхитростный паренек верил в Бога и чтобы Тот помог ему выжить, а заодно и удержать им шоссе. Погибнуть, но удержать. Многим погибнуть. А Санька пусть живет.

— Верующий, — подтвердил Санька, — только в школе-то запрещали, и я это... тайно. Крестик вот маманя в подкладку зашила. Ничего, говорила, что в исподнем он будет, это не грех. Совсем без креста — это страшно, не можно, а что в подкладке не грех.

— А ты помолись Санька, помолись, — горячо зашептал Кирилл, — попроси Бога-то, чтобы выстоять нам тут, немца не пропустить.

— Так я все время молюсь, — улыбнулся Санька, — дома просил Бога, чтобы выучиться да в жизни человеком стать, а теперь вот, чтобы фашиста одолеть.

— И чтобы жить, Санька, чтобы жить. Ты выживи... уж постарайся.

— Я и за вас прошу, дядька Кирилл, — паренек еще раз доверчиво улыбнулся.

— Ну, тогда с Богом, — откатился за сугробом Кирилл. На шоссе вновь показались немцы.

И вновь огонь, кровь и смерть. Только к вечеру стрельба затихла. Устало потирая глаза, Кузнецов негромко проговорил, да и кричать не было необходимости: бойцов осталось чуть больше сотни.

— Отдыхаем. Сейчас они не сунутся, слишком сильно мы их потрепали. А вот утром снова полезут.

Пошли уже вторые сутки, как десантники удерживали шоссе. Замерзшие, голодные, по пояс в снегу, они били и били фашистов, и хотя несли большие потери, но стояли насмерть, не думая уходить с занятых позиций. На третий день с рассветом бой возобновился. Немцы лавиной шли по шоссе.

— Отступаем по красной ракете, — Кузнецов оглядел оставшихся бойцов, — вяжемся в бой, пощекочем им нервы и отходим.

Головной немецкий танк метким ударом разбил одно уцелевшее орудие, но и сам был подбит: кто-то из бойцов метнул гранату прямо под гусеницы. В самый разгар боя Кирилл понял, что потерял Саньку. Солдат повертел головой, но друга не было видно. «Неужели убит?» — подумал с горечью, и вдруг вдали увидел рыжие завитки припорошенные снегом. Санька нашел укрытие за раскидистым кустом и оттуда строчил по немцам.

— Слава Богу, — прошептал Кирилл слова, которые никогда не произносил в своей жизни. Он повернулся, чтобы побежать к Саньке, и вдруг горячий кусок свинца ударил

его навылет в голову. Падая, Кирилл увидел красную ракету, повисшую в небе.

«Выживет, успеет...» — это были последние мысли, которые промелькнули в голове Кирилла. Его сознание угасало, и только на мгновение перед его глазами возникли лица жены Мавры и деток: Васятка, Андрюшка, Раечка. «Прощайте, родные», — хотел сказать, но не смог.

Крупные хлопья снега ложились на его лицо и уже не таяли, а двенадцать оставшихся в живых десантников во главе с полковником Кузнецовым спешно отходили: они свою задачу выполнили.

* * *

Вот и получилось, что сбился сон Раисы Кирилловны, и сейчас, через много лет, Господь сподобил ее похоронить своего отца, поплакать над его могилкой, взять мешочек земли с места захоронения.

Стоя над свеженасыпанным холмиком, Раиса Кирилловна знала, что теперь у нее есть место, куда она сможет приехать в скорбные дни своей жизни. И пусть отец похоронен далеко от ее нынешнего места жительства, но память, память с ней останется навсегда.



ТАНИНА ВОЙНА

Когда началась война с фашистами, Татьяне Сергеевне исполнилось тридцать. Была она стройной и необыкновенно красивой женщиной. Темные, блестящие волосы крупными локонами спускались на плечи, глаза цвета спелой вишни — яркие и выразительные искрились радостью и счастьем, пухлые, улыбающиеся губы, озаряли лицо с нежной, бархатной кожей.

Незнакомые мужчина заглядывались на Татьяну Сергеевну, но она лишь виновато улыбалась, качая головой, когда некоторые из них пытались заговорить с красавицей.

Была Татьяна Сергеевна счастлива в браке, мужа любила, имела полную уверенность в его ответных чувствах, поэтому никакие новые знакомства ее не интересовали. Кроме того, все знакомые знали Татьяну Сергеевну как большую умницу, в ней удивительным образом сочетались красота, обаяние и скромность, что нередко бывает просто несовместимым. В жизни Татьяна Сергеевна придерживалась тех нравственных норм и правил, которые ей привили родители, простые люди: мама трудилась ткачихой на фабрике, а отец сталеваром в прокатном цехе. Но жизненные основы для своей дочери они заложили правильные: стараться быть честной, помогать нуждающимся, хранить верность в браке. Еще Татьяну Сергеевну отли-

чало большое чувство ответственности и любовь к детям. Не случайно сразу после школы поступила в педагогическое училище, а после окончания стала воспитательницей в одном из детских домов Ленинграда.

— Готовлю тебе характеристику в институт, — сказала ей однажды заведующая Ольга Петровна — солидная дама, до сих пор носившая пенсне и всем писателям предпочитавшая Чехова.

— Ой, смогу ли? — заволновалась Татьяна Сергеевна.

— Обязательно сможешь, — Ольга Петровна отложила ручку, — будешь учиться заочно и работать. А глядишь, со временем и меня заменишь.

— Вот скажете тоже, Ольга Петровна, — засмушалась Татьяна Сергеевна, пунцовея от похвалы, — вам еще работать и работать.

— Здоровье не то, да и возраст сказывается. Так что готовься и... вперед, — Ольга Петровна задорно подмигнула молодой сотруднице и тихонько пригладила седые волосы.

В институт Татьяна Сергеевна поступила с первого раза: сказала хорошая учеба в школе и училище. В вузе сразу же показала замечательные способности, и преподаватели даже уговаривали подумать об аспирантуре. Но научная деятельность Татьяну Сергеевну не прельщала, она была очень довольна своей работой и менять ее не собиралась. Правда, видеть каждый день печальные глаза маленьких сирот было тяжело, порой нестерпимо, вот потому и старалась воспитательница порадовать детишек или

веселой песенкой, или испеченным сладким пирогом с яблоками, или ласковой улыбкой. У Татьяны Сергеевны на попечении находилась самая младшая группа — от трех до пяти лет. Малыши ее обожали и многие называли «мамой Таней». Ну а друзья, знакомые и родные звали с полным правом Танюшкой, Танечкой и Татьянкой, поскольку та была еще очень молода, красива и весела.

Танюшу переполняло счастье: она радовалась и солнечному, и дождливому утру, быстрому говорку сынишки, нежной улыбке мужа, старому клену, растущему во дворе, и тоненькой травинке, упрямо пробивающейся сквозь асфальт.

Муж Танюши — Сергей трудился на заводе слесарем и, несмотря на то, что прожил с женой почти десять лет, сумел сохранить к Тане нежные и трепетные чувства.

— Я люблю тебя, — говорил он жене каждый раз утром или вечером, когда возвращался с завода.

— И я тебя, — отвечала Танюша, радостно улыбаясь.

— А я тебя сильнее, — вступал в шутливую перепалку Сергей.

— Нет, я сильнее, — поддерживала веселую игру Танюша.

— Докажи, — хитро прищурился Сергей.

Таня тащила мужа в комнату, где уже исходил ароматами горячий ужин на столе. Они предпочитали ужинать не на коммунальной кухне перед перекрестными взглядами соседей, а в своей маленькой комнатке на седьмом этаже.

— Принимается, — довольно потирал руки Сергей и вытаскивал из-за пазухи маленькую деревянную фигурку женщины, вырезанную им во время обеденного перерыва, — а вот мое доказательство.

Женская фигура была удивительно похожа на Татьяну, и та бережно принимала из рук мужа подарок. Сергей еще со школьных лет увлекался резьбой по дереву и порой из его рук выходили изумительные шедевры. Их на полке в комнате скопилось уже достаточно много, и Таня любила перебирать их, вспоминая, что связано с той или иной фигуркой.

Сергей, зная, сколько душевных сил приходится вкладывать жене в работу, старался помочь Танюше в домашних делах: иногда и ужин приготовит, и с сынишкой погуляет, и посуду помоеет. Маленький Николаша — тихий ласковый малыш четырех лет, любил такие прогулки с отцом. Но более всего бывал в восторге от совместных походов в зоопарк или прогулок по аллеям города, когда можно было шагать, держа маму и папу за руку, весело подпрыгивая и время от времени задирая голову, чтобы увидеть милую мамину улыбку и отцовские любящие глаза. А еще все вместе любили собираться на кухне за вечерним чаем или в гостиной, где каждый занимался своим делом: Николаша рисовал, Таня вязала или вышивала, а Сергей читал.

Война в одночасье разрушила тихий, спокойный мир их семьи. Беда ворвалась в дом стуком солдатских сапог по мостовой, прощальным взмахом руки на вокзале во время проводов Сергея на фронт, грозными надпи-

сями «Бомбоубежище», появившимися на домах Ленинграда.

Горели бадаевские склады, сразу стали прорываться самолеты и сбрасывать зажигалки. Жильцы по очереди дежурили на крышах и их тушили.

— Дорогая моя, надо готовиться к эвакуации, — в один из дней, сообщила Татьяне заведующая. И это ее обращение, и растерянный взгляд, и волнение, выдаваемое дрожанием пальцев, говорили о серьезности ситуации.

— Может быть, обойдется, Ольга Петровна? — выразила робкую надежду Татьяна.

— Ну, какое обойдется, Танечка? О чем ты говоришь? В райкоме партии вообще говорят о скорой блокаде. Так что надо спешить. У тебя всего два часа. Состав уже готов, — Ольга Петровна взяла себя в руки и вновь была деловита и собрана: — Назначаю тебя старшей вместо себя. Приказ подготовлю.

— А вы? Вы разве не едите? — в сердце Татьяны закралась тревога.

— Нет, деточка, — покачала головой Ольга Петровна, — райком партии оставляет помогать в эвакуации других детских домов.

Так получилось, что до войны нигде, кроме Ленинграда, Таня не бывала. Выезжала иногда на дачу, пока мама была жива, а после ее смерти продала домик в деревне и довольствовалась прогулками по шумным улицам большого города.

Поэтому поездка страшила ее, да еще в такую пору, к тому же с детьми и в качестве исполняющий обязанности заведующий. В ответ на ее опасения, Ольга Петровна сказала жестко:

— Это война, Таня. Война. Теперь все время будет страшно, и ничего не остается делать, как преодолевать этот страх.

Она обняла ее, как маленькую погладила по голове и шепнула:

— Детей береги. И сама не плошай.

На сборы оставалось совсем мало времени, и Татьяна едва успела сложить кое-какие свои и Николашины вещи и помчалась в приют. Машины уже были поданы к подъезду, малыши испуганно озирались вокруг, старшие были сосредоточены и серьезны. Каждый держал в руках небольшой узелок с необходимой одеждой и едой на первое время.

Состав уже стоял у перрона. И Таня металась в толпе орущих людей, стараясь, чтобы погрузка воспитанников их детского дома прошла как можно быстрее.

— Елизавета Серафимовна! — кричала она воспитательнице старшей группы. — Наши вот эти два вагона. Отправка через несколько минут. Торопитесь.

— Да, да... да, да... — грузная женщина растерянно поправляла очки в роговой оправе, — мы уже почти закончили.

Таня заметила Ольгу Петровну. Она приехала на вокзал, проследила за посадкой ребятишек в вагоны, дала последние напутствия. На прощание она обняла Татьяну.

— Ну, с Богом! — шепнула.

— А вы разве?... в Бога? — удивилась воспитательница, но в это время прозвучал резкий гудок паровоза, и Татьяна вошла в свой вагон. Ребятишки окружили ее со всех сторон, встревоженно гадя и вскрикивая.

— Мама Таня, а там войны нет? — Светочка Пыжикова неопределенно махнула рукой в сторону. Девочка была самая старшая в группе. Ей уже исполнилось шесть, но Татьяна уговорила заведующую не переводить пока Свету. Та сильно была привязана к «маме Тане» и любые разговоры о том, что девчужке надо переходить к другой воспитательнице, вызывали у Светы истерику.

Татьяна слабо улыбнулась, вспомнив, как нашли Светочку три года назад под дверями детского дома в ветхом пальтишке и облезлой мужской пыжиковой шапке. Никаких документов при ней не обнаружили. Сомнений в том, как назвать девочку не было. Та оказалась светловолосой с большими синими глазами и белой, словно светящейся изнутри кожей. Ну а фамилию Светочка получила по той самой ушанке, с которой почему-то не хотела расставаться долгое время: на ночь клала под подушку, а днем требовала надевать шапку, когда все дети шли на прогулку. Девчужка очень привязалась к воспитательнице, да и Татьяна отличала ее от других детей. Видимо потому, что чувствовала необычную тяжелую судьбу у этой крохи, рано нарушенную психику и желание девочки получить как можно больше ласки, видимо не хватавшей ей все это время.

— Нет, Светочка, там, куда мы едем, войны нет, — Татьяна поправила Светины жидкие косички и добавила совсем тихо, чтобы дети не слышали, — пока...

Паровоз еще раз прогудел. Ее малыши испуганно сбились в кучу, подле Тани. Она успокаивающе гладила их по головкам, го-

ворила какие-то ласковые слова. Волнения сегодняшнего дня сделали свое дело. Ребя-тишки клонили головы, сонно прикрывали глаза.

— Света Пыжикова, присмотри тут. Я пойду начальника поезда поищу, — устало проговорила Татьяна.

— Хорошо, мама Таня, — подняла на нее серьезные глаза девочка.

Начальник поезда отыскался в головном вагоне. Им оказался невысокий худощавый мужчина лет шестидесяти, прихрамывающий на одну ногу. У него были усталые глаза, в которых затаилась тревога.

— Товарищ железнодорожник, скажите, куда направляется состав? — У Татьяны от напряжения звенел голос. — Нас там разместят? Накормят?

— А я почему знаю? — сурово оборвал он ее. — Куда прорвемся...

— Да как вы смеете? — в словах Татьяны зазвучали слезы. — Там же дети... женщины... там... там...

— А ты на меня не напирай, ишь ты выискалась, пигалица какая. Ситуация меняется каждый час... каждую минуту. Только что наши обороняли Лугу, теперь вот немцы уже пытаются занять Красное село, — неожиданно старый путеец слегка обнял Таню, — на ближайшей станции вас буду ждать полуторки. Всех вывезем, всех... Ты иди, успокой своих деток. А у меня тут целый состав на мне.

До станции поезд не доехал. Рано утром остановился в небольшом лесу. Рядом вилась лента проселочной дороги, перезрев-

шие травы склонялись от тяжести росы, а в глубине чащи стучал клювом о ствол дерева дятел.

Таня выглянула в окно. Все, что случилось с ней в последнее время, наверное, не более, как сон. Разве может такое розовое, свежее утро быть сопоставимо со словом «война»? Разве могут эту рожицу с молодыми, шумящими на ветру березками изрекошетить пули? А тот цветущий луг изрыть снаряды? Да конечно, все это Тане снится! Неправда, что идет война. Вон как уверенно трепещет крылышками под нежаркими еще лучами солнца ранняя бабочка. А как умирительно нежно звенят на высоких стволиках «кукушкины слезки»! И какое невесомое облачко плывет в вышине ярко-голубого неба.

— Старших вагонов ко мне! — вдоль поезда, придерживая рукой фуражку, бежал начальник.

Предчувствуя что-то страшное, Таня спрыгнула на землю.

— Что случилось, Евсей Павлович? — негромко, как-то страшно спросила проводница их вагона.

— Станция под немцем, — запыхавшись ответил тот, держась за сердце. Он заметил Таню, — но машины успели выйти со станции сюда.

Как бы в подтверждение его слов, поднимая за собой облако пыли к вагонам неслась полуторка.

— Сначала только дети, — распорядился Евсей Павлович, — только дети.

— Татьяна Сергеевна, — к молодой заведующей подошла Елизавета Серафимовна, —

давайте прежде малышей, я думаю. А мы на следующую машину.

— Быстрее, быстрее, — махнул рукой начальник состава.

Тане помогли пожилой водитель машины и сам Евсей Павлович. Они вытаскивали детей из вагона и подавали на кузов. Там их принимала Таня. Дети спросонья терли глаза, некоторые заплакали. Таня отыскала глазами Николашу. Тот крепко держал за руку Свету Пыжикову и изо всех сил старался не разреветься. Вот шофер поднял Николашу и передал матери, следом поднял и Свету. «Все», — с облегчением подумала Таня. Вдали показались еще машины.

— Отводите машину вон за ту рощу, а я помогу с погрузкой остальных детей, — распорядилась Таня, собираясь покинуть кузов. Но дети, словно почувствовав опасность, намертво вцепились в свою маму Таню, исходя истощенным криком.

— Вы поезжайте с ними, — вновь выступила вперед Елизавета Серафимовна, — успокойте их там и вернетесь, а мы пока начнем.

Старая воспитательница то теребила подол своей шерстяной юбки, то вытирала влажными пальцами стекла очков. Она проработала в детском доме всю жизнь. Своей семье так и не завела, зато всю любовь перенесла на этих несчастный детей-сирот. Елизавета Серафимовна была коренной ленинградкой, всю жизнь прожила с мамой, а когда той не стало, оказалось, что воспитательница абсолютно не приспособлена к жизни. Даже мелкие хозяйственные заботы, с которыми другие хозяйки справляются моментально,

вызывали у нее беспомощность. Так, Елизавета Серафимовна не умела заштопать чулок, сварить бульон, яичница у нее бесконечно пригорала, а чайник выкипал. Но зато Елизавета Серафимовна могла без устали разучивать с детьми веселые песенки, придумывать интересные постановки и ходить в походы. И ребятишки платили своей воспитательнице за это безмерной любовью.

Таня отметила про себя, что всегда аккуратная Елизавета Серафимовна, даже в такой трудной дороге постаралась выглядеть безупречно: прямая юбка из синей шерсти, темная блуза с прямым высоким воротником и жакет с большими пуговицами. В другое время она могла бы выглядеть в таком наряде, несмотря на свою полноту, очень элегантно. Но беспокойство за жизнь детей пригнуло ее к земле, прибавило несколько суетливых движений, и то и дело вышибало слезу из глаз.

— Елизаветочка Серафимовна я сейчас же назад. Сейчас же, — Таня махнула сотруднице из кузова.

— Да, да... да, да... Танечка, — Елизавета Серафимовна грузно повернулась и пошла к вагону.

Ребятишки отчаянно ревели и никак не хотели успокаиваться. А время не ждет.

— Света?! — умоляюще посмотрела на девочку Таня.

— Ага, — та, как обычно, поняла свою маму Таню с полуслова.

— А давайте песенку споем, — громко, чтобы перекрыть орущих малышей крикнула она, — ту, что к празднику разучивали, — и сама тут же звонко затянула:

Вся страна весенним утром,
Как огромный сад, стоит,
И глядит садовник мудрый
На работу рук своих.

Малыши нестройно принялись подтягивать ей. Шофер притормозил под горушкой. Таня выбралась из кузова и направилась было к поезду, но в это время в небе, словно стая черных огромных птиц, страшно воя появились немецкие самолеты.

— Ложись, — крикнул водитель. Таня ткнулась лицом прямо в пыльную дорогу, но потом повернулась и кинулась назад в машину. Дети! Малыши, оцепенев сидели на полу кузова и расширившимися глазами в которых плескался ужас и растерянность, смотрели как прямо с неба сыплются множество маленьких и больших черных предметов, которые тут же превращают все вокруг в груды земли и огня. Ребяшня даже плакать не могла, лишь замерла, не сумев отвести взгляд от страшного зрелища.

Через несколько минут на месте поезда осталось только несколько пылающих вагонов.

— Света, посмотри, я быстро, — Таня помчалась к пожарищу.

— Куды, куды? — заорал на нее водитель, — немчура на второй заход возвращается, — и, схватив женщину за руку, он потащил ее назад.

Все вокруг будто скрылось под градом черных снарядам. Закрыв лицо руками, Таня сипло прокричала водителю:

— Поехали скорей.

Последнее, что она видела, когда машина нырнула вниз под гору, это кусок синей шерстяной материи, повисшей на ветках дерева.

Полуторка катилась по лесной ухабистой дороге, удаляясь от того ужаса, который пришлось только что пережить этим мирным людям. Дети по-прежнему молчали, и это не мешало Татьяне думать, хотя больше всего ей сейчас хотелось забыться, заснуть и вынырнуть из забытья уже в мирное время. Но мысли упорно лезли в голову. Если они сейчас стали свидетелями такой страсти, то что говорить о наших солдатах в самых гущах боев. Сергей?! Как он? Где? Жив ли? И что будет дальше с ней и детьми?

Водитель притормозил подле группы высоких раскидистых деревьев, подал Тане канистру с водой.

— Не кипяченая только, — проговорил виновато, — поди, нельзя дитяам-то... Меня Семеном Гавриловичем зовут, а попросту дядькой Семеном.

— Таня, — машинально ответила молодая женщина.

— Ты вот что, — Семен Гаврилович кашлянул, — горевать не время нонче. У тебя вон сколько ребятишек на руках. Об них думать надо. А коль начнешь плакать да убиваться, то можно и не выдюжить. Это дело известное.

— Куда мы едем? — прошептала Таня, положила руку Николаше на голову и поглаживая его светлые мягкие волосенки. Тот, как котенок, жался к матери, ручки словно плечочки повисли вдоль тела, так устал и перепугался, сердечный. Света Пыжикова приль-

нула к маме Тане с другой стороны, и тоже вся обмякла.

И вновь, как совсем недавно начальник поезда, дядька Семен ответил:

— Не знаю. Немцы кругом. Только рассуждаю до ближайшей деревни двигать надо. Малышня умаялась, да и нам отдых нужен.

— А если там немцы? — встрепенулась Татьяна, в смятении оглядывая детей. Некоторые из них лежали на дне кузова, другие сидели, держась друг за друга. У всех бледные, вытянувшиеся лица и изможденный вид.

— А нам, дочка, все одно выхода нет. Не будем же мы малых до бесконечности возить. Пристаннице нужно. А там уж как повезет, — дядька Семен поправил кепку, провел рукой по лицу и захлопнул дверцу кабины.

Вскоре невдалеке послышался собачий лай, и полуторка выкатила на пустынную деревенскую улицу. Семен Гаврилович проехал еще немного и притормозил возле добротной избы с высоким крыльцом, угадав, что здесь, скорее всего, находится сельский совет, а значит и местное начальство. Через некоторое время из дома в сопровождении солдат вышел немецкий офицер и направился напрямик к машине. У Татьяны тревожно забухало сердце, но она пригладила волосы и решительно спрыгнула на землю навстречу офицеру. Тот слегка покачиваясь на высоких ногах, обтянутых черными галифе смотрел на нее пристально и холодно. Его тонкие губы были плотно сжаты и, несмотря на гладко выбритое лицо, на вид ему можно было дать лет шестьдесят. Окружавшие его солдаты плотоядно посмеивались, глядя на

уставшую, выпачканную в грязи, но все равно такую красивую молодую женщину.

— Ви есть кто? — четко выговаривая слова, спросил офицер.

— Я сопровождаю детей. Наш эшелон разбомбили. Дети очень устали и хотят есть, — У Тани все дрожало внутри, но она старалась говорить четко и спокойно.

— Эти дети фройлен? — приподнявшись на цыпочки, гитлеровец заглянул в кузов, потом насмешливо присвистнул.

— Это дети-сироты, из детского дома, мы из Ленинграда, — Таня почувствовала легкую испарину на лбу.

— Ленинград совсем скоро станет немецким, — офицер приподнял бровь. В глубине его зрачков Таня увидела что-то похожее на жалость.

— Дяденька, не убивайте нас, — негромко крикнула Света Пыжикова, приподнимаясь в кузове.

Заложив руки за спину и все так же медленно то поднимаясь, то опускаясь на носки на пятку, офицер долго молчал, глядя поверх Таниной головы. Потом глянул на нее в упор.

— Выходит, не хотите умирать? — спросил с еле уловимой иронией.

— Дети должны жить, — едва слышно ответила Таня, — они ни в чем не виноваты.

— А вы? — и вновь в глазах офицера что-то такое промелькнуло. — Ведь фройлен такая молодая.

В это время над головой Татьяны громко крикнула какая-то птица, и она, подняв голову, вверх долго следила за ее полетом.



За молитвой. 1850 г. Худ. Яков Капков

— Карашо. Вам надо оставаться пока тот дом, — немец указал на покосившуюся хатку, крытую щепой. Затем он, круто повернувшись на пятках, зашагал в штаб.

Чувствуя, как обмякли руки и ноги, Татьяна облегченно вздохнула.

...На пороге избы ее встретила согнутая старуха в повязанном по самые брови темном платке.

— Проходите, проходите, касатики. Ах, Ты ж, Господи! Слава Тебе! Не попустил беды. Несите робяток сюды, — она суетливо распахнула дверь, пропуская Таню и дядьку Се-

мена с детьми на руках. Кое-кто из малышей шел сам, некоторых же пришлось нести, так они ослабли.

— Меня бабой Шурой звать. Одна я туточки. Все деревенские уехали, а решила: чего ж мне старухе куды-то трогаться. Тута родилась и помру здесь, — баба Шура принялась расстилать на полу одеяла и лоскутные покрывала, — давай сюды пока. Ой вы мои, голубки, ой вы мои золотенькие. Натерпелись лишенька, не смотри, что совсем малые. Ну, ничево, щас мы вас вымоем, да покормим. У меня картоха сваренная есть, и быстренько еще поставлю. Сдалече вы?

— Из Ленинграда. Эшелон наш разбомбило. Вот только мы и остались, — у Тани дрогнул голос.

— Господи помилуй! — закрестилась старуха, потом обняла Таню, поглаживая ее по спине. — Ничево, ничево, Господь с нами. Молиться только надо. Крещеная ли? Я-то всегда в Бога. Только не давала власть-то наша. Ох, что творилось! И иконы отымали, и попов сажали, и на собраниях нас верующих ругали. А у меня свое: Бог есть. И сынкам своим крестик в подкладку зашивала, чтоб значит, не смущались да насмешек не терпели.

Баба Шура говорила и говорила, но это нисколько не раздражало Татьяну, а наоборот действовало успокаивающе, отвлекало от воспоминаний. Хозяйка между тем намыла целый чугунок картошки и сунула в печь. Та уже потрескивала березовыми поленьями, распространяя уютное тепло.

— В школе ведь тож за леригию гоняли, — бабка достала с полки мешочек с су-

харями и бросила горсть в миску с водой, — как пришло время робятам моим в пионеры вступать: они в слезы. Заставляют, мол. Что делать, мамка? А я так рассудила. Снесла ихние галстуки отцу Федору в соседнее село: окропи, мол, батюшка, святой водой, чтоб искушения не терпеть да грех к нам не пристал.

Впервые за долгое время Татьяна засмеялась. Бабка Шура вторила ей мелким, дребезжащим смешком. Улыбнулся в усы и дядька Семен.. Он принес из сеней большую деревянную лохань и теперь готовил все необходимое для купания малышей.

— Сыновья на фронте, наверное? — спросила Таня.

— С первых деньков, — засморкалась в фартук баба Шура, — погодки они у меня. Вместе и ушли. Хозяин мой помер еще до войны, с первой империалистической весь изранетый пришел, хворал сильно. А невестки с дитями, как война началась, уехали в эвакуацию. И то верно! Пришли сюда немцы — чисто страсть! Лопочут по-своему, по дворам да погребам шастают. У меня всех курей забрали и кабанчика закололи. Слава Богу, хоть саму не тронули да избу не заняли, а по другим-то хатам живут, немчура проклятая.

...Страшный этот день подходил к концу. Были вымыты и накормлены дети, и теперь посапывали, временами беспокойно ворочаясь и вскрикивая во сне кто на печке, кто на кровати, а большая часть вповалку на полу. Семен Гаврилович обосновался в сенях, Татьяна баба Шура постелила на сундуке, и

всю ночь в чутком Танином сне горели и взрывались вагоны поезда, что-то кричал Евсей Павлович, а перед глазами трепетал лоскут синей материи, зацепившийся за ветку дерева.

Утром Таня поила с ложечки горячим отваром самого маленького из группы — Илюшу Петрова, который всю ночь метался в жару, когда в избу, пригнувшись, вошел вчерашний офицер. Таня вздрогнула и нервно обернулась на детей.

Гитлеровец смахнул рукой в перчатке невидимую пылинку с самодельной табуретки и сел, заложив ногу за ногу.

— Я есть полковник германской армии фон Гофрид Рихтер, — не снимая фуражки, он слегка наклонил голову вниз и вопросительно уставился на Таню.

— Таня... Татьяна Воронина, — Таня передала Илюшу бабе Шуре и замерла в ожидании.

— Вам и детям будут давать немного еда из солдатской столовой, фройлен Танья, — Рихтер принялся барабанить пальцами по столу. Таня напряженно следила за этим ритмом и молчала. Он тоже не спешил говорить. Окинул взглядом комнату, рассматривая внимательно детей, притихших в сторонке, закопченную печь, икону на стене.

— Мы должны были начать эта война, — сказал наконец громко, отчего Илюша на руках у бабы Шуры тоненько заплакал.

— Почему? — удивленно прошептала Таня.

— Нацистская теория не предусматривает существования на земле людей второго сор-

та, — Рихтер многозначительно посмотрел на Таню.

— Почему же тогда вы нас не расстреляли? — вырвалось у нее. И тут же Таня очень испугалась. Что она говорит? Ведь за ней стоят дети, совсем крохи, которые еще и жизни не видели.

И вновь повисло долгое молчание.

— Знаете, Таня, некоторые основы политики Гитлера я тоже не одобряю и не принимаю. Но я солдат. Старый солдат. И привык повиноваться приказам. — У Рихтера вдруг остро обозначился кадык и начал слегка подергиваться левый глаз.

— Даже самым нелепым? — тихо спросила Татьяна.

Фон Гофрид резко встал и, не прощаясь, вышел из избы. Но через день он пришел снова. Сел так же на табурет, поколачивая пальцами и сверля глазами Таню.

— Что с Ленинградом? — наконец осмелилась спросить она.

— Город в блокаде. Его взятие дело времени.

Таня приложила ладони к пылающим щекам. Неужели? Неужели? Неужели?

— Помогите, Господи! — услышала она за спиной шепот-вдох бабы Шуры, и ей сразу стало легче. Что там баба Шура говорила? Надо молиться, просить Бога и Он не допустит, не даст, не позволит фашистам захватить Ленинград, Москву, страну. И сохранит детей, ее, Сергея, и бабу Шуру, и дядьку Семена, и... .

Таня подняла глаза на икону Божьей Матери, которую баба Шура называла «Казан-

ская». Даже на расстоянии потемневший образ, казалось, излучал тепло, нес надежду. Полковник, проследив за ее взглядом, встал, и заложив руку за портупею, задумчиво произнес:

— Возможно, возможно, — и вышел вон.

С тех пор он иногда навевался к ним. Садился молча у стола, наблюдая за возившимися детьми, или бросал несколько фраз Татьяне, касавшихся положения на фронте. А однажды пришел в неурочный час, почти ночью. Малыши уже улеглись спать, Таня раскладывала выстиранное накануне белье аккуратными стопочками.

Фон Рихтер прошел к своему месту, где он располагался по обыкновению, но не сел. Стоял прямой, высокий и какой-то напряженный.

— Русские готовят большое наступление, — быстро заговорил полковник, коверкая больше обычного слова, — когда пока не знать. Но завтра... завтра здесь будет отряд карателей... СС. Вам надо срочно уходить, фройлен Таня... срочно. Я знаю, что говорю.

— Куда? — растерялась Таня, не представляя, куда она должна отправиться в ночь с ребятишками.

Немецкий офицер достал из планшетника карту и знаком подозвал дядьку Семена.

— Вот здесь, двадцать километров отсюда есть заброшенный... как это у вас говорят... одинокий дом... нет... хутор. Вам надо ехать туда. Немедленно. Ваша машина стоит за деревня.

Он так и остался стоять посреди избы, и когда Таня, вместе с дядькой Семеном и старухой-

хозяйкой поднимали и одевали детей, и когда Семен Гаврилович носил к машине наспех накопанную в огороде картошку и немного муки, что дала баба Шура, а Таня тем временем выводила детей во двор, уговаривая, чтобы не плакали. И когда Таня обнималась на прощание с хозяйкой, решившей остаться здесь. Наконец полковник взглянул на часы, и подошел к Татьяне. Она подняла на него глаза:

— Спасибо, — сказала тихо, — никогда не думала, что буду говорить такие слова фашистскому офицеру, пришедшему с войной на мою землю.

— Знаете, фройлен Танья, я и сам не могу объяснить себе свой поступок. Видимо, сыграли роль молодость, красота и... дети. Вы знаете, моя жена очень сильно больна. Она никогда не может иметь детей... никогда. Ну что ж... вам пора. Прощайте. И да поможет вам Бог! — Четко чеканя шаг, фон Рихтер вышел из избы.

Держась за руки, ребятня шли по ночной деревне, то и дело посматривая на маму Таню, которая, глотая слезы, все оглядывалась и оглядывалась на темный силуэт старенькой хатки. Там на покосившемся крыльце угадывался силуэт бабы Шуры. Старушка одной рукой крестила уходивших, а второй, держа конец платка, утирала глаза.

...Хутор и в самом деле нашелся в том самом месте, куда указал немецкий полковник. Полуразвалившийся дом, видимо когда-то барский, с проваленной крышей, мало пригодный для жилья. На улице заметно заходило, лили дожди, и Таня с Семеном Гавриловичем прилагали немало усилий, что-

бы обогреть ребятишек. Водитель смастерил печку буржуйку и перенес ее в маленькую комнатку, которая наименее всего пострадала от времени. Приходилось терпеть тесноту и неудобства, но по-крайней мере, малыш-ня не мерзла. Правда, началась другая беда. Очень скоро закончились картошка и мука, что дала им баба Шура, и Таня впала в отчаяние. Осталось совсем немного сухарей. Уже завтра детей нечем будет кормить. И что тогда? Голодная смерть? О Боже, разве можно вынести все это?! Оставалось просить Бога и надеяться на приход своих.

Слова фон Рихтера о скором наступлении наших войск оказались правдой. В тот день, когда Таня раздала по последнему крошечному сухарику, в дом ворвались несколько наших солдат. Увидев худеньких, словно светящихся изнутри малышей, несказанно удивились, а Таня заплакала от счастья.

А через два часа особист, майор с глазами, полными ледяных сугробов, расхаживая по комнате взад-вперед, бросал ей резкие, короткие фразы:

— Как вы оказались на оккупированной территории?

— Понимаете, наш эшелон разбомбили и осталась только моя младшая группа и шофер... и мы... приехали в деревню.

— Вы можете объяснить причину столь снисходительного отношения к вам фашистского офицера?

— Не знаю... я думаю... дети, — Таня сжалась под взглядом майора.

— Не рассказывайте мне сказки, — крикнул особист, — вы хотите сказать, что гитле-

ровец, нацист помогал вам только потому, что очень любит русских детишек?!

— Но это так... — у Тани закружилась голова.

Майор хмыкнул и уставился на Татьяну тяжелым взглядом. От долгого молчания ей сделалось не по себе. Во рту пересохло, а голова кружилась так, что еще немного и она упадет в обморок.

— У этого есть только два объяснения, — зловеще проговорил майор, — либо вы вступили в сговор с фашистским командованием и стали немецкой шпионкой, либо вы стали гитлеровской подстилкой, что одно и то же.

— Как вы смеете! — возмущенно задохнулась Таня, приподнимаясь, но тут же осела под градом ледяных искр, брызнувших из глаз. Она все поняла.

— Что будет с детьми? — спросила пересохшим голосом.

— Будьте уверены, что мы о них позаботимся никак не хуже фашистского полковника, — с сарказмом произнес советский офицер.

— А Николаша? — Неужели они не позволят ей взять сына с собой. Пусть в детском доме, но рядом с ней, там, где она будет теперь.

И вновь взгляд майора сказал ей больше слов. Она уронила голову в ладони и не в силах плакать только раскачивалась и раскачивалась на стуле, а синий лоскут трепетал перед глазами, то приближаясь, то удаляясь, пока совсем не растаял в темном небе.

Когда через десять лет похудевшая, постаревшая и сникшая Татьяна Сергеевна вернулась в Ленинград, оказалось, что в ее комнате

на Лиговке живут другие люди. Худой, изможденный мужчина, стараясь не смотреть в глаза, сунул Татьяне Сергеевне конверт с извещением о гибели Сергея. Ее муж погиб в августе сорок первого года под Смоленском. Татьяна Сергеевна хотела заплакать, но не смогла. Слез не было: только боль, боль, боль. Она с едва доплелась до скамейки. Татьяне Сергеевне не хотелось ни двигаться, ни думать, ни видеть. Только... Она вспомнила слова, что часто повторяла баба Шура: «Раньше смерти не помрешь». Нужно было жить дальше. Только вот как?

С большим трудом Татьяне Сергеевне удалось устроиться дворником за крохотную зарплату и сырую комнатенку в полуподвальном помещении. Она машинально мела двор, так же машинально жевала что-то за ужином, без интереса наблюдая за жизнью, которая проходила мимо нее. Иногда, правда, она приходила к зданию, где когда-то располагался ее детский дом, подолгу стояла, глядя на окна и о чем-то думая.

Однажды ее окликнул звонкий девичий голос:

— Мама Таня!

Татьяна Сергеевна медленно обернулась, вглядываясь подслеповатыми глазами в молодое круглое личико, обрамленное белокурыми волнистыми волосами, в голубые крупные глаза, рот, растянутый в радостной улыбке.

— Света? Света Пыжикова? — У Татьяны Сергеевны закололо сердце.

— Мама Таня, — Света кинулась к ней, крепко обнимая, и плача, и смеясь одно-

временно, — наконец-то, наконец-то я вас нашла. Как же хорошо, что вы живы, что с вами все хорошо.

— Хорошо? Да, да, хорошо, — тихо заплакала и Татьяна Сергеевна, — Светочка, милая моя...

Света, продолжая обнимать маму Таню за плечи, провела ее к скамейке.

— Мы же все в разных детских домах были, — рассказывала Света, — кто где, понимаете. А я ведь и фамилии некоторых не помню. Никого найти не удалось.

— А Николаша? — замирая, спросила Татьяна Сергеевна. Как только освободилась, она начала упорно искать сына, но пока безрезультатно.

— Мамочка Танечка, — зарыдала Света, угадав материнскую боль, — и про него ничего не знаю. Но вы не переживайте, мы найдем его, обязательно найдем. Мы же теперь вместе... вдвоем... Не плачьте, дорогая моя.

Ветер сбивал последние листья с деревьев, крутил газетные обрывки по асфальту, обдывал лица прохожих, спешивших укрыться в тепле, а две женщины — молодая и пожилая, так и сидели, обнявшись на стылой скамейке, стараясь своими сердцами растопить холод, застывший в душах каждой из них.



ПЛЕННИЦА

Когда с Финского залива дул сильный ветер, верхушки сосен начинали жалобно звенеть, перекрывая резкую немецкую речь и лай собак на поводках у конвоиров. Попав в концлагерь, Таня первое время боялась и закрывала уши руками, а потом привыкла, только старалась опустить ниже голову и не смотреть в глаза, ни собакам, ни немцам.

В бараке, где жила Таня с матерью и старшими братьями, даже днем было сумрачно и сыро. Крохотные окошки, прорубленные под самым потолком, почти не пропускали света, а длинные ряды нар в три яруса задерживали и те скудные лучи, которым удавалось пробиться сквозь пыльные стекла.

Таня с семьей попала в концлагерь в самом начале войны. В конце июня сорок первого их село под Минском было сожжено немцами, а всех жителей угнали кого в Германию, кого в трудовые лагеря. Таня же с мамой и братишками оказалась в Латвии. Малышке было всего пять лет, но она быстро усвоила, что нужно опасаться вражеских солдат с пустыми глазами, не подходить близко к ограждению из колючей проволоки и вообще стараться быть незаметной и тихой. Только тогда можно выжить. Но вскоре оказалось, что этого недостаточно.

Голод... Вот что вскоре начало мучить всех пленников.

Все мысли у обитателей концлагеря были теперь о еде. У Тани сводило судорогой желудок, собиралась слюна, а в глазах темнело, когда она представляла себе большую миску пахучих щей со сметаной или полную кринку топленого молока с коричневой корочкой. Она ложилась ничком на нары и пыталась думать о чем-то еще, но воображение вновь и вновь рисовало то горбушку только что испеченного горячего хлеба, то кусок желтоватого сахара, что иногда приносил из города отец, то чугунок разваристой, томленной в печке картошки.

Первое время Таня хныкала и просила у мамы:

— Мамка, исти хочу, — к слезам Тани присоединялись и два брата: десятилетний Леня и Петя восьми лет. На селе говорили, что братья Кравченко, как две капли воды, похожи один на мать, а другой на отца. Мама — белолицая, высокая, очень гибкая, с русыми волосами, заплетенными в косу, обвитую вокруг головы. Глаза, словно два глубоких озера, в которых поблескивают, мерцают огоньки, на высоких скулах горит румянец, полные губы слегка улыбаются, отчего мамино лицо всегда ласковое и доброе. Вот Леня весь в нее. А отец тот наоборот. Крепыщ, роста среднего, вровень с мамой, даже чуть ниже, широк в плечах, смуглолиц, черные вьющиеся волосы зачесаны назад и примяты кепкой, во взгляде темных глаз чувствуется сила и уверенность. Петя взял от отца все крошечки и в облике, и в характере. Такой же обстоятельный и спокойный, рядом со своим высоким братом кажется недоростком, хотя и погодки они. Но ребятишки драз-

нить его в деревне побаивались. Петя умел не только за себя постоять, но и старшего брата с сестрой в обиду не давал. А Таня получилась в обоих родителей. От матери унаследовала тонкую кость, глаза большие и блестящие, застенчивую улыбку и способность заливаться румянцем, ну а отец гордился, что дочь имеет такую же смуглую кожу, а волосы хоть и светлые, но кудрявятся, складываясь в кольца. Как и отец, Таня была храброй и энергичной. А еще ее все любили в семье за мягкий и очень доброжелательный характер. Таня жалела братьев, прибегающих в синяках и ссадинах после драки с мальчишками, хромую собаку, замерзшего в мороз воробышка.

— Золотое сердечко, — гладил отец Таню по голове, когда малышка протягивала родителям, пришедшим с покоса, кусок хлеба, оставленный ею от обеда.

— Тише, тише, родные мои, — уговаривала детей мама, вытирая концом платка глаза, — немае исти.

Та баланда, которой кормили их в лагере, не приносила сытости, и после тарелки супа, состоящего из воды и нескольких кусочков гнилой картошки, есть хотелось уже через полчаса. Иногда Тане удавалось проскользнуть к бачкам с мусором, и тогда счастьем было найти горсть картофельных очисток или слипшийся комок прогорклой пшеники. Конечно, это была только иллюзия пищи, и очень скоро Таня превратилась в ходячий скелет, обтянутый серой кожей. На худеньком личике горели лихорадочным огнем казавшиеся огромными глаза, а отрастающие светлые волосы поблекли и вылезали целыми клоками.

С тех пор как вражеские солдаты грубо затолкали Танину семью и других односельчан в грузовую машину и привезли в лагерь, в Танином маленьком сердце поселился страх. Душа уходила в пятки при виде конвоиров со злобными, рвущими поводок овчарками, резкие окрики заставляли вздрагивать, и даже полосатые робы заключенных и унылые ряды бараков вызывали у девочки глубокую тоску и трепет.

Иногда Тане становилось совсем страшно. Обычно это бывало ночью, когда на улице начинали гудеть машины, привозившие новую партию пленных. Тогда Таня трогала пальчиком грубый шрам на руке, где каленым железом был выжжен ее номер, и вспоминала.

Их точно так привезли среди ночи. Захлебывались лаем собаки, что-то гортанно кричали фашисты, подгоняя людей дулами автоматов, плакали дети, кто-то протяжно стонал. Пленников выстроили на плацу. Таня тесно прижалась к матери и во все глаза непонимающе смотрела на происходящее. В ее головке крутились тысячи «почему», но одно она усвоила четко еще тогда, когда запылала их деревня: перед ней враги и их надо опасаться. Так сказала тогда мама:

— Вражины, проклятые.

В своей короткой жизни Таня почти не видела врагов. Если только соседский Федька, который часто дразнил и задирали ее. Но это не считается. Сейчас он стоит поодаль и так же испуганно смотрит на чужих солдат. Бабушка еще рассказывала, что раньше много по лесам разбойников и злодеев шастало. Убивали они людей и грабили. Одним словом, душегубы.

— Помажи нам, Божа, — крестилась бабушка Фекла при этих словах.

Значит, и эти солдаты со свирепыми лицами — враги. Вон они ходят вдоль рядов, отделяя старух и стариков, изможденных женщин, увечных мужчин. Вот шагнула в сторону бабушка Ульяна. Старушка жила с ними в одном селе по соседству, к ней часто заходила Танина мать и дочку с собой брала. Помогала старухе по хозяйству, приносила молоко или хлеба. И куда это ее? Можя, назад отправят? Следом за бабушкой проковылял хромый дядька Митрий, потом тетенька Анна. Таня слышала, как она всю дорогу кашляла, держась за грудь. Толпа сбоку росла, наконец офицер в высокой фуражке что-то скомандовал, и людей угнали куда-то за бараки. Потом Таня узнала, что там был крематорий, и даже научилась выговаривать это слово без ошибок. А в тот день, когда их уже затолкали в длинный щелястый барак, спросила у брата Лени?

— Що за такэ крематор?

— Тама людей спаливають, — нехотя ответил Леня.

— Живых? — расширила глаза Таня. И услышала, как мама прошептала бабушкиными словами:

— Помажы нам, Божа.

Тогда Таня подумала, что хорошо, что бабушка Фекла умерла еще до войны, а то бы и ее спалили немцы в этом крематоре, а перед этим опозорили, скосив под машинку волосы на голове.

Противный дядька в ватнике, накинутом на полосатую робу, не чинясь подстригал

всех новеньких под машинку, больно царапая кожу тупыми лезвиями. Себя Таня не видела, но от взгляда на безволосую маму, она задрожала так сильно, что прикусила губу, очнувшись только от соленого вкуса крови во рту.

В бараке было холодно и промозгло. Из всех щелей дуло, в дырявую крышу летели капли дождя. Народу здесь оказалось больше, чем нар, и поэтому приходилось спать на одних деревянных полатях по два-три человека. Таня с мамой и братишками заняли нижнюю полку. Лежали валетом, на полуистлевшем матрасе, подложив под голову кое-что из своих вещей. Над ними расположилась женщина с маленьким, лет трех малышом. Тетя Галя оказалась из Минска. Скорбно поджав губы, она рассказала, как ее с сынишкой Костиком немцы захватили по дороге из города, когда они с другими эвакуированными пытались уйти за линию фронта.

— Муж на фронте, и ничего я про него не знаю. Живой ли? — всхлипывала Галя.

— И мой воюе, — кивала в ответ Танина мать, — а мы вона иде.

День в лагере начинался со звона обломка рельса, висевшего возле одного из барачков. Так заключенных созывали для раздачи пищи. Хлеба не давали вовсе. В плоские, консервные банки, а то и просто в ладонь шлепалась густая, непроваренная, затхлая каша, которая съедалась мгновенно, вызывая еще большее чувство голода. Потом взрослых угоняли на работу. Мама и тетя Галя работали в прачечной, в барак приходили только вечером, усталые, с запавшими глазами, с красными распаренными руками. Все это время

дети сидели на нарах, словно мышки, боясь пошевелиться. Потом, правда, немного освоившись, выползали на улицу, глотнуть свежего воздуха и в поисках пищи. Второй раз рельс гудел перед отбоем. Раздавали баланду, от которой вспухали и болели животы, а от постоянного недоедания кружилась голова.

У Тани желудок словно выкручивало колючей проволокой, но она старалась не жаловаться маме и братьям. Знала, что те ей ничем не могут помочь. Оставаясь маленькой и тщедушной, девочка быстро выросла, много понимая из того, что никогда бы не дошло до нее раньше.

Прошло два года, больше похожих на долгий мучительный путь к смерти. И раньше в лагерь просачивались новости с воли. Тогда эти весточки приносили радость или огорчение, но постепенно заключенные перестали их ждать, мысли о том, как выжить в этих невероятных условиях, занимали все их умы. Но все же известие о победах советских войск, о том, что наши войска погнали немцев с территории родной страны, вызывали в лагере оживление и чувство надежды. Вместе с тем эти обстоятельства сделали фашистов еще более злобными и преисполненными ненависти.

Почти каждый день гитлеровцы сбивали заключенных в колонны и выводили за ворота лагеря к темнеющему вдалеке леску. Назад оттуда никто не возвращался.

Таня недоумевала:

— Мамка, а куды делась тетка Галя с Костиком?

Мама в ответ только горько вздыхала. Даже плакать уже не было сил.

Однажды до слуха девочки донесся стрекот выстрелов, и она поняла, где осталась навсегда их соседка по бараку с сыном. Как ни странно, Таня приняла эту свою догадку равнодушно, теперь уже и собственная смерть не страшила ее. Столько жизненных сил и энергии было потрачено на жизнь, нет, на существование в этом страшном фашистском лагере. Иногда Тане казалось, что она живет тут всегда. Эти полосатые робы, и изможденные лица людей, больше похожих на полуживых мертвецов, вышки с часовыми наверху, ухмыляющиеся лица мучителей — наверное, она родилась со всем этим. Но нет-нет да всплывало в ее детской памяти воспоминание-видение, когда она вместе с братьями несла отцу и матери обед в поле. И огромное пшеничное поле видится Тане, золотистое, колыхающееся под дуновением ветерка. Идти надо через всю ниву, туда, где виднеются головы жнецов, и острые усики колосьев царапают Таню за ножки, цепляются за платьишко, а запах поспевающего хлеба, густой и аппетитный, щекочет ноздри. Тане казалось, что этот запах, приходивший к ней в воспоминаниях, помогает ей победить голод.

— Ты чего? — спрашивал ее в такие минуты удивленный Леня, заметив на лице сестры что-то наподобие улыбки.

— Хлеб, — шепотом отвечала Таня.

— Иде? — у Лени загорались глаза, а Петя придвигался к ним поближе.

— Тама, — неопределенно отвечала девочка, растягивая губы.

Мама поднимала руку, чтобы перекреститься, наверное, полагая, что дочь ее сходит

с ума, но рука тут же бессильно падала вдоль тела, и мама только беззвучно шептала что-то сухими бескровными губами. А Таня блаженно закрывала глаза в надежде подольше продлить желанное видение.

Выползая иногда из барака, Таня замечала, как жуют немецкие солдаты, смачно отрыгивая и сплевывая, и ее маленький ссохшийся желудок выкручивало от голода и спазм. Жадными глазами она смотрела, как конвоиры бросали кости с кусками мяса собакам, а те откормленные, лениво отворачивались от еды, и девочка отчаянно завидовала псынам. Как-то раз Таня увидела за колючей проволокой рыжего кота, который ловил бабочек. Те порхали с травинки на травинку, опускались на редкие пыльные цветы, а кот, притаившись, терпеливо ждал удобного момента, чтобы схватить желтую капустницу. Наконец это ему удалось, и мурлыка, довольный, неся дальше. Наглядевшись на кота, Таня однажды и сама попробовала поймать и съесть бабочку. Усевшись за бараком, девочка долго поджидала, когда же насекомое подлетит поближе. Она напряглась и сидела, не шелохнувшись, и не сводила глаз с большущей бабочки с яркими крылышками, которая случайно залетела за колючую проволоку. Вот та беззаботно опустилась совсем рядом с Таней, и девочка, несмотря на истощенность, быстро накрыла ее маленькими ладошками.

Сглотив слюну, Таня сунула насекомое в рот, хрустнула брюшком, и ей показалось, что слаще она никогда ничего не ела. Долго еще Таня ощущала вкус этой бабочки, кото-

рая так и не попала в ее пустой желудок, а размазавшись по небу и языку, все равно принесла девочка большое удовольствие. Таня не раз еще выходила на «охоту», но больше бабочки почему-то не залетали в лагерь.

А в один из дней Таня вместе с мамой и братьями оказалась в колонне, которую немцы погнали к дальнему лесу. Заключенные были настолько ослаблены от постоянного голода и страха, что у них не было сил идти даже навстречу собственной смерти. Таня с родными плелась в конце колонны и ее не трогала будущая участь. Девочке хотелось только одного — наесться до отвала. Тане исполнилось уже семь лет, но она оставалась необыкновенно худым заморышем. Братья выглядели не лучше. У Лени все тело было покрыто незаживающими язвами, а Петя стал похож на маленького старичка со сморщенным личиком. Мать тоже едва держалась на ногах. Она качалась от малейшего дуновения ветерка, и ее худое тело, казалось, сейчас переломится пополам.

Колонна подошла к воротам. Часовые, лязгнув затворами автоматов, открыли тяжелые створки, и заключенные медленно потекли в сторону леса. При выходе из лагеря, Таня заметила будку, возле которой сидела огромная овчарка. Но не она привлекла внимание девочки. Рядом с собакой стояла полная миска еды. Таня вначале подумала, что ей это мерещится, но приглядевшись и несколько раз встряхнув головой, она поняла, что это не галлюцинации. Плошка с едой действительно стояла возле конуры. Не думая ни о чем, кроме находившейся совсем

рядом еды, Таня, покачиваясь, пошла в сторону овчарки. Она услышала, как сзади нее слабо крикнул Петя:

— Куды? Сожре тебя щас зверюга.

Но Таня не обратила внимания на эти слова, она медленно приближалась к собачьей будке, не сводя глаз с миски. Наконец девочка, достигла цели и, опустившись на колени, принялась жадно лакать суп, доставая пригоршнями гущу. Овчарка сидела рядом, не шелохнувшись, только внимательно смотрела на ребенка умными глазами. Колонна ушла вперед, а Таня все еще ела, наслаждаясь вкусом еды. Когда миска оказалась пустой, Таня подняла голову и увидела, что конвоиры стоят неподалеку и с любопытством наблюдают за ней. Где-то вдалеке послышались выстрелы, а Таню вернули назад в барак. Там девочка легла ничком на нары, но заснуть так и не смогла. Перед глазами крутились овчарка, плошка с супом, тревожно шумящий лес, конвоиры с глумливыми лицами. К вечеру у Тани взбунтовался желудок, она несколько раз сбегала в дощатый туалет, и голод вновь начал мучить ее.

А наутро в бараке появился фашистский солдат. Пошарив тяжелым взглядом вокруг, он указал дулом автомата на Таню.

— Ком, ком. Шнель.

Сжавшись в комочек, Таня вышла во двор. Там на плацу уже выстроилась очередная колонна пленных. У девочки зарябило в глазах от полосатых роб, она сглотнула тугой комок и крепко сжала в кулачки потные ладони.

— Шнель, — подтолкнул ее гитлеровец.

Прозвучала громкая отрывистая команда, и заключенные, подгоняемые конвоирами,

потянулись к воротам. Там уже скопилось достаточное количество фрицев, которые ухмыляясь, поджидали колонну. К Тане подошел высокий белобрысый немец и, кривя рот, сунул ей в руку большую кость.

— Туда, — указал солдат на собачью будку.

Но девочка и сама уже не сводила глаз от стоящей рядом с овчаркой миски. Та вновь была полна. Собака же была коротко привязана цепью, и до еды ей было не дотянуться. Чувствуя, как желудок подкатывается к горлу, Таня направилась к будке. Конвоир двинулся за ней. Едва девочка, присев на землю, начала хлебать суп, фашист быстро отвязал собаку. Вражеские солдаты, сгрудившись в предвкушении кровавого зрелища, громко перебрасывались быстрыми фразами.

Жадно выгребая остатки пищи, Таня ощутила горячее, влажное дыхание овчарки у своего затылка, потом почувствовала, как собака вытащила из руки кость и принялась грызть ее, улегшись рядом с девочкой.

Не поднимаясь с земли, Таня, услышав позади себя шум, обернулась. Один из вражеских солдат вскинул автомат и направил черное дуло прямо в голову девочки.

Чувство сытости настолько переполняло Таню, что она вначале совсем не испугалась. И только глаза гитлеровца, белесые, будто совсем без зрачков, вызывали оцепенение. Как замороженная смотрела малышка на врага, прижимая к груди вылизанную до блеска собачью миску. Ее сердечко вдруг екнуло. В детской головке вихрем пронеслись воспоминания: не вернувшиеся тетя Галя с Костиком, мать с братьями и другие люди, слитые в без-



Крестьянская девочка. Конец XIX в.
Худ. Константин Трутовский

ликую серую массу, безропотно уходившие под прицелами автоматов на смерть.

Таня закусил губу. Значит, они и ее сейчас убьют? Скорей всего. Ведь эти злые, пустые глаза не способны к жалости. Еще мгновение, и град пуль полетит в ее маленькое тельце, навсегда оставляя беззащитного ребенка на холодной земле. И в эту же секунду Таня почувствовала, как овчарка, схватив ее за шкирку

ку, втянула в будку. Спасена! Девочка свернулась калачиком возле задней стенки, а собака легла рядом с ней, прикрывая своим телом. Таня прижалась к теплому собачьему боку и тут же провалилась в сон. В будке было тесно и жарко, нестерпимо пахло псиной, но Таня впервые за все время пребывания в лагере чувствовала себя в безопасности.

Она проснулась от шума и криков. Собаки рядом не было. Передвигаясь на четвереньках, маленькая пленница осторожно выглянула из конуры.

— Смотрите, ребенок, — услышала она удивленный громкий голос.

Чьи-то руки подняли ее с земли. Таня увидела шапку со звездой на отвороте, губы, растянутые в жалостливой улыбке, и доверчиво прижалась к колючей шинели, не сводя глаз от обветренного лица молодого русского солдата.

— А собака где? — спросила девочка еле слышно.

— Какая? Ты молчи лучше, деточка. Теперь все будет хорошо. Все хорошо будет, — стараясь ступать осторожно, боец понес малышку...

Таня покачивалась, словно в люльке, на его сильных руках, и ей было необыкновенно покойно. Девочку обволакивала дремота, веки закрывались, и она знала наверняка что с сегодняшнего дня ее мучения закончились. Страх отпустил Танину душу, и только сожаление об исчезнувшей собаке нет-нет да и всплывали в сонном сознании.

Через несколько дней поезд уносил спасенных детей на освобожденную террито-

рию. Среди них была и Таня. Их ждали детские дома и относительно сытая жизнь.

Много лет спустя Таня приехала в Латвию. На месте бывшего концлагеря был пустырь, и только торчащие среди пепелища трубы крематория напоминали о предназначении этого скорбного места. Таня наугад определила, где находилась тогда собачья будка, и низко кланяясь, опустилась на колени. Она стояла так долго, закрыв лицо руками и всхлипывая. Наконец, стараясь унять кололотившееся в груди сердце и не вытирая катившихся по щекам слез, Таня медленно поднялась и пошла к темневшему вдалеке лесу.

Ветер стелил траву под ногами, раскачивал ромашки на тоненьких стебельках, а в солнечных лучах летнего солнца купались, порхали, перелетая с цветка на цветок, яркие разноцветные бабочки.



СЕРДЦЕ МАТЕРИ

В свои почти девяносто лет оставалась Василиса Матвеевна в светлом уме и ясной памяти. Сухощавая, подвижная, с собранными в пучок седыми волосами, она передвигалась по дому с клюкой, но на ногах стояла твердо, а руки еще помнили, как месить тесто и выводить пятку у вязаного носка.

Сама себе порой удивлялась: как это ей, пережившей в жизни множество скорбей и бед, удалось сохранить отменное для такого возраста здоровье.

— Как, как, — в сердцах одергивала она себя, когда подобные мысли лезли в голову, — Господь держит, дает порадоваться в конце века на детей, внуков да правнуков.

Василиса Матвеевна крестилась на образа, убранные собственноручно вышитыми когда-то полотенцами, и склонялась в благодарном поклоне.

Свою прошлую жизнь вспоминать старушка не любила, а если приходилось рассказывать, то слова цедила, как сквозь сито, выжимая из памяти каплю за каплей.

— Да, пришлось хлебнуть лиха, да натерпелась страху в годы оккупации, ну а кому было легко, — Василиса Матвеевна обтирала рот двумя пальцами, отчаянно скрывая за жестом тоску в глазах. — Всем тогда досталось, а солдатам больше всех.

Из их деревушки под Витебском ушли воевать почти все мужики и хлопцы.



* * *

Июльский день сорок первого, когда призывники гуртом шли к околице, навсегда отпечатался в ее памяти черным листком перекидного календаря, висевшего над обеденным столом. Сколько лет прошло, а тот календарь с цифрой восемь, так и маячит перед глазами, перекрывая дыхание.

Провожая своего хозяина на фронт, Василиса голосила, себя не помня. Как там будет любя моя? Сможет ли? Ведь даже воробья не смел обидеть, а тут убивать надо. Пусть фрицев, но ведь они тоже люди.

— Божа, памажи моему Степану. Сохрани яго, убереги от пули, няхай вернется до дому живым, — шептала вслед, крепко держа за руки девочек-погодков Марусю и Галю, шести и пяти лет. Старшая Тося плакала, припав к материнскому плечу.

Степан, словно почувствовал ее молитву, обернулся и коротко махнул рукой, слегка улыбаясь. И была в этой улыбке и надежда, и тоска, и безмерная любовь.

Немцы заняли село в середине июля, наполнив его гортанным говором и окриками. Василиса возилась в огороде, когда к ней подбежала взволнованная Тося.

— Мамка, мамка, — заполошно закричала девчонка, — немчура всех в клуб стоняет. Говорят, жечь будут.

Тосе этой весной исполнилось одиннадцать. Василиса не раз удивлялась, в кого дочка такая шустрая и подвижная. Огонь



Крестьянка. Начало XIX в. Худ. Василий Голике

девка! Они-то с мужем спокойные, Маруся с Галей — те вообще копухи, а Тося уж такая бойкая, диву давалась Василиса. Что паренек.

— Господи, помилуй, — перекрестилась Василиса.

Младшие девочки, которые копались рядом, испуганно подскочили к матери.

— Убегать треба. Зараз только в хате возьму хоть что, — женщина двинулась было к избе, но в это время на улице послышались громкие крики и плач. Поздно.

— Ой, лишенька. Господи, поможи, — зашептала Василиса и, пригнувшись, огородами вместе с детьми побежала к лесу. Благо, деревья подходили почти к ее тыну на заднем дворе.

Тося тащила за руки малых, и они немного обогнали мать, но возле зарослей черемухи девчонки встали как вкопанные.

— Мамка, смотри, — Тося указала на стайку притаившихся ребятишек.

Василиса узнала Надю и Любу Федченковых, ровесниц ее младшеньким, подле них беззвучно плакал малолетний сынок Анны Люшиной — Василько. Тут же Груня Пилипенко успокаивала хнычущего полуторогодовалого брата Федю.

Увидев Василису, ребятня дружно заревела.

— Тихо, — на правах старшей цыкнула на них Груня, хотя самой всего-то семь годков.

Со страхом оглядываясь назад, Василиса проговорила:

— Тикайте, любчики, тикайте шибче.

— Ни-и-и, тетенька, мы с вами, — Груня одной рукой ухватила за Василисин подол.

Глядя на испуганные детские лица, на глазенки, в которых замерли ужас и надежда, Василиса кивнула:

— Ну, побегли, скоренько, — она взяла из рук девочки Федю и успокаивающе покачала.

В это время за их спинами раздались выстрелы, и в небо взметнулся столб огня.

— Мамка, побье нас немец, побье, — Тося во все глаза смотрела на полыхающий костер, в котором заживо горели ее односельчане, — и нас сейчас споймае.

— Не побье, не споймае, — Василиса перекрестилась, — молитесь Миколаю Угоднику. Молитесь.

Углубляясь в чащу леса, Василиса негромко шептала молитву, которую помнила и знала с детства. В ее семье очень почитали Николая Чудотворца, по Господу сверяли каждый шаг, и даже безбожная советская власть не могла поколебать веру Василисы. Она и детей приучала к ежедневной молитве и, хотя в школе посмеивались над Тосей, только та в силу характера в обиду себя не давала.

— О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защититель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всемирный помощник и покровитель, да мирное зде проживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единого в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Присев немного для отдыха, Василиса заметила сосредоточенные лица детей, те тоже шептали свои просьбы к Господу и Николаю Чудотворцу. Кто как умел.

«Что же я буду делать с такой оравой, чем кормить? — печально думала Василиса, — ведь вон выскочили, в чем мать родила и без куска хлеба. Василек в одной рубашонке, а ночью прохладно. А Федя? Кроха совсем. Господи, поможи! Микола, не брось нас в беде великой!»

Шли долго, пока совсем не обессилили, да и солнце уже закатилось за деревья, и в лесу

сразу стало сумрачно и как-то тревожно. Ребятишки повалились на траву, и некоторое время лежали молча, даже Федя не хныкал. Василиса прикрыла глаза, стараясь гнать от себя мысли о сгоревших заживо односельчанах, о Степане, воюющем где-то, о родном дядьке, тоже ушедшем на фронт вместе с тремя сыновьями.

— Тетенька, мы исти хочим, — тихонько тронула Василису за плечо Надя Федченкова.

— Да где же я вам еды возьму? Аль не видите, какая страсть творится? — в сердцах воскликнула Василиса, но тут же одернула себя. Что это она? Или сердца у нее нет? Ведь это же дети малые, да без родителей оставшиеся. Господи, прости ее неразумную бабу. И сама она страху натерпелась, а что уж про ребятишек говорить.

— Не журись, Надю, не журитесь, любчки, зараз мы найде что-нибудь, — Василиса поднялась и огляделась. Кликнула Тосю, Груню, — пошли, девки, можа, ягод найдем.

Старалась не показать Василиса тоску смертную да слезы сердечные. А ну как придется здесь надолго обосноваться, чем кормить ребятню? На ягодах да сырых грибах долго не продержишься. А малыши: Василько да Федя? Тот совсем кроха. Ему бы еще молоко надо пить, а не подножным кормом питаться.

— Мамка, нашла, — Тося содрала бересту с березы, свернула кулечком и теперь ловко собирала туда крупную перезревшую землянику, исходившую душистым соком. Ну, девчонка, вот проныра.

Втроем они быстро собрали ягоду на полянке. Когда вернулись к детям, Надя и Люба

нарвали полные пригоршни сосновых и еловых иголок. Люба, разжевав, вкладывала зеленую массу в рот Василька и Феде. Те, видимо, с голодухи глотали, блаженно улыбаясь.

— Господи, Ты Боже мой! — всплеснула руками Василиса, — захворают мальцы, животы заболят у них.

— А им нравится, — несмело возразила Люба.

Ночь стремительно надвигалась, и Василиса опять запаниковала. Что делать? Шалаш построить она не умела, костер развести тоже нечем, а ведь детям знобко будет на открытом воздухе да всю ноченьку. Миколай Чудотворец, помогай!

Взглянув на скорчившегося Василька, женщина скинула с себя ситцевую кофту и, оставшись в одной исподней рубашке, укутала мальчонку. Заметила поодаль огромную ель с развесистыми лапами, спускавшимися до самой земли.

— Вот и ночлег, — Василиса перекрестилась. Они с Тосей наломали еще веток и, уложив на них детей, прикрыли сверху лапником. Ребяшня повозилась немного, повсхлипывала, похныкала и уснула. А Василиса так и лежала, не сомкнув глаз, прислушиваясь к каждому шороху да молясь. На рассвете тихонько выбралась из-под ели да пошла окрест, в надежде найти ручеек или бочажок с водой. Едва вышла на опушку, как услышала хруст веток под чьими-то ногами. Сердце подскочило к горлу, потом ухнуло вниз, а по спине потекли холодные струйки пота.

«Невжо немцы?!» — во рту вмиг пересохло, а ноги отказывали держать.

Из-за кустов навстречу Василисе шагнула их деревенская молодка Варвара Грабчук. На руках двухмесячный сынок.

— Варя, ты? — вскрикнула Василиса. — Испужала, сил нету.

— Тихо, тетка Василиса, тихо, — молодка испуганно озиралась, — вроде как чую, собаки лают. Немцы, поди...

— Господи, помилуй! — поднесла руки к груди Василиса. — У меня же детей полно. Куды нам деваться?

— Мой Никола лесником работал. Так вот тут река рядом, а там остров. Надо туды бечь. Через реку собаки не сунутся, да, можа, и не дойдут сюды немцы.

Василиса быстро растолкала сонных еще ребятишек.

— Шибче, любчики, шибче. — Подхватила на руки Василька, Федю сунула Тосе, и все припустилась за Варварой.

Река журчала на дне оврага, широкая, быстрая.

— Да как же тут быть, Господи? Глыбока, поди. С дитями не перейтить.

— Я брод знаю, — быстро-быстро зашептала Варвара, — там только в одном месте глыбока, но ничево, мы ребяток на руках перенесем. Повыше, повыше.

К Василисе подошла Груня.

— Тетенька, мы зможам, не забоимся.

— Миколе, Миколе молитесь, — растерянно напутствовала Василиса, сама робея перед торопливой холодной водой, — он можа нам.

Вступила в реку, и захолонуло сердце. Ледяная. Видно, много ключей бьют вдоль

русла, оттого и сразу схватило судорогой ноги. Обернулась на Тосю с Федей на руках. Следом Груня, Надя, Вера и Маруся с Галей. Шедшая впереди Варвара, слегка повернув голову, проговорила:

— Сейчас Виталя перенесу и вам, тетка Василиса, поможу.

Течение сбивало с ног, и Василиса приказала детям взяться покрепче за руки. Они шли цепочкой друг за другом, и в расширенных глазах их ширился ужас. Василиса ступила вперед и сразу по грудь провалилась в холодную воду. Едва успела перехватить Василька повыше. Но ножки малютки все-таки ушли под воду, и Василек вскрикнул, крепко обхватив тетеньку за шею.

— Ня бойся, любчик. Ня шуми, — Василиса трясущимися руками передала хлопчика Варваре. Она не чувствовала ног, все тело ее заглодело и покалывало острыми иголками, но страх за детей приказывал держаться. Она приняла от Тоси Федю и, стараясь держать его высоко над головой, несла к Варваре. Руки совсем не слушались ее. Вот-вот, и малыш рухнет в воду.

Молодка подхватила Федю, и Василиса, облегченно вздохнув, повела остальных детей к берегу. Надю и Любу пришлось взять на руки, но это все-таки легче, чем передавать высоко над головой. Маруся и Галя беззвучно плакали, цеплялись мамке за шею, не отдерешь — так испугались. Василиса передала их Варваре и вновь вернулась. Тося переплыла глубокое место сама, а Груне Василиса подставила спину и так, неся девочку на закорках, вышла на берег.

Остров сильно зарос деревьями и кустарниками, и женщины с детьми поспешили уйти вглубь. Торопились, почти бежали, к тому же Федя расплакался, ему вторил Василек, а у девочек Нади и Любы подрагивали губы — они тоже готовы были вот-вот разреваться. Наконец, не выдержав бешеного стука сердца, Василиса прислонилась к дереву. Ее вытянувшиеся в нитку бескровные губы беспрестанно что-то шептали, щеки покрылись ярким лихорадочным румянцем. Она задыхалась. В груди щемило и стягивало, и она просила у Господа только одного: силы и выдержки, чтобы спасти детей, не дать им погибнуть, раз уж Господь сподобил уйти от смерти лютой там, в полыхающем клубе.

Федя хныкал и хныкал на руках и, не выдержав, Варвара остановилась:

— Давай сюда дитенка, тетка Василиса, — она взяла малютку и приложила его к своей груди. Федя тут же зачмокал и затих.

«А остальные как же? — хотела закричать Василиса. — А других как накормить? Чем? Ягодой? Корой? Долго ли протянут?»

И в самом деле, уже через три дня Василиса почувствовала, что еще немного, и они все погибнут. Федя и Варварин сыночек Виталь криком надрывались от боли в животе. Вначале Василиса недоумевала, а потом догадалась: «Молоко плохое, ведь молодка только сосновыми иголками да ягодами питается». Она и сама ослабела и не могла смотреть в ждущие голодные глаза старших детей. Наконец, Тося не выдержала:

— Мамка, я пойду, можа, в деревню попроберусь. Поисти принесу хоть что. И одежду.

— Куды, куды ты? — прикрикнула на дочку Василиса. — Чего удумала, прямо к немцу, нехай убье тебя, так?

— Ни-и, я тихенька, — упрямо мотнула головой Тося. Ее худенькое личико светилось решимостью, а в запавших глазах затаилась надежда.

— А дорогу найде? Не заробеешь?

— Ни-и, — Тося потуже завязала платок на голове.

Василиса проводила дочь до реки. Наблюдая, как Тося, пошатываясь, вошла в воду, а потом, с трудом преодолевая быстрое течение, поплыла, мать троекратно перекрестила ее. Вот Тося уже на берегу, выжимает подол платышка.

— Миколе, Миколе молись, Угодник он наш, не попустит, — слабо проговорила вслед Василиса.

Тося махнула рукой в знак того, что услышала, и скрылась за деревьями.

Девчонки не было всю ночь, и Василиса, стоя на коленях, истово молилась Богу и святым заступникам, просила, чтобы не случилось с дочерью лихого, чтобы осталась она живой, уберег бы ее Господь, а они уж...

Женщина оглянулась на лежащего рядом Федю. Он уже не плакал, только слабо стонал, и зеленая слюнка текла у него по подбородку. Груня сидела рядом с братом и лопушком вытирала ему губки.

— Федю, помирать не трэба, — жалобно приговаривала девчушка, — я не могу одна. И мамки нетути, и батьки нема. Не помирай, Федю.

— На, дай ему, — Маруся протянула Груне пучок щавеля, — кисленький. Мы там много нашли.

Позади Василисы треснула ветка. Не оборачиваясь, она почувствовала: Тося.

— Дачушка, — в глаза Василисы бросилось бледное, изможденное лицо дочери, синие тени под глазами, трясущиеся губы.

— Сбирайтесь, — Тося запыхалась, дышала тяжело, с присвистом, — немає немцев, и... и... деревни немає. Только одна хата осталась, крайняя. Там бабка Дарка хворая живе.

Обратная дорога отняла последние силы. Василиса устала уже, едва дойдя до реки. Пронеся несколько метров Федю, она клала его на траву и возвращалась за Васильком, тот так ослабел, что идти сам не мог. Девочки потихоньку плелись сами, то и дело, присаживаясь на землю. Наконец вышли на берег. Река быстро катила свои воды, и Василиса с ужасом и душевным трепетом думала о том, как им удастся миновать эту водную преграду.

Решили первых перевести девочек. Усадили их на берегу, Тосе на колени положили Виталю.

Шатаясь, женщины вновь вошли в воду. Варвара осталась на середине реки, а Василиса с трудом добрела до отлогого берега, где на песке лежали Василек и Федя. Взяла на руки Федю, и хотя малыш совсем истощал за эти дни, Василисе показалось, что она несет неподъемную ношу.

«Господи, поможи», — только и шептала. Подойдя к глубине, подняла на дрожащих руках мальчика повыше вверх, сколько могла и, боясь уронить его, передала Варваре.



Святой Николай Чудотворец. Середина XIX в.
Худ. Василий Шебуев

Василек доверчиво положил Василисе головку на плечо, а когда его ножки коснулись ледяной воды, даже не вскрикнул, как в прошлый раз, только вздрогнул и глубоко вздохнул. Чувствуя, что ее руки совсем ослабли, и вот-вот ладони расцепятся, и Василек канет в воду, как ключ на дно, Василиса хрипло проговорила:

— Микололай Угодник, не дай погибнуть, поможи, — и тут же поблазнилось ей, что

на другом берегу стоит седенький старик и ласково улыбается ей, и кивает так успокаивающе головой, словно хочет подбодрить и сказать, что все будет хорошо. И будто вновь появилась твердость в руках, и Василиса, подкинув малыша, отдала его товарке.

Потом очень медленно, без конца отдыхая, тащились по ельнику. Наконец показали знакомые места. Рощица, куда всей деревней бегали за ягодами, справа луг, а вон за теми деревьями должна показаться и деревня. Василиса миновала стайку деревьев и замерла, приложив руки к груди. Ресницы тут же стали мокрыми, и две горячие дорожки побежали по щекам. Вместо хат торчали только обгоревшие печные трубы, без крыши и дверей стоял и единственный кирпичный дом в деревне, начальная школа.

— Туды, туды пошли, — тянула Тося к стоящей особняком и потому, наверное, уцелевшей покосившейся избушке.

Стараясь не смотреть туда, где когда-то был сельский клуб, Василиса перехватила поудобнее Василька, пошла вслед за Тосей. Варвара переложила Виталя на одну руку, на другую подняла Федю.

Дверь в избу оказалась отворенной. Спотыкаясь, Василиса перешагнула высокий порог и положила Василька на лавку. Оттуда под ноги метнулась перепуганная кошка. Василиса отшатнулась, быстро окинула глазами избу. Давно не топленная печь уставилась темным оком в комнату, на столе алюминиевая кружка и глиняная кринка, окна занавешены вышитыми шторками. Она еще раз вздрогнула, когда услышала едва различимый стон.

— Кто тут? — спросила враз осевшим голосом. Девчущки, вслед за ней вошедшие в избу, как горошины, быстренько придвинулись поближе к Василисе и замерли, прижав в едином порыве ручки в груди. Варвара, тяжело дыша, прислонилась к притолоке, намертво удерживая малышей.

— Божа ж Ты мой, аль хто живой тутача, — раздался с печки слабый голос.

— Тетка Дарка, жива? — голос у Василисы дрогнул. И расплакалась бы, да беспокойство за детей удержало от душевного расстройства.

— Не чую, навошта мене Господь трымае¹ на этом свете, — ответила плаксиво старуха, — прошу, прошу, нет, не забирае. А вы кто будете?

— Да мы свои, з села. Есть что поисти? Дети у нас малые, — Варвара опустила ребятшек прямо на пол и теперь махала замлевшими руками.

— Откуль? Ничева не маю, — бабка Дарка завсхлипывала, и Василиса опять почувствовав, как заболело за грудиной, схватила пустое ведро и, стараясь не делать резких движений, вышла во двор.

Пригнувшись, перебежала через улицу, заметив там колодец. Тут же на пожарище определила, где был огород. Она бы все бросила и легла бы ничком здесь, среди пыльных грядок, так ослабела, но мысль о голодных детях заставляла ее руками разрывать слежавшуюся землю, выкапывать мелкие еще клубни, собирать на растопку не сторевшие головешки и нести это все к избе бабки Дарки.

¹ Зачем меня Господь держит (белорус.).

Вдвоем с Варварой они растопили печь, поставили на огонь чугунок с вымытым картофелем и обеспокоенно оглядели детей. Девчонки дремали, но видно было по подрагивающим губам и по тому, как иногда шумно втягивали воздух, что они ждут не дождутся того момента, когда смогут поесть. Мальчики дышали почти беззвучно, угасая на глазах, и Василисе оставалось только молиться, чтобы Господь управил и помог ей пережить лихую годину. А ребятки, ребятки, пусть останутся живы.

— Мамка, вот, в чулане нашла, — пронырливая Тося протягивала матери несколько слегка заплесневевших сухарей и пучок сухой травы.

— Так это, каже, чернобыльник, — Василиса внимательно рассматривала траву, — им заусегда животы лечили.

Она отлила из чугунка закипевшую воду в кринку и заварила там немного листочков.

— На, малым давай пить, и сама пей. Можа, обойдется усе, — Василиса опять перекрестилась, ища глазами икону.

— Тетка Дарка, — позвала она старуху, — иконы што, немае у тэбе?

— Немае, — прошелестела бабка с печки, — сынок-то коммунистом быв да у школе директором, лаялся на мяне, я образа у куфар¹ и сховала. А ен, паразит, знайшел, и куды-то отнес. А як на фронт сбирався, сказав: «Молися, мама, за мене и кабы немца нам одолеть». Хотела яму про образа напомнить, да што ужо тяперь. Можа, змые свой

¹ Сундук (белорус.).

грех на войне. Памажи яму, Божа, — бабка Дарка заплакала, и Василиса подала ей на печь несколько горячих картофелин и размоченный сухарь.

Ночью Василиса несколько раз вставала к ребятишкам. Те вповалку спали на полотах подле теплой печки, впервые за много дней сытые и довольные. Федя с Васильком, хоть и постанывали изредка, но спали спокойно и крепко.

Теперь каждый день Василиса со старшими девочками уходила на огороды за картошкой. Большим подспорьем оказались молодые морковь и свекла да оставшийся кое-где зеленый лучок и укроп.

Долгое время не решалась Василиса приблизиться к тому месту, где когда-то стояла ее изба. А когда подошла, сердца не чуяла вовсе: будто огонь пылал в ее груди, и слез не было, а только тоска и горе заполнили Василису всю. Она прислонилась к закопченной трубе, и чудились ей стук ухвата и запах горячих щей, и довольный смех Степана, и жужжание мухи, бившейся в стекло. Василиса опустила на колени, встала прямо в золу, на пепелище, и склонилась в низком поклоне, пачкая руки и лоб. Замерла так на долгое мгновение, пока не поняла: что-то острое впилося в щеку и карябает до грудинной боли. Не глядя, нащупала рукой и снова не смогла выдохнуть. Из-под полуобгоревшей балки торчал угол иконы Святителя Николая — семейной реликвии Ковалевых, ее защита и покров.

— Святой Угодник Миколай, не бросил ты нас, не оставил, — наконец заплакала Василиса, и капли слез упали на темный святой лик, — и дале сохрани нас, не покинь, оборони.

Василиса кликнула Тосю с Груней:

— Икона-то целая, не сгорела. Чудо это. Знак, што не покинул нас Господь. Молится за нас Микола.

— А у мяне тоже чудо. Сала шмат, у Васенкиных коптильня почти не сгорела, вот знайшла, — Тося протягивала матери грязный кусок, в котором сало можно было узнать с трудом.

— То Микола нас не бросает, — прошептала Василиса и, поцеловав икону, поспешила в хату.

Приблудившаяся как-то к хате мекающая коза еще раз заставила убедиться Василису, что Господь и Николай Чудотворец слышат ее молитвы. Теперь дети были с молоком, да и бабке Дарке доставалось попить горяченького.

Однажды, растапливая печь, слышала Василиса чьи-то осторожные шаги в сенях. Кто это? Чужие в село давно не заглядывали, свои не могут быть — фронт далеко, а немец ввалился бы громко, по-хозяйски.

Враз обмякла от страха, обеспокоенно оглянулась на ребятишек, хотела шумнуть на них, чтобы спрятались за занавеской, да не успела. В избу вошли трое солдат: заросшие щетиной, грязные и оборванные. Один совсем мальчишка: белобрысый, светлоглазый, обветренные щеки в редких конопушках. Другой постарше, лет двадцати пяти, с бегающим взглядом и сжатыми в узкую полосу губами. Третий был в возрасте, низкорослый, угрюмый, с острым подбородком и длинным хрящеватым носом.

Дети испуганно уставились на неожиданных гостей, и только Тося смело спросила:

— А што, дяденьки, вы ужо прогнали немцев?

Молоденький боец устало опустился на лавку. Его товарищи присели рядом, свесив руки между колен.

— Мать, — прохрипел молодой солдат, — поесть не дашь чего-нибудь.

— Сядайте к столу, ща бульба буде готовая, — кивнула Василиса, — дзетки, сядайте и вы, — она обернулась к детям.

Те робко подошли. Василиса вытащила из печи чугунок с картошкой, зачерпнула кружку воды.

— Хлеба немає, — сказала тихо.

Солдаты молча дули на горячие картофелины.

— Сдалече ийдете? — спросила Василиса, когда чугунок опустел.

— С фронту, — нехотя ответил один из бойцов, пожилой, усатый, с потухшим взглядом.

— Утекли, значит, — качнула головой Василиса.

— Страшно там, мать, — горячо проговорил молодой, косясь на беззвучно сидевшую поодаль Варвару с сыном на руках, — силы у фашиста страсть сколько.

— Страшно, невжо не страшно, — горестно поджала губы Василиса, — ой, лишенько, як страшно. И куды ж вы тяперь?

— До дому, — растерянно, не сразу ответил солдатик.

— А коли ваш дом як нашу деревню спалил немец? — Василиса подошла к окну и отдернула занавеску: — Вун там клуб быв... усех людзей спалил тама немчура, одни мы только и убегли. Да вот икона Миколы уце-

лела. Прошу яго, чтобы мой Стяпан не утек вот так, устоял бы. А то куды звертается, к одним трубам? И як дзецям своим и чужим буде у в очи глядеть. Божа, поможи ему. Ужо нехай загине, чем жить з такой ношей.

— А майго сыночка там не бачыли? — проскрипела с печки бабка Дарка, — ен бачны такой з сябе¹, высокий.

Неожиданно громко в голос заплакала Груня, чуть погодя ей принялись вторить Надя с Любой и Василек. Вытирали кулачками слезы и Маруся с Галей.

— Вы што? Што такое? — всполошилась Василиса.

— Мы спужалися, — едва выговорила Груня, — а ну як солдаты уси с фронту тикае, тады немец приде и побье нас.

Тося подошла к сестрам и обняла за плечи:

— Галю, Маруся, не плачьте. Наш батька не тикае, он нас оборонит.

Усатый солдат с отсутствующим взглядом поднялся, кивнул остальным. Бойцы вышли неловко, не попрощавшись, но через несколько минут молоденький вернулся.

— А иде ж те? — Василиса мешала кочергой угли в печи. От жары ее лицо покраснелось и выглядело теперь моложе, хотя низко повязанный платок и скорбная складка вокруг губ придавали возрасту.

— Пошли дальше, до дому, — опустил глаза солдатик.

— А ты што ж? — жалостливо спросила женщина.

¹ Он видный такой из себя (белорус.).

— К своим решил пробираться, — солдат посмотрел на детей и слегка улыбнулся. Те притихли в углу, внимательно слушая Тосю, которая что-то шептала им, то одного, то другого поглаживая по головкам.

— Сам-то откуль? Сямейный? — Василиса подала кружку с заваренной травой на печку для бабки Дарки.

— Нет, не успел еще, — еще больше раз-улыбался паренек, — а сам из-под Рязани. Мамка там осталась и сестрички.

— Як звать тябе?

— Николай.

Василиса сняла со стены икону Святителя Николая с обгоревшими краями и поднесла к солдатику.

— Молися яму. С таким защитником ничего не страшно.

— Мне мамка тож дала с собой, — Николай полез за подкладку и вытащил оттуда крестик на белом шнурке. Он засмутился, видимо, вспомнив свою трусость и побег и, может быть, неподобающие мысли. Круглое, курносое лицо Николая запылало, глаза заблестели, и он отвернулся, принялся старательно прятать крестик обратно.

— Ничего, ничего, — Василиса, одной рукой удерживая икону, второй притянула голову солдатика к себе и поцеловала его в заросший затылок. Николай обмяк под ее рукой, плечи затряслись, и он несколько раз громко по-детски всхлипнул.

— Ничего, — еще раз повторила Василиса, — Господь с нами. А я зараз корыто приготавлию, помыешься у сараюшке.

Вечером Николай начал прощаться.

— А можа, до утра останешься? — Василиса связывала в узелок несколько картофелин, завалывшийся пыльный сухарь.

— Не-е, — покачал головой солдатик, — ночью идти безопасней. И вы бы, тетка Василиса, уходили отсюда. А то вдруг вернуться немцы. Опасно.

— Та чую. Мы з Варварою начали землянку в лесу копать. Сховаемся тама.

— Ну, — Николай подал руку Тосе, — жди нас вместе с батькой с победой.

— Вяртайтесь живы, — серьезно ответила девочка.

Ступая навстречу закату, солдатик оглянулся. На крыльце, окруженная ребятишками стояла Василиса. В ее высоко поднятых руках Николай различил икону. Боец неумело перекрестился и зашагал вперед.

А через несколько дней хлопчик вернулся обратно. Рано утром чуть слышно стукнул в дверь и, переступив порог, виновато потупился. Его щеки были вымазаны в грязи, рукав сочился кровью, а отросшие волосы спутались. Николай держал в одной руке немецкий автомат, вторая беспомощно висела вдоль тела.

— Не смог пробиться, — покачал солдатик головой в ответ на немой вопрос Василисы, — уходить надо, мать. Подвел я вас.

— Уходить пока не можно, — доставая из печи чугунок с горячей водой, проговорила Василиса, — тетку Дарку как оставишь?

— Прийти сюда они могут, — Николай понизил голос, оглядываясь на завожившихся на лавке ребятишек.

Василиса испуганно перекрестилась. Сама понимала, что оставаться здесь небезопасно,

даже если бы солдат и не обнаружил себя, но вот только как уйдешь с хворой Даркой. Ребятишки еще куда ни шло, но кто понесет старуху. И тут ее не бросишь. Не можно. Выходит оставаться всем, на верную гибель?

На печке закряхтела бабка Дарка:

— Кинь мяне, — закашлялась она, — мяне усе одно помирать.

— Ты што это выдумала? — строго свела брови Василиса, — як можна живаго чаловика кинуть? Молчи.

— Так чую, возьме Гасподзь мяне хутка¹, — бабка Дарка говорила едва слышно, в груди у нее сипело и клокотало, — аб дзецях падумай.

— Живи пакуль, там видать буде, — Василиса разрешила ножом набрякший рукав гимнастерки Николая и стала обтирать кровь вокруг раны чистой тканью, смоченной в теплой воде. Тот застонал было, но потом закусил губу и за все время, пока женщина прикладывала к ране обмытые листы подорожника и бинтовала руку разорванной на длинные полосы холстиной, не проронил ни слова. Пуля прошла вскользь, и это давало надежду, что рана быстро затянется. Все время пока руки Василисы проворно двигались, ее губы шептали слова молитвы, а голова была полна мыслей об их дальнейшей судьбе.

— Как стемнеет, я снова пойду к фронту, — горячо зашептал Николай.

— Ружье твое стреляе? — кивнула Василиса на автомат. Николай так и не выпустил его из руки.

¹ Чувствую, возьмет Господь меня скоро (белорус.).

— Да, да, я там на двух дозорных наткнулся, убил, и вот... взял... — заметно было, что Николаю тягостно об этом говорить. По всему видать, это были первые жертвы солдата, оттого так и напряжен он и взволнован, — уйти удалось, но опасаясь, что могут прийти они в село. Фронт недалеко совсем.

— Вот и побудь пакуль здесь. Оборонять баб и дзеток тож справа¹ вялика. А до фронту успеешь еще, — и Василиса отвернулась к печке.

Два дня прошли относительно спокойно, хотя и вскакивала Василиса при каждом подозрительном шорохе, кидалась к окошкам, стараясь унять тревожный стук сердца. На улицу выходила с опаской, а ребятишек так совсем не пускала. Измаялась за это время — сил нет. Понимала, что в любой момент могли прийти фашисты, и тогда им всем несдобровать. Что сможет сделать один необстрелянный солдатик, да к тому же раненый, против злой силы? Металась Василиса, страшилась, однако, по своему обыкновению полагалась на Господа, молилась Ему и верила.

Бабке Дарке за эти дни стало совсем худо. Дышала тяжело, с присвистом, на оклики Василисы не отвечала, а чашка с едой так и оставалась нетронутой.

Василиса заваривала ей травяной чай, подавала на печь, но старуха не притрагивалась к кружке. Лежала с плотно сомкнутыми веками, чуть шевеля бескровными посиневшими губами.

— Што ты, тетка Дарка? — беспокоилась Василиса, — аль болит што?

¹ Дело (белорус.).

— Слава Богу, забирае Ен мяне, — разлила глаза старуха, — жалкую тольки, что сыночка не побачу. Ты яму скажы про мати... можа, прийде живым. И мне ийтить трэба... а вы оставайтесь з Богом.

К вечеру бабки Дарки не стало, а на рассвете закрыв хату на щепочку Василиса уводила свою новую семью в лес. Николай вызвался проводить их, помочь нести поклажу да управиться с ребятишками у быстрой реки.

С собой захватили картошки, других овощей, что успели накопать по огородам, теплую одежду, кое-какую посуду и инструмент: топор, молоток, гвозди, лопату. Тося тащила на веревке упирающуюся козу.

— Ну, пайшла, зараза, — негромко покрикивала на нее девчонка.

Груня подгоняла прутиком упрямицу сзади.

— А як же мы ее через речку, Тось? — спрашивала Груня.

— Та сама переплыве, — беззаботно отмахивалась Тося.

В ответ коза громко и возмущенно мекала.

— Я вас на остров переведу, а потом вернусь. Еще вам картошки принесу, вдруг надолго застрянете, — Николай подбросил поудобнее торбу за спиной. Автомат висел у него на шее, — а потом опять буду к своим пробиваться.

Первые краски осени уже тронули листья. Ноги мягко утопали в лесной подстилке из еловых иголок, мха и перегноя. Высоко над головами, в ветвях деревьев кричал удод, попискивала мышь под корягой, стучал клювом об стол, в поисках вкусных личинок дя-

тел. Огромная муравьиная куча, шевелилась, словно живая, из мелких овражков и ямок поднимались белые клубы тумана.

Шли молча, и только Варвара время от времени отворачивала лицо и надсадно кашляла. Несколько раз на нее с беспокойством взглянула Василиса. «Не приведи Господи, совсем разболеется молодка. С чего? Наверное, сквозняком продуло, а может, ослаб женский организм от переживаний да голода, к тому же стояние по грудь в ледяной воде в то их бегство из горящей деревни, видимо, дало свои результаты».

Нагнувшись, Василиса сорвала несколько головок пижмы, потом увидев на поляне лиловые стрелы иван-чая, добавила в душистый пучок и их.

«Трэба будзе Варвару попоить, а то не рона година, сляже баба», — Василиса отыскала еще и веточки брусничника, все в капельках росы.

Федя дремал у нее на плече, Василек топал рядом, крепко уцепившись ручонкой за подол.

«Эх, вы сиротинушки», — горько вздохнула про себя Василиса, обмахивая с лица паутину.

Вначале хотели остаться там, где Василиса и Варвара начали копать землянку, но потом рассудили, что это слишком близко к деревне, и в случае чего фашистам легко будет найти беглецов. Поэтому и решили идти дальше в глубь леса и переправляться на остров и там уже вырыть убежище. Вот и шагали упрямо вперед, временами устраивая себе небольшой отдых, стараясь уйти подалее от страшных мест.

На острове нашли удобное место, закрытое со всех сторон деревьями, и расположились лагерем. Внизу, в ложбинке Николай разложил костер, и вскоре в котелке забулькала вода. Варвара в сторонке кормила Витая, изо всех сил сдерживая кашель.

— Вот, пей, — протянула ей горячую кружку Василиса, — да кофту еще одну надень.

Едва обустроив временное жилье для женщин и детей, Николай заторопился обратно.

— Пойду. Хочу к вечеру назад обернуться, а потом уже к фронту подамся, — вскинул он автомат на плечо.

Ребятишки, сморенные долгим переходом, вповалку лежали на еловых ветках, покрытых лоскутным одеялом. Варвара тоже дремала, прислонившись к огромной сосне. Василиса же взялась за лопату.

— Отдохни, мать, — тихо проговорил Николай.

— Як сдохнем, тады отдохнем, — кратко ответствовала Василиса, но все же на минуту прервала свою работу и перекрестила уходящего солдатика.

— Иди з Богом, — прошептала вслед.

Солнце уже коснулось верхушек деревьев, а Николая все не было. Василиса отложила лопату, потуже затянула платок. Чувало ее сердце недоброе, ох, чувало.

— Я у сяло схожу. Видать, случилось нешто.

— Куды ты, тетка Василиса? — хрипло вскрикнула Варвара, — не ходи.

— За дзецьми глядзи, я хутка¹, — Василиса, взглянула на икону Николая Чудотворца, пристроенную на дереве, и шибко пошла вперед.

Перебравшись за реку, она почти побежала. Тревога гнала ее все быстрее и быстрее. Ветки хлестали по распаренному лицу, подол юбки цеплялся за сухие коряги, в чуни набились сосновые иголки. Торопилась Василиса, хотя и не представляла, как сможет помочь солдатику, если не дай Бог, попал он в руки фашистов, а может, и нет его уже в живых, попал в засаду и погиб от руки злодеев. Не зря же так ухает ее сердце, болит душа, а ноги несут вперед, все убыстряя шаг.

Уже недалеко от хаты, остановилась на несколько минут, чтобы перевести дыхание. Закусила зубами уголки платка, задышала неглубоко и часто. До ее слуха донеслись какие-то звуки. Кто-то вскрикивал, матерился, стонал. К русской речи примешивалась чужая, гортанная, хрипялая. Перекрестившись, Василиса осторожно заглянула за угол избы. Подле открытой калитки стоял немецкий мотоцикл, у крыльца на земле валялся автомат, а по траве сцепившись в клубок, катались два солдата: наш и вражеский. Василиса тотчас узнала Николая, по светлому, вывалянному в пыли затылку, по белевшей повязке, видневшейся из-под полуоторванного рукава, по голосу, хотя и искаженному, но такому же звонкому, почти детскому. Соперник Николая, такой же светловолосый, здоровый немец, тоже что-то кричал, хри-

¹ За детьми смотри. Я быстро (белорус.).

пел, пытаясь вывернуться из цепких рук Николая.

«Он же ранен, — подумала Василиса про солдатика, — не одолеть ему супостата».

Приглядевшись, женщина заметила, что и у гитлеровца из прострелянной ноги течет кровь.

— Ах Ты ж, Божа мой, — с горечью прошептала Василиса, — што война творит. Забивают адзин адного. Для чаго?

Она на секунду прикрыла глаза, чтобы смахнуть слезы, а когда подняла веки, два солдата лежали бездыханными на земле. У Николая нож торчал в груди, у немца в животе. Василиса опустилась возле них на колени. Немец открыл глаза и прошептал что-то бледными губами.

— Мутер, мутер, — разобрала Василиса.

— Мати вспомнил, — поняла женщина и опустила дрожащую руку на холодеющий лоб гитлеровского солдата. Потом приподняла голову Николая и, целуя его в сомкнутые веки, заплакала горько, в причет.

— Сынок, сынок, любчик мой. Да як же так. Не поспела я к тебе. Не оборонила. Што мати твоей скажу?

И вновь разобрала шепот, тихий, словно шелест травы:

— Не успел... не дошел до своих... а может, и лучше, что... умираю сейчас. Мама... мама...

— Не журишь, сынок. Господь з тобой, — склонилась над солдатиком женщина.

Наконец Василиса поднялась с колен. Напрягаясь, закатила в сараюшку мотоцикл, забросала его рухлядью. Потом отыскала

там же лопату. Она выкопала две неглубокие могилы рядом с теткиной Даркиной и положила в одну Николая, в другую — немецкого солдата. Их документы она завернула в тряпицу и спрятала под кофту. Между низкими холмиками воткнула обломанную ветку ивы. Потом подобрала два автомата и, не оглядываясь, пошла в лес.

— Мама, мама, — с невысокого пригорка Василисе Матвеевне махала стройная женщина лет сорока пяти, в цветастом платье и накинутой на плечи шерстяной кофте. Рядом с ней тоже махала и что-то кричала целая толпа из мужчин, женщин и детей.

Май в этом году выдался жаркий. Пчелы гудели в поднимающихся травах, нежная листва трепетала под дуновением ласкового ветерка, разросшийся сад возле одинокой избы ронял белые лепестки в траву.

Поднявшись со скамейки, Василиса Матвеевна поспешила навстречу родным гостям. Вот так вот каждый год в этот день собираются ее дети и внуки здесь, у матери, и каждый раз так же кричат и машут с пригорка, а потом бегут навстречу, чтобы обняться всем вместе и вспоминать, вспоминать...

Глядя в милые лица, Василиса Матвеевна отмечает каждую изменившуюся черточку, новое выражение глаз, улыбку. Тося все такая же шустрая и быстрая, Маруся и Галя по-прежнему держатся вместе, а Груня стала настоящей красавицей. У Нади на руках малыш. Родила недавно третьего, а все равно приехала. Василько нежно поддерживает под локоть свою жену. Рядом с Любой дочка,

удивительно похожая на нее: большеглазая и темноволосая. Федя смотрит на мать ласково и немного с беспокойством, а Виталь еще больше возмужал и раздался в плечах.

Замечает Василиса Матвеевна среди своих и двух незнакомых старых женщин, примерно одного с ней возраста. Одна маленькая, сухонькая в темной юбке, в старенькой плисовой жакетке и клетчатом полушалке, несмотря на жару. А вторая высокая, прямая, в светлом плаще и шляпке. И выражение лица, и неторопливые чопорные движения, а также маленький лаковый ридикюль выдавали в ней даму городскую, интеллигентную, а то и вовсе иностранку.

— Мама, познакомься, — Тося вышла вперед, — это Клавдия Васильевна Кузнецова из Рязанской области, а это фрау Майер из Лейпцига, Германия.

Жужжали пчелы, дул ветерок, солнце заглядывало в лица, а Василиса Матвеевна все смотрела и смотрела на этих двух старушек. А перед глазами виднелся клубок из кричащих мужских тел. И последние слова, обращенные к матери, произнесенные солдатами перед лицом смерти, словно наяву услышала Василиса Матвеевна и, ступив вперед, поклонилась в пояс гостям:

— Ну пойдете до своих. Тут яны, ждут, — и внимательно, с благодарностью посмотрела на Тосю. Отыскала все-таки дочка матерей убитых солдат. По тем самым документам отыскала, которые Василиса Матвеевна бережно хранила всю войну. Сама неграмотная, она не могла прочесть ни имен, ни адреса, но Тося, как только выучилась да стала са-

мостоятельной, начала поиски. И вот нашла. Хотя и жаловалась иногда, как много сложностей пришлось преодолеть, особенно, чтобы добиться разрешения для фрау Майер посетить Россию.

Спрятав под фартук тяжелые, в выступающих венах руки, Василиса Матвеевна пошла вперед, Тося догнала ее, обняла за плечи:

— Мама, давай-ка ко мне собирайся. Хватит тебе тут одной на хуторе жить.

— Куды ж я от сваяков поиду? Выдумала яшчо... — Василиса Матвеевна повернулась к дочери и качнула головой.

Тося хотела было что-то возразить, но, взглянув в суровое лицо матери, промолчала. Дочь проследила за ее взглядом. Там вдали, на месте бывшего сельского клуба виднелся скромный обелиск, выкрашенный белой краской. Скорбная память о прошлом.

Василиса Матвеевна привела всех в сад. Под яблонями в ряд зеленели пять аккуратных холмиков.

— Вот тут усе, — старая мать указала рукой, — тут тетка Дарка, ета Варвара — не пережила зиму, сердэчная. А туточки Стяпан мой. Прийшел з войны увесь зраненый. Памер на другий год опосля Победы. Ну а тут сынки ваши... Миколай и... и... — Василиса Матвеевна посмотрела на Тосю.

— Николос, — подсказала дочь.

— Так, так, — покивала мать, — и... Миколай.

Длинные ветви разросшейся ивы накрывали обе могилы зеленым шатром, на темных крестах виднелись капельки росы, подсыхающей под лучами разгорающегося солнца.

Клавдия Васильевна беззвучно заплакала, опустившись на колени рядом с могилой. Фрау Майер беззвучно жевала губами, разом побледнев. Ее пальцы сжимали ридикюль, закрывая и открывая блестящий замочек. У рязанской матери платок съехал на середину головы, обнажив седую голову, и у немецкой фрау ветер выбил из-под шляпки белые прядки.

— Как ты погиб, сынок? — проговорила Клавдия Васильевна, поглаживая зеленый холмик.

— Ен загинул як герой, — Василиса Матвеевна подошла к женщине, помогла ей подняться, обняла и прижала к своему плечу. Потом обернулась на молчавшую фрау Майер. У той мелко-мелко дрожали губы, ридикюль раскрылся, и оттуда на траву посыпались какие-то мелкие вещички, но фрау этого не замечала. Она беспомощно смотрела на русских матерей, не смея приблизиться даже к могиле своего сына.

Василиса Матвеевна подала фрау Майер руку:

— И твой як герой, — и привлекла немецкую мать к себе.

Над их головами зазвенела молодыми листочками ива, и легкое воздушное облачко заслонило на мгновение солнце, а потом исчезло в голубой дали.



ЦЕНА ЖИЗНИ

Всю жизнь Антонину Петровну тянуло в родные места.

Небольшая деревушка, где ей довелось увидеть свет, расползлась вдоль шоссе, тянувшегося от тихого Бреста до шумной Москвы.

Женщина и сама не могла объяснить ту тоску, которая порой накатывала на нее бессонными ночами, а потом долго не отпускала, бередя память, стучась в нее березовыми ветками, словно в закрытую форточку.

Стремление Антонины Петровны побывать в родной деревушке было тем более удивительно, что переехали они с матерью оттуда сразу после войны. Тоне к тому времени едва исполнилось четыре года, и она быстро забыла и березовую рощу у околицы, и цветущее пахучим разнотравьем поле у кромки дальнего леса, и снежные сугробы у крыльца, и запах прелых листьев ранней весной. Разумом забыла, а сердце, видно, помнило. Как помнило и полный горечи рассказ мамы о том нелегком времени, и о причине, которая заставила их бежать из родных мест, бросив крепкую еще хату, сад, где росли раскидистые, корявые от старости яблони, и землю, изрядно политую потом предков.

Были моменты, когда Антонине Петровне хотелось все бросить, купить плацкарт и сломя голову мчаться прочь от города к затерявшемуся в перелеске полузаброшенному



Солнечный день. Деревня. 1898 г.
Худ. Исаак Левитан

кладбищу, на котором покоились пять поколений ее дедов и бабок.

Все это частенько представляла Антонина Петровна, видела, словно наяву, стремилась душой, но что-то сдерживало, цепляя делами и суетой, которая казалась нескончаемой. Что? Может быть, мамины скорбно поджатые губы, когда та пыталась объяснить своим малым детям, почему же они едут на край света из обжитых и привычных мест, трясясь на попутных пыльных грузовиках, а потом в холодных, продуваемых степными ветрами вагонах. А может, чувства обиды, вины и примешивающейся злости, чувств необъяснимых и оттого тревожащих и вызывающих невольные слезы. А еще стояли в памяти слова мамы, сказанные ею перед смертью.

— Не виновата я, Тося, — проговорила тогда Евдокия Степановна хрипло, с придыханием, цепляясь холодеющими пальцами за руку своей младшей дочери, — не могла я иначе... вас... вас... спасала.

Мама помолчала, а потом чуть слышно, с трудом произнесла:

— Батюшке я каялась, отпустил он мне тот грех... отпустил. А тебе, если доведется там побывать, наказываю, попроси у Николая прощения... могилке его поклонись... всю жизнь с этим живу... проклятая... но... но... не виноватая...

И эти слова мамыны, и необходимость просить прощения у мертвого Николая страшили и вызывали чувство протеста у Антонины Петровны.

«За что? За что извиняться?» — думала в смятении, вновь и вновь перебирая в памяти рассказанный мамой тот страшный случай, изменивший жизнь всей их семьи.

* * *

Начало лета сорок первого выдалось сухим и жарким. Быстро подоспели травы: клонил тяжелые головки розоватый душистый клевер, шумел жесткими стеблями белоус, роняли горячие лепестки ромашки. Рядом ровно поднялась пшеница, тянула колючие колоски к солнцу, а дальше, сколько хватало глаз, гудел на ветру зелеными волнами овес.

— Слава тебе, Господи! Уродилась пшеничка, — шептала Евдокия Степановна, держа на руках двухмесячную Тосю. Рядом, как грибы, облепили мамку, светясь белыми волосенками двухлетняя Нюша, крепенький,

всего на годок постарше сестры, Митя, курногая смешливая Сима пяти лет да вновь погодки — старшенькие Зина и Петя. Прошлой осенью Петя должен был пойти в школу, но решено было, что мальчик еще годок подождет сестру — бойкую, сметливую Зину.

— Зарежем бычка, справим вам одежду, — ласково теребила Евдокия Степановна кудряшки на Петиной голове, — отец сапоги стачает, ваше дело — только учись.

Смирный Петя робко жался к матери, а Зина насмешливо подталкивала брата в бок:

— А коли будешь лениться, то мамка на горох поставит, — и показывала Пете язык.

Евдокия Степановна строго погрозила шалунье пальцем и, передав ей Тосю, взялась за грабли. Впереди, широко размахивая косой, рядок за рядком валил траву отец. Самая страда подоспела: пока дождя нет, сено надо успеть заготовить, высушить да в сарай сложить.

На соседней делянке вытирал пот со лба Николай Головлев.

Тоже торопился погожие денечки урвать.

Николай — птица важная, в сельском совете самый главный, но мужик простой, не заносчивый, собой видный. Высокий, широкоплечий, светловолосый. Глаза голубые, словно краешек неба, сверкают, и с людьми всегда вежлив и почтителен.

В полдень, когда солнце распалилось нещадно, а овода и мухи, ошалев от духоты, жалили до крови, бросил Николай косу, подошел к Петру Ивановичу, протянул руку. Приветливо улыбнулась соседям и высокая, тоненькая дочка его — Машута. Жена у Нико-

лая в прошлом году померла, болезная была, слабая, а тут еще воспаление легких зимой подхватила — слегла под Рождество да так и не оправилась больше. Остался Николай вдвоем с двенадцатилетней дочкой. Машута — девчонка не забалованная, к труду приучена, отцу во всем подмога. И он на нее, бывало, не надышится. А что ж? Вдвоем теперь остались, без хозяйки: мужику трудно без бабы, и Машуте без матери ох, как нелегко. Вот и поддерживают друг друга, заботятся.

— Ну, что Петр Иванович, видно, в этом году с урожаем, — Николай крепко потер ладонями загорелое лицо: устал, да и жарко, спасу нет, — и травы удались, и овес вон стеной поднялся. Погодка постоит — план по сенозаготовкам выполним.

— И пшеничка, и овес — любо-дорого посмотреть, — улыбаясь в усы, подхватил Петр Иванович.

Николай примерно одного возраста с Петром Ивановичем. Обоим под сорок, родились и выросли в одной деревне, вместе в школу бегали. Но Николай обращается к соседу уважительно, по имени-отчеству. Знает — нет на селе лучше работника. Мало того, что Петр Иванович тракторист знатный, так еще и сапожник умелый. От отца перенял это ремесло, и теперь все односельчане несут ему обувку для ремонта. Дратва в его руках, ровно заговоренная, любую кирзу как шелк прошивает. А уж если сапоги возьмется тащить, да со скрипом, то берегись, честной народ! Ни одна девка не устоит супротив того шику, который мастер жениху на голенище наведет. На гулянке издали видно, чья ра-

бота у кавалеров на пятках посверкивает и гопака ломает.

Не уступает мужу и Евдокия: такая же работающая и умелая. Все у нее в руках горит: и за детками пригляд хороший, и скотина на дворе обихожена, и на делянке наравне с Петром трудится. А плясать пойдет, быстрая, боевая — огонь, а не баба. Затянет, бывало, голосом высоким, сильным:

Дайте мне клочок землицы,
Чтобы было что пахать;
Дайте мне мешок пшеницы,
Чтобы было что бросать.
Уж я жала рожь высоко,
Жала — не ленилася.
Увидала я миленка,
В лице изменилася.

Зина выскочит в круг и ну мамке подпевать, а малые в слезы.

— Мамка, не пой, — кричит Митя.

— Ну, чего ты испугался, любчик мой? — смеется Евдокия, целуя сыночка, — не все ж мамке твоей работать да с вами валандаться, а и для души надо... вот попеть да сплясать.

— Не надо, — тянет за подол и Нюша.

— Смотри-ка, — хохочет Петр, обнимая жену, — приревновали мамку-то. Привыкли, что только ваша она.

...Страшная весть, что началась война, полыхнула по деревне, словно пожар. Бабы были в голос, мужики растерянно молчали, а ребятишки, которые постарше, с горящими глазами рисовали в воображении картины будущих подвигов, малые же цеплялись за матерей и, глядя на них, ревмя ревели так, что звон стоял над селом.

— Николай Васильевич, что ж теперь будет? — спрашивали люди у председателя сельсовета.

— Бить будем эту сволочь, — сурово сдвигал брови Головлев, — погоним так, что пятки у фашистов засверкают.

На другой день Петр отправился в районный городок на призывной пункт. Уложил в заплечный мешок смену белья, ковригу хлеба, кусок прошлогоднего сала.

— Ты бы повестки дождался, — Евдокия испуганно смотрела на мужа, покачивая на руках хнычущую Тосю.

За одну ночь ее круглое лицо осунулось, как после тяжелой болезни, а плечи горбом пригнулись книзу, не давая вздохнуть полной грудью.

— А чего ждать, Дуня, — с закаменевшим взором муж пожал плечами, — рано или поздно все равно придется...

— Так ведь... вдруг война кончится, — в словах Евдокии звучала призрачная надежда, в которую она сама не верила, — и Николай говорит...

— Без нас не закончится, — усмехнулся муж, — а ты детей береги и себя. Люблю я вас...

Евдокия замерла. Никогда прежде не говорил Петр ей таких слов, может быть, только в юности, когда женихался и ухаживал, украдкой от людских глаз принося ей букеты полевых цветов. А уж после свадьбы и подавно не слышала слов признаний. Не мужское это дело — нюни распускать. Да и не ждала особо. Не до того в деревне-то. Страда за страдой, скотины полон двор, огород, делянка своя в поле, а там детки пошли. Хотя всегда знала Ев-

докия, что любя мужу. Видела это в его глазах, в быстрой улыбке, в готовности всегда помочь ей и поддержать. Душой чувствовала любовь мужа, и было ей этого достаточно. А вот сегодня услышала эти слова, и зашлось сердце от радости и горя одновременно. В лихой час сказаны, пришла пора прощаться. Надолго ли? Навсегда или доведется еще увидеться?

Провожала мужа по пыльной деревенской улице, тянувшейся через деревню, и слезы горячими ручейками лились по щекам.

— Мамка, не плачь, — теребила ее за руку Сима.

— Не буду, — шептала Евдокия, а слезы все капали и капали, прямо на пеленку, в которую была завернута Тося.

Нюша вертела головой, сидя на руках у отца, притихшего Митю вела Зина, Петя шел рядом с сестрой. Наконец все остановились у околицы, там, где начинался коровий выгон, и Петр, поцеловав Нюшу, поставил ее на землю. Она тут же заревела и протянула ручки к отцу. Тот, опустившись на корточки, приласкал Митю, затем обнял Петю, Зину. Малыши, словно почувствовав, что отец уходит, и уходит куда-то в тревожную даль, откуда можно и не возвратиться, заплакали. Евдокия осторожно передала младенца старшей дочери, и Петр крепко прижал жену к себе. Так они стояли молча несколько минут, а дети, задрвав головенки и всхлипывая, не отрывали от них глаз. Даже Тося проснулась и теперь тянула шейку, моргая и позевывая.

— Прощай, — прошептал Петр горько.

— Не говори так, ты вернешься... вернешься, — Евдокия обхватила ладонями колючие

щеки мужа, — мы с ребяташками будем ждать тебя. Береги себя.

Зина выдвинулась вперед и протянула отцу сложенный вдвое лист, вырванный из глянцевого журнала:

— Вот возьми, тять. Это мне Мишка председателей дал.

Цветной листок трепетал в тонких девочкиных руках. В этот скорбный час прощания она отдавала отцу самое ценное, что у нее было. Листок этот Зина выменяла несколько дней назад у сына председателя колхоза Мишки. Мальчишка бегал уже во второй класс, но с Зиной дружил с детства, хотя и дразнил иногда малявкой. Он-то и притащил этот листок и, усевшись за сараем и разглаживая его рукой, хвалился:

— Еле у тяти выпросил. Смотри, тут сам Сталин нарисован. Тятя говорит, он самый главный.

Девочка с завистью смотрела на играющий разными красками листок. И мужик там был изображен совсем как живой. Вот бы заполучить себе такое сокровище. Но Мишка отдать листок ни за что не соглашался. Пришлось выложить ему два гладких камушка, с дырочкой посередине, которые Зина нашла на берегу речки, еще зеленое стеклышко и сапожный гвоздь со сломанной шляпкой. Целых два дня Зина с замиранием сердца рассматривала чудесную бумагу, всматриваясь в лицо изображенного там усатого человека, а сегодня, не умея вместить своим детским сердцем горечь расставания с отцом, отдала ему выменянную драгоценность. И нисколько не жалко, лишь тятя

там, на неизвестной для Зины войне, хоть немножечко было хорошо. И не страшно.

Обняв и поцеловав жену напоследок, Петр скорым шагом пошел напрямик через выгон на большак, рассчитывая часа через полтора добраться до районного городка. Евдокия крестила его вслед, прижимая к груди Тосю. Остальные ребяташки плотно облепили ее вокруг и молча смотрели на все уменьшающуюся фигуру отца.

...Петр погиб через две недели. Их эшелон разбомбили фашисты недалеко от Витебска, куда наспех обученных новобранцев перебрасывали для ведения оборонительных действий. Бомба, сброшенная с немецкого пикирующего бомбардировщика, попала прямо в вагон, где ехал Петр. Столб огня и дыма, развороченный поезд, крики и стоны раненых... Все, что осталось от солдата, — это вещмешок, который взрывной волной выкинуло из окна вагона. Пахнувший гарью горячий ветер подхватил глянцевый листок и потащил к краю горевшего пшеничного поля. Поток воздуха взметнул бумагу с портретом вождя вверх, а потом так же стремительно опустил на огненные колосья.

* * *

Уложив Тосю в люльку, Евдокия подхватила тяжелую корзину с бельем и поспешила во двор. Пока малютка спит, надо успеть и белье развесить, и корову подоить, и старшеньких покормить. Сейчас, когда Петр на фронте, непросто бабе одной управляться. Да и тяжелые мысли одолевают. Как-то он там? Живой ли?

Выйдя на крыльцо, Евдокия окинула быстрым взглядом двор. Зина, усадив братьев и сестер в кружок на траву, что-то им рассказывала. Малыши молча слушали. Петя подле сарая созывал кур, подсыпая им зерна в кормушку.

Евдокия облегченно вздохнула, но не успела вытащить белье из корзины, как услышала треск мотоциклов и незнакомую гортанную речь.

— Немцы, — ахнула громко и тут же закричала Зине: — Скорей веди ребят в хату!

Кинув корзину во дворе, Евдокия схватила на руки упирающуюся Нюшу и, подталкивая остальных, заспешила к избе. Она услышала негромкий вскрик у соседней калитки. Заметила встревоженную Машуту и Николая, который, пригнувшись, побежал через сад к задней изгороди.

— Господи, хоть бы успел, — прошептала Евдокия, заводя ребятишек в сени. Знала, что Николай вместе с председателем колхоза занимались эвакуацией скота и техники, и хотя фронт катился к Москве, и где-то вдалеке слышна была канонада, никто и не предполагал, что немцы так быстро придут в деревню.

Дети, словно почувствовав опасность, притихли, и только Тося хныкала в люльке. Зина принялась покачивать зыбку, Евдокия усадила Симу, Митю и Нюшу на кровать и задернула шторы на окнах. Но в дверь уже ломились гитлеровцы: пыльные, чужие лица, ледяные глаза, в которые было страшно смотреть, руки, сжимающие автоматы, кривящиеся в злобных усмешках губы.

Евдокия встала, раскинув руки, пытаясь загородить детей.

— Матка, здесь будут жить немецкий солдаты. Пошла, пошла, шнель, — высокий белобрысый гитлеровец, широко расставив ноги, повел дулом автомата.

— Куда ж нам? — ахнула Евдокия, но, взглянув на ухмыляющихся фашистов, кинулась выводить детей. Те испуганно жались к стене, а Митя от страха принялся громко икать. Тося раскричалась и Евдокия, сунув малютку в руки Пети, начала завязывать в узел кое-какие вещи.

— Шнель, шнель, — прикрикнул немец. Евдокия вытолкнула малышей в сени, быстро сняла с полки старую, еще бабушкину икону Спасителя и заторопилась к выходу. Подгоняемая громким гоготом фашистских солдат, Евдокия едва не упала, споткнувшись на пороге, и перевела дух только во дворе, рядом с всхлипывающими ребятишками.

— Тише, тише, любчики мои. Не плачьте, — Евдокия взяла у Пети орущую Тосю, — вас мамка в обиду не даст... тише.

Жить перебрались в бревенчатый хлев, срубленный Петром аккуратно перед началом войны. В старом дощатом сарае скотине было уж очень холодно зимой, приходилось теленка да и кур в морозные дни заносить домой, вот Петр и задумал сделать зимник. Закончил в начале июня, и стены еще источали густой сосновый дух, «плакали» янтарными смоляными слезами, а топор, забытый Петром в углу, еще помнил его руки. Хорошо, хоть корову и свинью не успели сюда перевести, и куры еще обитали на летних насестах.

Петя с Зиной прикатили со двора березовые чурбачки, натаскали охапок свежего сена и занесли висевшие на заборе крынки.

Приложив вновь зашедшую в крике Тосю к груди, Евдокия наказала детям не высывать носа из сарая. На дворе загомонили, заорали куры, тревожно мычала корова, на высокой ноте завизжал поросенок.

Зина, не утерпела, выглянула из двери.

— Мамка, «эти» кур ловят и порося из закуты тащат.

— Господи, помоги, — перекрестилась Евдокия и тяжело вздохнула.

Поздно вечером в дверь сараюшки кто-то слегка стукнул. Евдокия обеспокоенно глянула на спящих ребятишек. Сама она баюкала Тосю, сидя возле узенького оконца, закрытого тряпицей. Теплый ветерок отдувал край цветной ткани, принося запахи цветущей липы, хлебного поля, исходящей соками травы. Словно и войны нет вовсе. Где-то прокукарекал петух, вскрикнула ночная птица, звенели цикады, и, казалось, что вот-вот тронет лады разудалый гармонист и полетит над деревенской улицей задушевная песня. Заухали за дальним лесом разрывы снарядов, и сразу исчезло наваждение. Война идет! А самый лучший гармонист на селе Григорий Лукьянов с первых дней ушел на войну.

Евдокия осторожно выглянула за дверь. У порога стояла Машута.

— Тетя Дуня, я к вам, — проговорила та дрожащим голосом.

— Проходи скорей, — Евдокия плотно затворила за девочкой дверь.

— Я на минутку к вам, — Машута присела на чурбачок, — бабушка Стеша послала о вас справиться.

Степанида Матвеевна, родная тетка Евдокии, сестра матери, жила на другом конце деревни. Было старухе уже почти девяносто, дальше своего двора она уже давно никуда не выползала, и в мирное время Евдокия забегала к Степаниде Матвеевне каждый день. Мать у Евдокии умерла рано, отец сгинул в Первую империалистическую, и ближе тетки не осталось никого.

— У нее я теперь, — шепотом рассказывала Машута, — тятя убег, а я к бабушке перебралась. Одной-то боязно.

— Слава Богу, что Николаю удалось уйти, — перекрестилась Евдокия, — фашисты-то, чисто звери. У вас не живут немые?

— Нет. Тятя мне и сказал к бабушке Стеше пойти, — Машута тихонько всхлипнула, — где он сейчас, как?

— Хотя бы Господь сберег его, — вытерла глаза Евдокия.

— Ну, пойду я, тетечка, — Машута встала, — бабушка ждет.

— А не забоишься? — потревожилась Евдокия.

— Не, — слабо улыбнулась девочка, — я огородами.

— Иди с Богом. Тетушке кланяйся, — Евдокия обняла Машуту, изо всех сил стараясь не расплакаться.

Машута скользнула в темноту, напоследок махнув Евдокии рукой. Как же должно быть страшно и одиноко девочке...

«Мои-то рядом с мамкой, а у Машуты матери нет, и отец неизвестно где и что с

ним», — загоревала Евдокия, укрывая разметавшуюся Симу.



Ночью заснуть так и не удалось. Лезли и лезли мысли. Вспоминала Петра. Евдокия даже не пыталась представить его нынешнее положение, о том, что мужа могло и не быть в живых, тоже старалась не думать. Горевала: что будет с ней и с детьми, коли задержатся немые здесь до зимы. Уж точно в хлеву им не выжить, если только попробовать лежанку какую-никакую сложить и топить хотя бы по-черному. Господи, а чем же детей кормить завтра? Евдокия опустила на колени перед иконой и остаток ночи шептала и шептала молитву-просьбу, чтобы поберег Спаситель ее с детками, чтобы оградил от пули Петра, чтобы помог поскорее прогнать фашистов с родной земли.

Рано утром, идя от коровы с ведром молока, Евдокия вздрогнула, заметив на крыльце немецкого солдата. Тот, по-видимому, направлялся напрямик к ней, и женщина напряглась внутренне, крепче перехватив дужку ведра.

— Идти сюда, — поманил фашист, затем указал на дом, — готовить еда для германский солдат. Шнель.

«Господи, благодарю тебя, — мысленно взмолилась Евдокия, — теперь будет и ребятишкам, что поесть».

В хате быстро растопила печку, поставила воду в чугушке, начистила картошки: еще с зимы осталось чуток. Пока картошка варилась, оглядела избу. Четверо фрицев похозяйски расположились в горнице. Один наигрывал на губной гармошке веселую мелодию, остальные громко переговаривались. Их

быстрая лающая речь заставляла Евдокию содрогаться. Сердце тревожно сжималось, а по спине пробегал холодок. Незаметно она отложила в миску несколько картофелин, достала с загнетки несколько сухих кусочков хлеба.

Как ни пыталась Евдокия меньше попадаться на глаза своим страшным постояльцам, но хозяйство ведь не бросишь. Отогнала корову пастись на выгон, накормила оставшихся кур. Поросятка в закуте не было, закололи вчера кабанчика, изверги. Вон и следы крови на траве, и внутренности валяются у забора. Там же виднелись куриные перья.

— Сожрали и не подавились, — сплюнула Евдокия. Накануне видела в щелку, как они пировали во дворе, смеялись, лопотали по своему: «Москва, Москва».

— Все равно не попустит Господь, не попустит, — шептала Евдокия, и хоть брал испуг, но старалась не показывать свое состояние перед детьми, только просила как можно реже выходить из временного жилища. Да разве удержишь? Нюша и Сима уселись под яблоней, играя гладко обструганными дощечками: еще Петр наделал для забавы. Зина с братьями ушли на огород полакомиться молодой морковкой.

Днем всех погнали на сход возле клуба. Евдокия хотела было оставить детей дома, да они ни в какую. Уцепились за юбку, глядят жалобно, слезы горошинами из глаз катятся.

У клуба вся деревня собралась, в основном бабы с ребятишками да старики. Молчат напряженно, выжидают, в глазах застыл страх.

— Это есть ваш староста, — высокий, очень худой офицер указал на Ваську Хро-

мого. Был тот до войны счетоводом по причине увечья, полученного еще в детстве. За это и прозвище получил. Потому и на фронт не призвали убогого. А он, видишь, что удумал? Толпа сдавленно ахнула.

— Он будет следить за порядком, — продолжал офицер, оглядывая всех цепким взглядом, — вам приказано выполнять все распоряжения староста. Сейчас вы должны говорить, где есть партизан.

Евдокия заметила прятавшуюся за спинами Машуту. Люди молчали. Боязливо поглядывая на офицера, Васька громко крикнул:

— Кому станет известно о скрывающихся в лесах партизанах — докладывать мне. За укрывательство — смерть.

— А ты чаво ж это теперича фашистом заделался али как? — спросил дед Антипа, работавший когда-то в колхозе конюхом.

Его уважали в деревне за прямоту, был он знаток старинных обычаев, и бабы частенько советовались с дедом, когда овес зачинать сеять и пора ли траву на сено валить.

— До Троицы нешто косят, — укоризненно качал головой дед Антипа.

— Так весна ранняя, теплая да влажная. Трава так и прет, — заспорит, бывало, с ним кое-кто из молодок, — да и деньки погожие стоят.

— Охолонь, — одернет молодку дед, — повалишь травушку только зазря. Сохнет плохо и скоту не полезная.

Теперь дед смотрел на Хромого, сердито сдвинув брови, отчего Васька забежал глазами и втянул голову в плечи. Однако, покосившись на немецкого офицера, немного приосанился и бойко заговорил:

— Я помогаю германскому командованию. Потому как начальство наше местное в лес утекло, а порядок быть должен. Так отчего ж не помочь?

— Так-то оно так, — дед Антип почесал затылок, — однако ты особо не усердуй. Опосля войны как народу в глаза глядеть будешь?

— Еще не известно, чем война закончится, — пробурчал Васька, а потом заорал остервенело: — Все расходись. Про партизан уяснили? Теперича по домам.

Потянулись тревожные дни, наполненные горестными мыслями, хлопотами, страхами и переживаниями. Страшные постояльцы, чувствующие себя полноправными хозяевами, наводили ужас на Евдокию, она опасалась за детей, стараясь не выпускать их из поля зрения.

— К избе близко не подходите, — наказывала, — подле сарая играйте.

В одну из ночей опять пришла Машута. Прямо с порога кинулась обнимать Евдокию.

— Тетечка Дуня, тятя приходил. В лесу они, отряд собирают. Там много солдат наших, из окружения пробираются, и командир среди них. Будут теперь партизанить.

— Вот и хорошо, — порадовалась вместе с девочкой Евдокия, — видишь, как Господь-то управил.

— Ага, — шептала Машута, посверкивая глазами, — тятя говорит, в землянках они живут, только голодно им там. Бабушка Стеша мучицы дала и кусок сала.

— Так и по деревне можно собрать, — встрепенулась Евдокия.

— Тятя не велел сказывать пока никому.

— Что ж, пусть так. Вот возьми картошки немного прошлогодней, — Евдокия ссыпала немного картофеля в холщовый мешок.

— Ведь вам тетечка самим есть нечего. Немые, поди, все отобрали, — девочка взрослому серьезно посмотрела на Евдокию.

— Бери, бери, — та сунула Машуте поклажу в руки, — мужикам-то там тяжелей, чем нам. Помогай им Господи!

— Спасибо вам, тетечка, — девчушка прильнула к плечу женщины. Евдокия обняла ее, поцеловала во влажные щеки, перекрестила на дорогу.

Радовалась, что не сгинул сосед, а приблизился к нашим и будет теперь врага воевать.

— Дождаться бы и от Петра весточки, — вздыхала Евдокия, — тож, поди, несладко ему приходится.

Однажды на рассвете затарахтела по деревне пулеметная очередь, загорланили, закричали фашисты, зашлись в злобном лае собаки. Под ударом кованого сапога с треском распахнулась дверь, и в сарай ворвались гитлеровцы с автоматами наперевес.

— Партизан, партизан, — злобно рывкнул один из немцев. Здоровый, с широким перекошенным лицом, он шагнул в угол, где спали ребятишки и прикладом принялся распахивать их.

— Не тронь детей, — встала перед ним Евдокия. Была похожа она сейчас на разъяренную волчицу: в глазах полыхала решимость, а раскинутые широко в стороны руки, словно крылья, готовы были трепетать, отбивать, защищать.

— Партизан, — вновь повторил фашист.

— Где? Вот этот партизан? — Евдокия подхватила и подняла на вытянутых руках вверх орущего спросонья Митю.

— Или вот она? — женщина указала на Симу, которая беззвучно плакала, часто помаргивая.

Петя, бледный, словно отбеленная холстинка, закрывающая окно, взял на руки Тосю и, сторбившись, отошел к задней стенке. Нюша так и не проснулась, и Зина, подхватив ее под мышки, потащила волоком туда, где стоял Петя с младенцем на руках.

Немцы переверостили всю постель, раскидали по полу сено, истоптали, изорвали лоскутное покрывало.

Выкрикнув что-то злобное напоследок, фашисты покинули сарай. Евдокия не в силах устоять на дрожащих ногах, села прямо на пол и знаками подозвала к себе старших детей. Митя судорожно, глубоко всхлипывал у нее на руках, а Сима легла ничком у мамкиных ног, и ее маленькие плечики, обтянутые цветным ветхим платьишком, тряслись от безудержных рыданий.

— Любчики, мои родимые, — шептала Евдокия, привлекая к себе деток, — золотые мои, не плачьте, не рвите вы мое сердце. Перебудем как-нибудь эту лихоту, выдюжим. Господь не попустит. Не плачьте, дитятки мои.

У нее все тряслось внутри, и хотелось закричать, завывать, заплакать в причет, но сдерживалась, из-за ребятишек терпела, загоняла слезы внутрь. Только гладила и гладила их дрожащими руками по головкам, по худеньким плечикам, и те под материнскими руками постепенно успокаивались, за-

тихали, прижимаясь к мамке поближе, облепляя ее, словно пчелы улей. Так до утра и просидели. Дети дремали, а Евдокия глаз не сомкнула. Едва шевельнулась, чтобы встать да идти корову доить, ребятишки все разом вцепились в нее ручонками.

— И мы с тобой.

Так всей гурьбой и пошли. А только корову в поле выпроводили, как к хате Васька Хромой ковыляет:

— На сход идите. Партизаны в селе.

У Евдокии сердце в пятки ушло. Сразу о Николае подумала, и Машута на ум пришла. Господи, неужели поймали соседа? Что же теперь будет? Не помилуют ведь его фашисты, чисто звери они. Осиротеет Машута дважды.

Уже возле калитки поблазнилось что-то Евдокии. Вроде как шорох какой-то позади. Обернулась резко: чья-то согнутая фигура нырнула к ней в сенник, стоящий на отшибе, в саду. Перекрестилась баба, не иначе от жары да от переживаний в голове закружилось, вот и чудится что зря.

Подошли к клубу. Евдокия крепче ухватила Митю за руку, на другой сидела Нюша, остальные ухватившись за юбку, стояли рядышком. Перед сельчанами в шеренгу выстроились фашисты с автоматами наперевес. Петя отступил на шаг назад, и Евдокия, опустив Нюшу на землю, взяла у сына Тосю. Если бы была у нее возможность, она бы их всех подхватила на руки и прижала к своему сердцу.

— Нам стало известно, что в ваших домах скрывается партизан, — высокий голос немецкого офицера резал ухо, — я вас спрашивать: где он?

Гнетущую тишину нарушало лишь пение беспечной птички высоко в небе, да заполошный петух горланил в чьем-то ближнем дворе.

За спинами мелькнуло бледное лицо Машуты. «Николай... — догадалась Евдокия, — видимо, Васька Хромой его выследил...» И вдруг как молния сверкнула в мозгу: сенной сарай, мужская фигура в дверях, мелькнувшая в ярких лучах солнца.

«Господи, оборони», — перекрестилась про себя Евдокия. У нее заныло сердце, и страшное предчувствие чего-то нехорошего зашевелилось в груди.

— Карашо, вы будете молчать, тогда мы будем стрелять каждый пятый, — губы у офицера вытянулись в тонкую полоску, а сощуренные глаза сверкнули холодной сталью.

— Расстреляют же, в самом деле, — как-то жалобно вскрикнул Васька, — тут где-то Колька, не мог он уйти, не успел. Говорите же, кто знает.

— Не знаем мы ничего, — подал голос дед Антип, — а стрелять-то в людей за что?

— Так вы будете говорить? — немец свел бесцветные брови к переносице.

— Не ведомо нам, где партизаны, — вновь повторил дед Антип. Толпа в знак согласия нестройно загудела.

Офицер подозвал одного из солдат.

— За укрывательство — расстрел, — проговорил офицер четко.

Все остальное происходило для Евдокии помимо ее сознания, которое словно покрылось плотным густым туманом.

Раздались выстрелы. С тихим вздохом упал на землю дед Антип. Закричала, забилась бездетная, вдовая молодка Клавдия Мельникова, похоронившая мужа аккуратно перед войной. Где-то в толпе истошно закричала баба, заплакали дети. Евдокия похолодела, когда дуло автомата уперлось ей в грудь. «Будем расстреливать каждого пятого, каждого пятого, каждого пятого...», — вертелись в мозгу слова офицера. Евдокии стало больно дышать. Одной рукой она сжимала Тосю, а другой принялась судорожно ощупывать головки детей. Офицер что-то сказал солдату, и тот отвел автомат от Евдокии и направил его прямо на Митю.

«Хочет сначала на моих глазах ребяток расстрелять», — эта мысль едва не лишила Евдокию чувств. Митя замер подле матери, Сима закрыла лицо руками, а Петя присел перед Ньюшой на корточки, и та крепко обняла его за шею. Дети словно чувствовали беду и даже плакать не могли. Фашист передернул затвор.

— Мамка, — подняла кверху перепуганное, растерянное лицо Зина. И было в ее глазах столько надежды и веры, что Евдокия не выдержала.

— Я скажу... я знаю... — выдохнула Евдокия, и перед ее глазами завертелись лица Николая, Машуты, Петра.

И вновь туман опустился на Евдокию: сдавило голову, в уши будто вату натолкали. А может, это Господь так попустил, чтобы не слышала Евдокия неодобрительных, злых выкриков в толпе, не видела недоуменных, презрительных взглядов. Поберег Господь ее

сердце, чтобы не разорвалось оно от содеянного. Спас разум, чтобы не помешалась Евдокия рассудком. Оборонил душу, которая в этот острый момент могла почернеть от ужаса.

Так же, не видя и не чувствуя ничего вокруг, вела Евдокия гитлеровцев к сенному сараю. Кричала на руках Тося, требуя мамкиного молока, хныкала Нюша, что-то шептала Зина, но даже эти звуки долетали до Евдокии словно издалека. Громко переговариваясь, немцы полезли в сенник. Остервенело кололи сено штыками, пытаясь отыскать спрятавшегося партизана.

Евдокия попыталась отойти в сторону, чтобы покормить Тосю, но гитлеровец преградил ей дорогу.

— Ну и где Колька? — прихрамывая, подскочил к женщине Васька, — зачем сбрехала, убьют ведь тебя, все одно убьют.

— Утром там был, — хрипло проговорила Евдокия, — а потом не знаю, можа, уберг куда.

— Хм... — Хромой задумчиво смотрел на сарай. Потом что-то зашептал офицеру. Тот кивнул и отдал короткий приказ.

Через некоторое время во дворе, конвоируемая гитлеровцами, показалась Машута. На девочке лица не было. Завидев Евдокию, она со слезами в голосе проговорила:

— Зачем же вы, тетечка... — но, получив удар прикладом в спину, тут же осеклась.

Машуту подвели к открытой двери сарая.

— Николай, слышь, — крикнул в проем Васька, — коли не выйдешь, дочку твою того, в расход пустят.

В ответ только шум ветра в кронах деревьев да истошный крик Тосеньки.

— Ну, смотри, — сплюнул Васька, — хозяин — барин.

Гитлеровец медленно навел на Машуту автомат. Она, словно замороженная, смотрела, как тот прицеливается, лоя на мушку девочкин лоб. Машута втянула голову в плечи и, покрываясь испариной от ужаса, закричала:

— Тятя-я-я-я... Тятя-я-я-я, — ее тонкий голос заметался в вышине, эхом отозвался по деревне.

Столпившиеся за калиткой селяне замерли, ожидая выстрела. Но вместо этого услышали тихий голос Николая:

— Не трогайте дочку, отпустите. Тут я.

На расстрел Николая повели все туда же, к клубу. У Евдокии разом отказали ноги. Придерживаемая с двух сторон Зиной и Петей, она с трудом доковыляла до ошкуренного бревна у забора и села, привалившись спиной к теплым, нагретым жарким летним солнцем доскам. Опять поберег Господь несчастную бабу, пожалел, утешая прохладным ветерком и ласковым говорком деток. Живы они, ее родимые, живы любчики, а больше Евдокии ничего не надо.

С этой мыслью и жила всю войну. Что уберегла детей, не отдала на растерзание извергам, сохранила жизнь, выполнила наказ Петра. Ради этого терпела косые взгляды односельчан, их хлесткий шепот в спину: предательница, свое одиночество, когда отворачивались от нее ближние и дальние соседи, не желая знаясь. Сколько раз хотелось Евдокии крикнуть на всю деревню:

— Простите меня, люди добрые. Не могла я по-другому поступить. Не могла деток

своих под пулю фашистскую подвести, не выдержало мое сердце материнское.

Только не смела, боялась, что еще больше озлобит она людей против себя, а главное против ребятишек, которым и так проходу не дают, дразнят по-всякому да колотят. Петя вон сколько раз с синяками приходил да со слезами. И Митю, и Симу, и маленькую Нюшу гаденышами обзывают да норовят подзатыльником «угостить». Был бы Петр дома, разве бы позволил такое. Вот придет с фронта, тогда все наладится.

Только не дождалась мужа Евдокия. Пришло в дом запоздалое извещение, что пропал, мол, без вести рядовой Петр Земсков, а где и как — неизвестно.

Тогда-то и задумала уехать из деревни Евдокия. Решила бросить родимые места, деревушку у реки, лес с темными, сырыми оврагами и цветущими опушками, березку у калитки, колодец с журавлем. Отрывала с сердцем, слезами обливалась, собирая нехитрые пожитки, а остаться не могла. Не могла смотреть, как Машута, завидя ее, перебежала на другую сторону дороги, как тетка Стеша скорбно качала головой, когда Евдокия забегала проведать ее, и могилу Николая, возвышающую посреди села возле клуба, тоже видеть не могла. Но пуще всего не хотела, чтобы дети ее, которые ни в чем не виноваты, выросли в обстановке злобы и ненависти. Потому и повезла их куда подальше. И всю жизнь пыталась объяснить им свой тогдашний поступок.

— Мамка, — сказала ей однажды Зина, — никакая ты не предательница. Ты же нас спасала.

Но Евдокия только печально склоняла голову:

— Вы-то понимаете, простили. А люди? А Николай?

С тем и жила. И умирая, думала об этом, потому и наказывала Тосе побывать в родных местах, поклониться могилке Николая, выпросить у него прощения. Может, хоть на том свете простит он им тот поступок.

* * *

Уезжала Антонина Петровна из села крошкой, и только, по рассказам матери да старших сестры и брата, помнила высокий взгорок за околицей, крутой мостик через быструю реку, ракету вплобхвата на деревенском пяточке. А приехала — и будто узнала эти места. Сердце затрепетало тревожно и радостно, а ноги сами привели к центру села, где за скромной синей оградой виднелся холмик, обсаженный цветами.

«Могила Николая», — застучало в висках. Подошла тихонько, зашла в ограду и словно увидела тот летний день: толпу народа, и гитлеровцев, наставивших на них автоматы. Антонина Петровна увидела все это глазами матери, почувствовала ее страх, биение ее сердца, услышала крик, рвущийся из души. Представила и своих детей, теперь уже взрослых, но так и оставшихся для нее, как и для любой матери, малыши несмышлеными детками. Да какая же мамка предательница! Ведь и сам Николай вышел из сарая, чтобы спасти свою дочь. А как бы поступил он, если бы оказался на мамкином месте?

Антонина Петровна опустилась на колени перед могилой, прижала руки к мокрым щекам.

— Простите вы нас, Николай Васильевич, — слова рвались из души, — простите Христа ради. Мучилась мамка всю жизнь, и нам беспокойно. Не хотела ведь она, но и по-другому не могла.

— А чаво ж убегла из деревни? — проскрипел сзади старческий голос. — Сама чаво ж ни разу на могилу не пришла да не покаялась?

Позади Антонины Петровны, опираясь на палку, стояла грузная старуха в темном платье и шерстяной кофте.

— Батюшке каялась мама, отпустил он ей грех, — Антонина Петровна гадала, кто перед ней.

— Батюшке-е-е, — протянула старуха недовольно, поправляя платок, — батюшке-то что ж, он там не был. А тетечка могла бы и приехать да ко мне прийти. Поговорили бы мы с ней, обсудили бы все.

— Так вы Машута? — ахнула Антонина Петровна и тут же поправилась: — Простите, Мария Николаевна.

— Она самая, — кивнула старуха, — жива вот еще. А тетечка-то давно померла?

— Два года назад. Перед смертью наказывала, чтобы я на могилке побывала да прощенье выпросила. Переживала всю жизнь очень, — Антонина Петровна поднесла платочек к глазам.

— Что ж у мертвых-то прощенья просить, когда живые есть? — Мария Николаевна раз-машисто перекрестилась.

Антонина Петровна молчала, не зная, что сказать.

— Ты надолго приехала? — спросила старуха.

— Да, сегодня и поеду, — робко ответила Антонина Петровна.

— Пошто так? — Мария Николаевна взглянула на женщину в упор. — Погостила бы.

Антонина Петровна смешалась. Осталась бы она на несколько дней, походила бы по родным местам, отдохнула бы душой, только разве приютит ее кто. Бабушки Стешы давно нет в живых, и других родственников никого не осталось.

— Можешь у меня остановиться, — слово угадала ее мысли Мария Николаевна.

— Но ведь... — Антонина Петровна горестно вздохнула.

— И-и-и, милая, — Мария Николаевна была серьезной, но глаза потеплели и будто улыбались, — твоя правда, сердилась я сильно на тетечку, ругала ее, даже проклинала. А вот как замуж вышла да родила — простила. Не сразу, а простила. Заболел сынок тяжело, куда только не обращались, угасал, чах на глазах. Тут и вспомнила я тетечку. Нешто бы я не сделала чего угодно для своего дитенка. Лишь бы живой был да здоровый. Тятя ведь тоже мог притаиться, а только не стерпело сердце. Так что я так рассудила: виноватых здесь нету, война проклятая во всем виновата. Тетечку я все ждала. Думала, вот приедет, хорошо хоть тебя дождалась. Теперича и помирать можно спокойно.

— Не надо помирать, Мария Николаевна, — у Антонины Петровны вновь блеснули

на глазах слезы, теперь от радости, — живите долго.

— Да поживу пока, — улыбнулась Мария Николаевна, — ну пойдем, у нас с тобой нынче разговоров много будет. Всех вспомянем.

Старушка приглашающе махнула рукой и повела свою гостью вдоль деревни к видневшемуся невдалеке аккуратному деревянному домику.



ГОРЬКОЕ СЧАСТЬЕ

Была Вера Федоровна женщиной крепкой и, как звали ее на селе, ухватистой. Что косить, что рожь жать — никто за ней угнаться не мог.

— Ну и сила у тебя, Верка, — восхищался, бывало, их колхозный бригадир Василий Павлович, или попросту Палыч, — любого мужика обставишь.

— Да, есть маленько, — грубоватым голосом отвечала Вера Федоровна, насаживая на вилы большую копешку сена и подавая ее на скирду, — отошел бы ты, Палыч, подальше, а то зашибу.

Бригадир предусмотрительно делал шаг назад, а Вера Федоровна морщила в улыбке крупное лицо, отчего ее курносый нос еще больше вздергивался, а и без того маленькие глаза превращались в узкие щелки.

Что и говорить, красавицей Веру Федоровну назвать было нельзя. Широкоплечая, плотная, с грубоватыми чертами лица, редкими волосами и белесыми ресницами и бровями, тем не менее Вера Федоровна пользовалась уважением всех мужиков деревни, а старики и бабы при встрече с ней почтительно кланялись, величая по имени-отчеству. Были среди мужиков и такие, кто не прочь был ущипнуть женщину за крутые бока, на что Вера Федоровна неизменно вздергивала брови и строго тянула:

— Не тронь, а то...

Деревенские бабы своих мужиков к Вере Федоровне не ревновали. Знали, нет ее честней, да и душу Вера Федоровна имела голубиную, бесхитростную. Всем была готова на помощь прийти, причем бескорыстно.

Тянулись к ней односельчане, чувствуя не только физическую силу. Своей стойкостью духа поддерживала Вера Федоровна деревенских подруг и во время войны.

— Ой, сгинем мы все. Пропадем. Война, война... — стонали, голосили бабы, когда объявили, что фашисты бомбят русские города.

— Выдюжим, устоим, — успокаивала всех Вера Федоровна, — чего ж реветь? Этим делу не поможешь. Не поддадимся фрицу, бабы, коли помогать друг дружке будем.

— Побьют мужиков наших, — заходилась в плаче, причитывала многодетная Степанида Куделина.

— Да, побьют, многих побьют, — хмурила лоб Вера, строго оглядывая баб, — а как без этого? Чай, за нас да за ребятишек наших ушли мужики на войну. И нам раскисать нечего.

Вера прижимала к груди трехлетнего Гришу и размашисто крестилась.

Замуж она вышла незадолго до войны. И сама уж не чаяла, что найдется и для нее мужик обстоятельный и работающий. А нашелся вдовец бездетный из соседнего села. Посватался к почти уже сороколетней Вере Стройковой. Она и согласилась. Не вдруг, конечно. И до этого заглядывал он к Вере. Увидел как-то в районном центре на совещании передовиков производства, вот и присох сердцем. И Вере приглянулся Алексей, к душе пришелся. Кряжистый, словно дуб,

росший посередине деревни. Волосы черные, в которых кое-где серебряные нити запутались, будто паутина осенняя, в глазах — темная ласковая вода плещется, затягивает, как в омут, манит, зовет. Вроде и улыбается редко Алексей, и все больше молчком, а добротой так и веет от его лица. По всему видать: любя ему Вера. Недолго думая, заслал он сватов.

— Выходи, девка, за Лексея, — советовала мать, — хорош мужик, по всем статьям вышел.

А Вера и сама уже все решила. Только одно условие поставила жениху:

— Дитя хочу. И не одного. У тебя, смотрю, ребятишек не было от первой. Можя, не желал ты. А я...

— Без детей какая же семья, — обстоятельно проговорил Алексей и тем еще больше прикипел к Вериному сердцу, — Варвара не могла родить, а я деток дюже люблю.

На том и порешили. Расписались по осени в сельском совете. Свадьбу не делали. Так, посидели в саду под вишней, с которой уже лист обсыпался, выпили по чарке вина, затянули негромко песню. Алексей петь был горазд. Голос имел глубокий, чистый, и Вера ему ладно подпевала:

Ах ты, ноченька, ночка темная,
Ночка темная, ах, ночь осенняя.
Что же ты, ноченька, да при... притуманилась,
Что ж, осенняя, ах, принахмурилась?

Жили дружно. Может, оттого что поженились уже не молодыми, а может, и вправду пришла к ним самая настоящая любовь, только чувства со временем не остыли, и не было для Алексея лучше Веры на всем белом свете.

А уж когда пришла пора той родить, не находил мужик себе места от беспокойства. Не молоденькая, чай, и врачи предупреждали, что непросто в таком возрасте рожать. Вера же только беспечно пожимала плечами:

— Обойдется, — ласково глядела на мужа, — для баб эта работа привычная.

Однако рожала трудно и долго. Измучилась вся. Теща Анастасия Фроловна от икон не отходила, а Алексей ни есть, ни спать не мог. После работы просил у бригадира коня и верхом летел в город, в больницу. Когда через три дня бесконечного ожидания, молитв, волнений и страха врач объявил, что у Веры родился сын, Алексей едва было не расплакался. Прижался лбом к стеклу одноэтажного роддома, ощущая, как внутри у него разливается тепло и радость. А Вера, стоя по ту сторону окна, улыбалась ему хотя и усталой, но счастливой улыбкой.

...Гриша подрастал, и супруги уже подумывали о втором ребенке. Только забеременеть у Веры не получалось, потому решили летом ехать в больницу аж в область, подлечиться как следует, может, и удастся родить второго. Вера хотела дочку, и Алексей был не против. Поездку наметили на конец июня, хоть и страда, но обещался председатель отпустить дня на три, обследоваться, а уж если что, полечиться и зимой можно. Собирались, мечтали, загадывали, только не знали, что война уже шагает по родной земле.

Исходили криком бабы, провожая своих мужей на войну, причитывали в голос, не ведая, увидят ли когда-нибудь мужиков. Вера Федоровна плакала вместе со всеми, а когда

скрылись новобранцы за рощицей, обернулась к односельчанкам:

— Что ж делать, бабы? Будем ждать мужиков наших и молиться. Да ребятишек беречь.

Кивали товарки согласно, только слезы сами лились из глаз. Да и как не плакать? Пришла беда страшная, невиданная, оттого и страх обуял сердце. Неведомо, что ждет впереди и их всех, и родную деревню, и страну.

А время, в самом деле, наступило тревожное. Месяца не прошло с начала войны, как немцы заняли деревню. Заполонили улицы чужие солдаты, кричали, словно лаяли, ухмылка не сходила с откормленных физиономий. Быстро заняли хаты, вытеснив хозяев кого в маленькие запечные коморки, а кого и в сараюшки.

В избе Веры Федоровны поселился, судя по всему, офицер. Высокий, прямой, как палка, с надменным взглядом маленьких светло-серых глаз.

Анастасия Фроловна — мать Веры, несколько раз перекрестилась, когда, слегка пригнувшись, в избу вошел фашист и, широко расставив ноги, заложив кулаки за спину, огляделся вокруг.

— Туда, шнель, — указал он старухе и Грише, игравшему возле стола, за занавеску.

— Кто это? — спросила Вера шепотом у матери, когда зашла в избу из сарая, где доила корову, и увидела по-хозяйски расположившегося в избе немца.

— Знать, енерал, — мать пугливо озиралась.

— Ага, как же! — усмехнулась Вера, — поди, мелкая сошка, а вони...

Офицер разложил на полке возле печки свои бритвенные принадлежности, вытащил кусочек розового мыла и поместил его у ручкомойника над шайкой. До этого Вера Федоровна мыла и в глаза не видывала и в руках не держала. Стирали, мылись в деревне щелоком. Выгребали из печки березовую золу, заливали кипятком, настаивали. Получалась вода мягкая, на ощупь словно шелк. Вот в ней и белье замачивали да в печке парили до белизны, да и головы мыли, отчего росли у баб волосы длинные и густые, ребятишек купали. Слышали деревенские, что в городах используют для этих целей маленькие брусочки мыла, и только удивлялись: что может быть лучше щелока?

Когда немец вышел из хаты, Вера Федоровна потрогала кусочек мыла, даже лизнула. Так, ничего особенного, и на вкус противное. А потом случился с этим мылом казус. Немцы гоняли все работоспособное население на расчистку пустыря под аэродром. Корчевали пни, выравнивали от кочек поле, снимали дерн. Вера оставляла Гришу с матерью, а сама целый день вместе со всеми на работах. На что она к работе привыкшая, и то от натуги черные мушки перед глазами прыгали, да в висках прямо-таки набатом стучало. Вечером домой едва приползала. А в тот раз еще на крыльце почувствовала неладное. Что-то кричал, топал ногами немец, и Гришин тоненький плач бил в уши. Захолонуло материнское сердце, рванула дверь. Офицер, стоя у ручкомойника и указывая на него пальцем, без конца повторял на высокой визгливой ноте:

— Зайфе, зайфе. Где есть зайфе?

Мать, вжавшись в угол и скрестив руки на груди, беззвучно шептала что-то сухими губами. Гриша прятался под лавкой, иногда высовывая мокрое от слез личико.

— Верка, Господи Боже сил, — воскликнула Анастасия Фроловна, увидев дочь, — какого зайца он ищет? Ничева не пойму.

Сразу смекнув, что требует фриц, Вера Федоровна подошла к шайке и, опустив руку в воду, нашарила на дне скользкий кусочек мыла.

— На, — швырнула мыло на полку, — подавись. Понапугал всех, — и подхватила Гришу на руки.

— Я есть тебя стрелять, — зашелся в крике немец, услышав по интонации оскорбительные нотки в голосе Веры.

— А стреляй, — встала та напротив офицера и в упор взглянула ему в глаза, — коли из-за мыла поганого в людей пулять не жалко, стреляй.

— Ты что, ты что, — потянула ее сзади за подол платья мать, — Господь с тобой. Нешто понимает он что? Отойди. Дитя у тебя.

Опустила Вера глаза, склонила голову. Скрепя сердце склонила. Ради Гриши и матери. Фашист, схватившись было за кобуру, отдернул руку и выскочил вон из хаты.

А весной погнали наши немцев. Те напоследок сожгли все дома до единого. Сами жители едва спаслись от лютой смерти, и то потому, что наступление русской армии было стремительным и успешным. После освобождения наступили времена хоть и не под немцем, но голодные. Скота не осталось, запасов никаких, на всю деревеньку одна коровенка худая, которую удалось Вере Федоровне во время оккупации

ции в лесу запрятать. Молока от той коровы едва-едва ребятишкам малым хватало, хлеба совсем не было, картошку мерзлую, вытаявшую из-под снега собирали по огородам. Но не роптали бабы, знали, что мужикам на войне вдвойне тяжелей, да и смерть по пятам ходит. Ждали, надеялись, верили. Ждала своего Алексея и Вера. Ох, как ждала!

— Молись, мама, можа, и вымолим вдвоём Лешу, — обнимала мать за плечи.

— Как Бог даст, — вздыхала Анастасия Фроловна, — страсть-то какая творится. Война...

Не вымолили. Принесли похоронку на Алексея в конце сорок четвертого. Вновь и вновь перечитывала Вера Федоровна скупые строки: «Пал смертью храбрых в боях за освобождение Белграда». Не принимало Верино сердце это известие, не хотело верить, что нет больше Алексея. Кричать хотелось, выть, кататься по земле, только осекла мать:

— Богоугодную смерть принял Алексей. Не в плену, не мучился и предателем не оказался. Слава Богу за все, — сказала так Анастасия Фроловна, а у самой разом почернело лицо и словно морщин прибавилось. Сдержалась и Вера, только от горя волосы стали выпадать клоками, тряслись губы, не стало крепости в руках.

— Не мы одни такие, — успокаивала мать, — почитай, по всей стране бабы вдовами остались. Выдюжим. Куды ж деваться?

Деваться было некуда. Так и жили. Гриша подрастал, радуя мать с бабушкой.

— Я, бабуль, трактористом буду. Как папка, — оглядываясь на портрет Алексея, висевший на стене у окна, говорил Гриша.

— Будешь, будешь. Помогай Господи. Дожить бы, — кивала Анастасия Фроловна.

Только не дожила. Почитай, на Гришин выпускной и умерла.

— Одни мы с тобой теперь остались, — рыдала Вера Федоровна, обняв сына, — ты вот уедешь учиться, а мне не к кому и голову приклонить.

Гриша школу закончил с отличием, и в старших классах мечтал стать инженером.

— Мам, я все равно как папка, — виновато опускал он глаза, — только буду эти трактора делать. Понимаешь?

— Ничего, ничего, сынок, — вытирала Вера Федоровна глаза — стала с возрастом уж больно чувствительна. — Все правильно. Отец гордился бы тобой. Поезжай учиться.

А теперь вот затосковала. Тяжеленько одной, грусть рвет душу. Было Вере Федоровне к тому времени уже больше пятидесяти. Считала: прошла жизнь, пролетела как один миг, и оказалось в ней горя больше, чем радости. А теперь, когда уедет Гриша, и совсем завянет Вера Федоровна, состарится раньше времени. Так думала она и днем, и длинными вечерами, только Господь рассудил иначе.

Прислали к ним в разгар лета нового председателя. Бывший, совсем уже старенький, на пенсию ушел, а на замену ему прибыл из района немолодой тоже мужик, лет пятидесяти, седой весь и с лица смурной.

— Прошу любить и жаловать — Федор Яковлевич Березин, — представил его на колхозном собрании инструктор райкома, — но не только любить, но и помогать во всем тоже вас попрошу, товарищи. Трудно

Федору Яковлевичу придется на первых порах, так вы его поддержите.

— А как же! Поддержим, — крикнула с места боевая Шура Симакова, незамужняя. Лет сорока баба. Вековая, одним словом.

Зыркнул на нее Березин, поправляя приколотую к пиджаку медаль, но ни слова не сказал.

— Слышь, бабы, председатель-то наш вдовый. Пришел с войны, а его жену с ребятишками немцы убили, — шептались односельчане после собрания.

Покачала Вера Федоровна головой. Жаль мужика. Тяжело жене мужа терять, а мужику вдвойне трудней. Потому словно дети они, перед горем теряются, тяжелей переносят потерю. Вот и взглядывала Вера Федоровна на председателя с сочувствием, когда заглядывал тот к ним на ферму. А Березин, словно чувствуя взгляд, оборачивался в самый неподходящий момент и, когда встречался с Верой глазами, вспыхивала та, как девчонка, пытаясь унять колотившееся сердце.

«С чего? Дура я, дура», — ругала себя, когда Федор Яковлевич уходил. А председатель зачистил на ферму. Приходил вроде по делам, только замечала Вера, что старался Березин, будто невзначай подле нее оказаться, а встречаясь взглядом, улыбался едва заметно уголками губ. А в один из вечеров пришел Федор Яковлевич к Вере домой. Долго мял кепку у порога, и она молчала, с удивлением чувствуя, как затрепетала душа, разволновалось сердце в ожидании чего-то неизвестного и в то же время желанного.

— Вы проходите, Федор Яковлевич, проходите, — выдохнула, наконец, указывая на табурет.

Березин шагнул к столу, полез было в карман за папиросами, да отложил пачку в сторону.

— Я вот чего пришел, — после долгого молчания начал председатель, — вы уж простите, Вера Федоровна, буду говорить напрямки, хотя признаюсь, нелегко мне это. Нравитесь вы мне, шибко нравитесь. Если не против, давайте сойдемся, поженимся и станем жить вместе.

У Веры разом зашло сердце от неожиданной радости, захолонуло так, что и слова не может вымолвить. Прижала руки к груди, чувствуя: стучит, стучит сердечко, словно рвется наружу, навстречу Федору Яковлевичу, счастью своему запоздалому. Шагнула было к нему Вера, да словно споткнулась. Вдруг вспомнила тот день, когда приходил к ней свататься Алексей. Вот так же сидел подле стола, волнуясь. Не знал, куда деть руки, проглатывал слова, теребил полу пиджака. Хоть и прошло почти двадцать лет с того времени, а Вера помнит все, как наяву. И что же она теперь? И к чему все это? Вере Федоровне показалась оскорбительной своя радость. Оскорбительной для памяти погибшего мужа.

— Не могу я, — прошептала, не глядя в глаза председателю, — не могу.

Березин встал, зашагал к выходу. Видно было, как пробежала тень по его лицу. У порога обернулся:

— А все-таки вы подумайте, Вера Федоровна. Подумайте.

Хлопнула калитка во дворе. Ушел председатель. А у Веры Федоровны не идут мысли о нем из головы. Призналась себе: да и ей люб Бере-

зин. И не прочь бы выйти за него замуж. Только куда? Возраст уже, да и что Гриша скажет.

Всю ноченьку промучилась, сон не шел и мысли разные одолевали. А утром попросила Любу Грачеву, товарку свою, заменить ее на ферме и поехала в район.

Церквушку отыскала быстро. Бывала там с матерью несколько раз еще до войны. Потом, правда, недосуг было в храме побывать. Да и далековато от села. Вот и молилась Вера дома, хотя тянуло в храм, ох как тянуло. А этот, слышала, и в войну не закрывался. Из трех церквей немцы разрешили вести службу только в этой. В других же разместили конюшню и госпиталь. Помнила Вера Федоровна и батюшку — высокий, сутулый, совсем старик. Только, поди, нету его в живых. Вон сколько всего случилось за это время.

Так и оказалось. Навстречу к ней вышел священник лет шестидесяти, роста низкого, темноволосый, с умными глубоко посаженными глазами.

Перекрестилась Вера Федоровна на иконы, склонилась к батюшке.

— ...Замуж предлагает, — шептала сбивчиво, — так разве ж можно. Мне уже пятьдесят шесть. И Алексей... Хоть и погиб, а все ж... Да и грех это.

— А к Федору лежит ли сердце? — батюшка смотрит понимающе.

— Да... лежит, — и опять застучало у Веры Федоровны сердце, гулко отдавая в виски.

— Нет тут греха, Вера. По всему видно, что любовь промеж вас случилась. И возраст тут ни при чем. Может, не зря Господь свел вас, чтобы поддерживали вы друг друга до кон-

ца дней. У Федора все родные погибли, и ты одна, как перст. Гриша теперь отрезанный ломоть. Вот и держитесь с Федором вместе.

После батюшкиных слов, будто камень свалился с Вериной души. Наверное, и в самом деле, так Господу угодно. Может, дает Он им хоть на старости лет счастья испытать, за все те беды, что хлебнули через край во время войны. Была, правда, у Веры еще одна доука, которая пока не давала покоя. Недолго думая, захотела разрешить и ее.

Вера Федоровна заглянула на почту, купила конверт и села писать письмо Грише. Написала все как есть: и про свои чувства, и про отношение Федора, и про батюшкины слова. Ответ пришел быстро. «Ты, мама, смотри сама, — писал Гриша, — если нравится тебе этот человек, то я только рад буду. Главное, чтобы не обижал он тебя».

Какое обижать?! Готов был Федор со своей Веры пылинки сдувать. Внешне, правда, не показывал свои чувства — характер такой, — но старался, как мог, угодить. Хотя и занят был сильно, но всю тяжелую работу по дому взял на себя, а иногда и женскую прихватывал: Вера Федоровна на ферме допоздна, а он и ужин приготовит, и со скотиной управится, и корову подоит. Жалел Веру, и от этой жалости таяло ее сердце, разливалось тепло в душе.

Осенью расписались они.

— Надо бы обвенчаться, — вздыхала Вера Федоровна, — так ведь коммунист ты. Попадет тебе.

— Обязательно обвенчаемся, — успокаивал жену Федор, — погоди чуток.

Стояло начало сентября. Дожди зарядили с первых дней, заполняя водой овражки, выбоины на дорогах, ямы и буераки. Солнце не могло пробиться сквозь плотные тучи, а по утрам густой туман окутывал деревню, не рассеиваясь до самого обеда.

— Нонче, знать, не будет бабьего лета, — горевала Вера Федоровна. Любила она это время года, созвучное ее нынешнему состоянию и возрасту. Хотелось, чтобы в эти дни, когда она обрела свое женское счастье, и природа порадовалась бы за нее.

— Бабье лето по календарю только завтра начнется. Поглядим, — подбадривал жену Федор Яковлевич.

О том, что погода изменилась, Вера Федоровна почувствовала рано утром. Не стучал дождь по крыше, не хлюпала вода в огромной луже во дворе, и за окном вместо белесого тумана виднелся край яркого солнца.

Закутавшись в большой шерстяной платок, Вера Федоровна вышла на крыльцо и сразу зажмурилась. Сколько света! Солнце медленно катилось из-за леса, огромное, красное, отчего листья на верхушках деревьев светились золотом и багрянцем. Вера Федоровна присела на крылечко и подставила лицо солнечным лучам. Нежаркие, они ласково щекотали ее щеки, лоб, дотрагивались до губ. Тугой осенний ветер растрепал волосы, пытаясь выбить пряди из-под платка. Нападавшие за ночь листья укрыли раскисшую от дождей дорожку желто-красным ковром, а рябиновые кисти, просвеченные насквозь солнцем, склонились низко над калиткой, образуя шатер.

Вера Федоровна заметила небольшую, словно сотканную из серебра паутинку, которая зацепилась за ветку рябины и трепетала на ветру, пытаясь вырваться и отправиться в полет. Наконец очередной порыв ветра оторвал паутинку от дерева, и серебристое кружево запорхало вперед. Паутинка летела навстречу Вере Федоровне, и та раскрыла ладони, боясь, что может упустить это чудо. Но серебристые нити, медленно покачивая крыльями, опустились прямо в ее руки, и Вера почувствовала прикосновение будто бы нежного шелка.

— Паутина полетела. Верный признак, что бабье лето наступило, — негромко проговорил неслышно подошедший Федор Яковлевич.

Он накрыл своей ладонью Верину руку. Супруги помолчали некоторое время.

— Ну что, отпустим? — Федор Яковлевич нежно посмотрел на жену. Они распахнули руки, наблюдая, как потоки воздуха увлекают паутинку все дальше и дальше.

А солнце стояло уже над деревьями, и дальняя березовая роща, вся пронизанная его лучами, казалось, была накрыта золотым покрывалом. Запели петухи по дворам, высоко в небе кружились птицы, собираясь в стаи, и не уснувшие еще мухи выползли из-за щелей.

Не сговариваясь, Федор и Вера подняли лица к синющему, без единого облачка небу. Там высоко в поднебесье плыл журавлиный клин, и ветер доносил их гортанные крики. Терпко запахло прогревающейся землей, у края лужи столпились вышедшие из сарая

гуси, в хлеву нетерпеливо помыкивала корова. Наступал новый день со своими заботами и радостями. Каким он будет? Неведомо. Может, пройдет, как обычно неторопливо, в трудах и хлопотах, а может, и промчится, словно вихрь, не оставляя времени даже на раздумья.

Но одно только Вера Федоровна знала наверняка: бабье лето обещало быть погожим и теплым.

Ласково улыбалось с небосвода солнце, кружились в воздухе и медленно опускались на садовую дорожку желтые листья, хлопотливо стучал в калитку ветер. А на крылечке, склонив головы друг к другу, сидели, обнявшись, мужчина и женщина. Сидели молча, думая каждый о своем, но вся их поза выражала любовь и понимание. И в этом был великий смысл и великая тайна. Во все времена мужчина являл собой защиту и оплот, силу и уверенность. А женщина, слабая, нежная, любящая, была светом, который озарял жизнь вокруг, путеводной звездочкой, указывающей правильный путь. Именно за эту слабую и трепетную женщину — мать, жену, дочь, сестру — мужчина готов был сложить голову, шел под пули, умирал мучительной смертью. А она ждала, верила, молилась и, коли случалось оплакивать любимого мужчину, помнила о нем всю жизнь, детям заказывала и внукам, чтобы не забывали, и молилась, молилась, молилась. И за это не оставлял Господь женщину Своей милостью, чтобы хоть и в бабье свое лето получила бы она маленькую частичку женского счастья.

НЕВЕРИЕ И ВЕРА

Заглянув в цветочный магазин, Наталья выбрала неброский букет темных, почти шоколадных ирисов. Дед ее цветы не особо жаловал, и такой букет больше всего соответствовал случаю. Сегодня ровно год со дня смерти Ивана Андреевича Харитонов, ее родного дедушки по отцу.

Наталья попросила продавца упаковать цветы во влажный мох и отправилась на вокзал. Отец уже ждал ее на привокзальной площади. Взглянув на седой ершик волос, морщинистое лицо с усталыми глазами, Наталья почувствовала, как защемило у нее сердце. Жизнь неумолима, и постепенно уходят от нас близкие, родные. А так хочется оттянуть этот миг. Вот и отец как-то незаметно из сильного, жизнерадостного мужчины превратился если не в старика, то в пожилого человека с многочисленными хворями и потухшими глазами. Особенно сдал он после смерти Ивана Андреевича, а потом и жены Валентины Аркадьевны, Наташиной мамы.

— Папуль, милый мой, — Наталья поцеловала отца в колючую щеку, — как ты себя чувствуешь? Может быть, я одна съезжу?

— Нет, нет, — Андрей Иванович улыбнулся дочери, — не волнуйся, я сегодня молодцом.

Наталья взяла отца под руку, и они не спеша направились к кассам. Стояло раннее

утро, и солнце едва пробивалось сквозь туманную дымку. Ветер упругий, свежий, холодил лицо, донося запахи городских улиц.

Как и обычно, несмотря на утренний час, народу на вокзале хватало. К кассам уже выстроилась небольшая очередь.

«И куда едут?» — раздраженно подумала Наталья, но тут же спохватилась и даже улыбнулась своим мыслям. В многомиллионном городе найдется немало людей, которым именно сегодня нужно выехать за город. По разным причинам.

Вот и Наталья с отцом едут в это утро к далекому деревенскому кладбищу, где нашел упокоение их родной человек.

Откинувшись на спинку сиденья в электричке, Наталья прикрыла глаза, вспоминая все, что связано с Иваном Андреевичем. Тяжелую, путаную жизнь прожил ее дед. Почитай до самой старости в слепой гордыне отвергал и сына своего, и единственную внучку, а главное — не принимал в душе Господа.

— Что мне Бог? — ворчал, когда Наталья в редкие минуты свидания с ним пыталась рассказать деду о благотворном влиянии веры на человека. — Я сам себе бог.

Эту свою «правоту» Иван Андреевич пронес через все годы, пытаясь доказать всей своей жизнью, что он многое может, многое знает и считает правильным полагаться только на себя. Хорошо, хоть перед смертью сподобил его Господь изменить свою точку зрения, повернуться лицом к Богу, помириться с родными.

Наталья помнила, как переживал отец их размолвку с Иваном Андреевичем, и ког-

да примирение состоялось, радости его не было предела. Несмотря ни на что, он любил Ивана Андреевича, жалел и молился за него. Когда Наталья была маленькой, отец часто рассказывал ей о судьбе ее деда. И потом, став взрослой, Наталья понимала, что, хоть и сложным человеком был ее дед, только ведь и время на его век досталось лихое, страшное. И вины Ивана Андреевича в том, что вырос и жил безбожником, не было, скорее, беда это его была, испытание. Хорошо и то, что принял Господь покаяние дедово, успел Иван Андреевич получить прощение от Бога.

* * *

В то воскресное утро Ванька косил вместе с мамкой сено для коровы. Тут же на лугу младшие братья и сестры. Их у мамки семеро, а главный помощник только он, Ванька. Отец год назад как помер. С первой империалистической пришел весь израненный, болел и сторел в одночасье, оставил свою Прасковью одной горе с ребятишками мыкать. Ванька самый старший, весной шестнадцать стукнуло, остальные — мал мала меньше.

Ванька валит рядок за рядком. Не смотри что лет немного, а сильный уродился, крепкий, как отец. Мамка вон едва за ним успевает.

— Передохни сынок, — тяжело растягивая спекшиеся от жары губы, с трудом произносит мать, — мочи нет.

Прасковья идет на край делянки, где в траве играют малые, достает из-под куста жбан с квасом, жадно отпивает несколько глотков.

— Мамка, на, — протягивает ей несколько стебельков земляники, собранных в пучок, шестилетняя Катя. Ягоды, словно капельки крови, дрожат на ветках.

— Ешь сама, любонька моя, — Прасковья гладит дочку по голове, — да Павлуше дай.

Павлуша, услышав мамкин голос, протянул к ней ручонки, его голубые глазки засверкали от радости, а губы растянулись в улыбке. Павлик самый младший, ему только два года исполнилось. По-хорошему в такую жару нельзя младенчика таскать, так ведь бабок у Прасковьи нет, оставить деток не на кого. Сама она сирота круглая, а мужнины родители один за другим после революции померли в тот страшный голодный год. Нет-нет, да и заплачет, бывало, Прасковья, сокрушаясь о своей тяжелой доле, только ведь в слезах правды нет. Плачь не плачь, а жить дальше надо и детей поднимать.

Приложив ладонь к глазам, Прасковья наблюдала, как к их делянке спешит Варвара Ларичева. Соседствовали, дружили с ней смолоду. Хорошая баба Варвара, жалостливая. Сама бездетная, на помощь отзывчивая: где с ребяташками посидит, когда пряничков каких да лепешек напечет, несет подруженьке.

— Ты чего это, Варвара? Запыхалась вон, — Прасковья протянула ей квас.

— Ой, Парашенька, ой лихо моей душе, — заголосила Варвара. Потом подхватила Павлушу на руки и крепко прижала к груди. Малыш заревел от неожиданности.

— Да что случилось-то, оглашенная? — принимая от соседки сына, обеспокоенно спросила Прасковья.

— Война, Прасковья, война, — кричала Варвара, переполошив остальных ребятшек. Они сбились в стайку подле мамки.

Ванька бросил косу и поспешил к женщинам.

— Какая война? Ты что говоришь, тетка Варя? Ребят вон пугаешь, — паренек посмотрел на побледневшую мамку, на плачущую соседку, и тревога заползла в сердце.

— Председатель сейчас верхами из района прискакал, — у Варвары прыгали губы, и она зажимала рот рукой, чтобы сдержать рыдания, — немцы, говорит, на нас напали. Война-а-а, война-а-а...

* * *

Война катилась к Москве. Сводки с фронтов становились все тревожней. До жителей деревеньки в Калужской области, где жила семья Ивана, долетали и рассказы о зверствах фашистов. По вечерам Прасковья долго выстаивала перед иконами, а Иван злился. Чего молится? Давно известно, что Бога нет. Только на себя надо надеяться. Вон они уже какой день без хлеба сидят. Молока от коровы только младшим и хватает. А ему мамка пустых щей наварила, только чуток маслица и кинула. И где ж тут Бог? Хорошо с прошлого года кусок сала в рундуке заваялся, хоть мало да все ж подспорье для пустого брюха.

Когда голод совсем взял за горло, Иван решил уйти на фронт. Да и что тут сидеть на мамкиной шее? Ей малых надо кормить да растить, а Иван уж теперь сам должен выживать. Хотя на войне в любой момент погибнуть можно, только выхода другого нет.

Подделать год рождения в метрике было делом нескольких минут.

— Куда же ты, сынок? — плакала Прасковья. — Годами ведь не вышел еще.

— А что же ждать, пока фрицы в Германию угонять, — хмурил Иван брови, — слышать вон, что в плен угоняют.

— Господи, помоги, — мамка, всхлипывая, завернула в холщовую ткань смену белья, портянки да жменьку сухарей, оставленных ею на черный день.

— Хлеб ребятам оставь, — мотнул головой Иван.

— Да как же? — засморкалась в фартук мамка.

Она вышла проводить его к калитке. Обняла на прощание, потом достала и надела на шею сыну крестик на тонкой веревочке.

— Храни тебя Господь, сынок

— Ну, какой Бог? Какой Бог, — поморщился Иван, — нету никакого Бога.

— Что ты? Что ты? — испуганно закрестилась Прасковья, — Господь с тобой!

Отойдя подальше за деревню, Иван сдернул с шеи шнурок. При мамке побаивался, а как скрылась из вида, изо всей силы забросил крестик в кусты.

— Сам справлюсь, без Бога вашего, — бурчал всю дорогу Иван, злясь и сам не зная на что. Мамка ведь любит его и молиться будет за него, за Ваньку, первенца своего, чтобы в живых остался да домой вернулся. Так и сказала:

— Ждать мы тебя будем, сынок. Бога молить, чтобы живым ты пришел.

А Иван рассердился.

В военкомате его оформили без разговоров. Выглядел парень старше своих лет, поэтому никаких вопросов не возникло, и уже через сутки ехал Иван к месту службы: сначала в учебную часть, а потом, как говорили, после краткого обучающего курса, сразу на фронт.

Через три месяца Ивана направили в стрелковый батальон. Невысокий юркий, воевал Иван отчаянно. Не задумываясь, поднимался в атаку, не раз сцеплялся с фашистами в рукопашной, всегда выходя победителем. Однажды, увидев, как молодой боец Сергеев украдкой крестится перед боем, усмехнулся недоброжелательно:

— На Бога надеешься?

— А как же? — немного растерянно ответил боец. — И маманя так наказывала, и бабушка.

— Бабушка, маманя... — передразнил его Иван, — а самому-то голова на что? Неужель и впрямь думаешь, что Бог тебе поможет.

— Поможет, — утвердительно кивнул головой Сергеев, поправляя пилотку.

— Вот мы сейчас и посмотрим, — хмыкнул Иван, слышав протяжную команду «К бою-ю-ю!»

Пронеслось протяжное «Ура-а-а-а!», и Иван боковым зрением увидел, как уткнулся головой в бруствер окопа Сергеев и кровь, толчками выливаясь у него из головы, смешивается с землей.

«Ну вот», — почему-то удовлетворенно подумал, а во время передышки, увидев старого санитаря Митрича, прикрывавшего Сергеева шинелью, произнес:

— Зря надеялся на Бога. Говорил я ему...

— Нет, не зря, — Митрич строго посмотрел на Ивана, — смерть парень принял мученическую, за Отечество живот свой положил, а с Богом и умирать легче, да и там, — санитар ткнул пальцем в небо, — Господь место уготовил ему надлежащее. Потому как говорится в Евангелии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»¹.

— Так Сергеев помирать не хотел, — сказал Иван, — молился вон, просил. А я...

— Я... я... — оборвал его Митрич, — поменьше бы ты якал, паря. Мать, поди, у тебя осталась, а можа, и невеста. Ты вон Бога хулишь, а они небось молятся о тебе день и ночь. А Господь знает, кого к себе призвать. Немало еще народу поляжет. Кто с именем Божьим на устах, а кто и вот так... как ты. И всех Господь любит, всех благословляет.

— К бою-ю-ю! — вновь прозвучала команда, и Иван, сжав губы и не глядя на Митрича, рванулся вперед.

Что бы там ему ни говорили, Иван был уверен, что Бога нет, и в том, что он пока жив, заслуга только его самого, его ловкости, силы и смелости.

Иван был уверен в этом до самого конца войны. До ее последнего дня даже ранен не был ни разу, хотя в переделках приходилось бывать таких, что, казалось, живым выбраться не удастся. Однако выжил. Позади остались многочисленные марш-броски, атаки, форсирование рек и взятие городов. Все вы-

¹ Евангелие от Иоанна, 15.

несли солдаты, и победителями вернулись в родные села, деревни, города. Пришел домой и Иван. Своих сестер и братьев и не признал сразу. Те поначалу тоже его дичились. Одна Катя, вытянувшаяся, с тоненькими косяцами, прижалась к руке брата.

— Слава Богу! Дождались, — сказала взрослому, серьезно.

Сзади несмело подошел худенький, белобрысый Павлуша.

— Дяденька, — тронул Ивана за рукав, — а у тебя пистолет есть?

— Да какой же дяденька? Вот выдумал, — мамка радостно оглаживала старшего сына, вытирая счастливые слезы, — брат это твой. Ванечка. Вернулся, любчик мой. Живой.

В колхозе Иван оставаться не стал, забобовался на стройку. А через год приехал на побывку вместе с молоденькой женой.

— Вот, Лиза, — представил матери, — поженились весной.

— А и хорошо, — закивала мамка головой, но улучив момент, когда они остались со старшим сыном наедине, укоризненно шепнула: — Без благословения, как же? Не хорошо это, не по-божески.

— Бога своего оставь, мать, — жестко оборвал Иван, — я без Него как-нибудь проживу.

— Ой ли, сынок, — мать без улыбки взглянула на него, — без Бога-то ни одно дело не сладишь.

— Ладно у меня все и так, живу не горюю. А тебе-то вон с Богом хорошо ли? Нищета нищетою, — у Ивана скула задергалась, губы сжал, нахмурился.

— Хорошо. С Богом завсегда хорошо, — тихо ответила мать, а Иван вспомнил давнишний разговор с Митричем. Ведь об этом самом и санитар говорил, только есть ли правда в этих словах?

А пока жизнь у Ивана катилась как по маслу. Зарабатывал неплохо, на работе числился в передовиках. Жена Лиза родила ему сына Андрейку, забавного черноголового мальчугана, крепкого и смышленного. И совсем уже было решил Иван, что правда все-таки на его стороне, только аккурат через два года после рождения Андрейки тяжело заболела Лиза. Мучилась сердечная, а врачи только руками разводили. Вроде все, мол, необходимое делаем, а на поправку пациентка не идет. Так и не выздоровела жена. Умерла, осиротив разом и мужа, и малолетнего сына.

У Ивана вначале руки опустились. Загоревал, закручинился, запил было. Только хорошо, что быстро понял: жить ведь надо, мальчика растить, в люди вывести. Рассудив, что нелегко ему придется на первых порах, решил отправить Андрейку матери.

— Господи, горе-то какое, — плакала Прасковья.

— Вот тебе и Бог, — с сарказмом воскликнул Иван, — взял и забрал ни в чем не повинную бабу, мальчонку осиротил. Хороший да? Хороший?

— А то, сынок, не нам судить, — посуровела мать лицом, — без бед и болезней разве ж мы грешные можем жизнь прожить? А ты лучше бы чем злиться да ругаться, попросил бы Бога, чтобы помог малого до ума довести.

— Доведу, не переживай, — тряхнул Иван головой недовольно, — денег я зарабатываю достаточно, среди начальства в почете хожу.

— Эх, сынок, разве дело в деньгах? — Праксovia жалостливо посмотрела на Ивана. — Душу бы сберечь, а чистоту сердечную ни за какие деньги не купишь.

— Сам знаю, — отмахнулся Иван.

Жениться вновь не стал, жил ради сына. Отправлял матери деньги в деревню, на выходные, в отпуск в деревню мотался да работал как проклятый. Сын подрастал, радовал отца первыми отметками, рассудительностью и ровным характером. Подумывал уже забрать Андрейку к себе в город, да только как-то незаметно повело Ивана совсем в другую сторону. Занялся накопительством. Экономил на всем, чтобы только побольше денег отложить. Затянуло его это да страсти, азарт появился, словно соревновался с кем-то. К тому времени, когда Андрей стал совершеннолетним, капитала у Ивана Андреевича было — лопатой гребти. Не только монетой, но и золотишко водилось, и вещички какие-никакие дорогие куплены.

Весной Андрей школу закончил, и тут же телеграмма пришла — мать умерла. Поехал Иван. Глянул на сестер и братьев и аж скривился. Одеты бедно, у Кати руки натруженные, некрасивые — дояркой в колхозе трудилась, Павлик, как был в детстве худой, так и сейчас не больно-то справный — один нос торчит. У Машки и Веры уже своих ребятишек полно, Сенька с Лешкой тоже женаты. И когда успели? Вспомнил Иван Андреевич, что последнее время давненько не был в де-

ревне у своих, ни на свадьбы к родным, ни на встречи не приезжал. Денег жалел. И сейчас постарался сразу после похорон уехать. Андрея к себе не звал, да и тот особо не просился. Привык, видимо, в деревне, но видно было, что скучал по отцу, так и льнул к нему, хотя уже и вон лоб какой вымахал. Такого разве прокормишь. Пускай сам теперь живет. Хватит на отцовой шее-то сидеть. Он вон сам до всего дошел, никто ему не помогал, денег накопил своим горбом. И что же теперь делиться с кем-то? Пусть даже и с родным сыном. Нет уж.

Так решил Иван Андреевич, постепенно отдаляясь от сына, а затем и вовсе перестал с ним знаться. Тем более что получился с его точки зрения из Андрея не человек, а так, незнамо кто. Мамкино воспитание сразу видно. Без креста за стол не садится, обязательно себя крестным знаменем осенит, каждый выходной в церковь ходит. Женился, всей семьей стали храм посещать. И внучка Наташа туда же. В редкие минуты, когда сын вместе с дочерью заглядывал к отцу, лопотала:

— Деда, а где у тебя Боженька? — и показывала на пустую стену, где вместо иконы висела репродукция из журнала.

— А мне Бог ни к чему, — сердился дед и поворачивался к сыну: — ты на мои деньги зуб не остри. Не ты их зарабатывал, не тебе и тратить.

— Ты что, отец? — удивлялся Андрей.

— Что, что, — повышал голос Иван Андреевич, — а то я не знаю, чего ты сюда шляешься да девчонку водишь. Разжалобить меня хочешь? Не выйдет. Я все сам, своими

руками. И войну выдюжил, и тебя вырастил, и вот это... — обводил Иван Андреевич стены квартиры, — все сам. Понял?

— Отец... — начинал было Андрей, но тот, нахмурившись, уходил в другую комнату.

Жил один, как бирюк, никуда не выходил, и такое положение дел его устраивало. С родными из деревни давно всю связь прекратил и даже не интересовался, как они там живут. С сыном тоже не поддерживал отношения. А зачем? На здоровье Иван Андреевич не жаловался, со всеми бытовыми заботами справлялся сам, ни в чьей помощи не нуждался. Но главное — накопленным делиться ох как не хотелось.

Однако вскоре размеренная жизнь рухнула в одночасье. В один из дней Иван Андреевич упал посреди комнаты и лежал без движения несколько часов. Так сердце прихватило, вздохнуть не мог. И боль в груди разрасталась, пошевелиться не давала. Хорошо, в этот день решила к нему заглянуть Наталья, которая нет-нет, несмотря на его протесты, да и навещала деда. Вызвала врача, потом сходила в аптеку, посидела с дедом. А прощаясь, сказала:

— Я к тебе завтра приду. Только с утра в храм загляну, записку о твоём здравии подам.

— А что у меня? — прохрипел Иван Андреевич: — Что доктор сказал?

— С сердцем шутки плохи, — Наталья на капала деду лекарства в рюмку, — ты лежи, тебе вставать нельзя.

Наталья вышла в прихожую, натягивая куртку.

— Погодь, — остановил ее Иван Андреевич, — не должен же я помереть, как думаешь? Не хворал ведь я раньше. Выкарабкаюсь.

Внучка молча посмотрела на деда. Выглядел тот неважно. Бледен до синевы, с мешками под враз запавшими глазами.

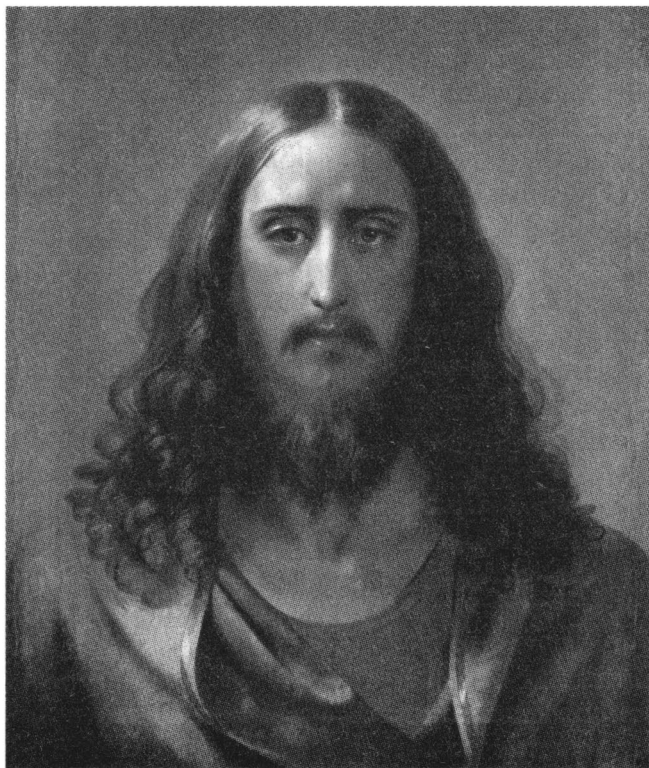
— Мы молиться за тебя будем, дедуль, — тихонько произнесла Наталья, а Иван Андреевич ничего не ответил. Не взвился, как обычно, не заворчал злобно, а промолчал, отвернувшись к стене.

На следующий день Ивана Андреевича навестил сын. Дед взглянул на него из-под полуприкрытых век. Незаметно и сын постарел. Как жизнь-то промелькнула быстро. А он Иван Андреевич ничего и не видел. Как сын рос, вырослел, строил семейные отношения, воспитывал дочь.

— Я тебе поесть принес, отец, — Андрей Иванович принялся выкладывать на стол пакеты. Внезапно на ум Ивану Андреевичу пришла мысль о том, что вот он и сына-то почти не видел, а затем и вовсе отвергал, а Андрей, гляди-ка, вроде и зла на отца не держит, вон как заботится. А у самого ведь жизнь не сахар. И с работой не ладится — под сокращение попал, и жена больная, и в средствах нуждается. А гляди ж ты, — не унывает, еще и отца успокаивает, поддерживает:

— Ничего, поднимешься. Вот на фрукты налегай, и бульону дочка сварила.

В груди жгло, дыхание сбивалось, но голова была ясная, и Иван Андреевич думал и думал. Уже и сын давно ушел, и за окном смеркалось, а дед размышлял о своей жизни. Не знал и сам, откуда появились у него



Христос Спаситель. 1864 г. Худ. Сергей Зарянко

такие мысли, почему вдруг пришли на ум мамкины слова о Боге, и санитар Митрич привиделся, и так ясно услышал его голос, надтреснутый, уверенный:

— И всех Господь любит, всех благословляет.

«А вот его Ивана Андреевича Харитонова за что любить? Если он сам всю жизнь Бога отвергал, мало того ругал, не верил, еще и с родными людьми ссорился из-за этого, мамку обижал».

Чувствуя, как подступают к горлу непрощенные слезы, Иван Андреевич услышал в прихожей стук шагов.

— Это я, дедуль, — заглянула в комнату Наталья, — побуду с тобой немного.

Иван Андреевич кивнул. И стараясь, чтобы голос не дрогнул, вдруг спросил:

— В церковь-то заходила?

Наталья замерла от изумления, зная негативное отношение деда к религии.

— А что такое? — спросила осторожно, ожидая подвоха.

— Так сам не знаю. — Наталья заметила, как у деда на щеке блеснула слезинка. — Думы всякие одолевают. И с чего?

— Дедуль, — внучка присела на краешек постели, — Господь ведь рано или поздно каждого к себе призывает. Только не все слышат его. А ты, выходит, услышал.

— Это что же получается, помирать мне скоро?

— Ну почему? — Наталья успокаивающе положила ладонь деду на плечо, — Он зовет тебя, чтобы ты уверовал.

— Тяжело, — качнул головой дед.

— Понимаю, нелегко тебе, а ты постарайся. Зато как хорошо, как легко тебе станет, — приговаривала Наталья, радуясь в душе, что дед хоть к концу жизни изменил свое решение.

— А как же... Я ведь сам... И во время войны, и потом... — Иван Андреевич не спорил, не возражал Наталье, а словно спрашивал сам у себя и не находил ответа.

— Так ведь Бог для того и дал человеку волю, чтобы он был свободен. Кто с Богом,

тот идет по жизни прямо, не сворачивая, хотя и трудно подчас приходится, а кто растерял веру, того и болтает из стороны в сторону. Кажется, все хорошо и правильно, только потом получается, что вроде все есть, все достигнуто, а жизнь все равно не удалась.

— А ты-то откуда это знаешь, — прошептал Иван Андреевич.

— Отец говорил, а ему бабушка Прасковья.

С того дня Иван Андреевич сделался задумчивым, частенько перебирал старые фотографии, однажды попросил Наталью написать в деревню письмо Кате, чтобы расспросить все о родных.

— Да мы знаем о них все и ездим туда часто, — Наталья подала деду конверт с фотографиями, — вот посмотри, баба Катя недавно прислала. Здесь все.

Иван Андреевич вглядывался в карточки и не мог сдержать слез. Ах ты ж, Боже мой! Ведь все испортил в жизни. Все. Сам причем. Все пропустил, почитай, годы зря прожил, впустую.

— Ты вот что, внучка, расскажи мне... расскажи о Боге, — Иван Андреевич с натугой вздохнул, — не знаю я ведь ничего о Нем.

Через три месяца Иван Андреевич Харитонов тихо скончался, успел исповедаться и причаститься Святых Тайн. Похоронить себя он завещал в деревне, рядом с матерью, а все деньги разделил поровну между родными.



ГЕРОЙ

Про Алексея говорили, что он родился с «лысинкой». В отличие от своего отца, профессора московского университета, и матери, в студенческие годы подававшей большие надежды как будущий филолог, Алексей особого усердия к учебе не проявлял. Отец хотел, чтобы сын посвятил себя науке, но тот любил утром подольше поваляться в постели, вместо книжки предпочитал велосипед, а уроки делал от случая к случаю, полагаясь на память.

— Лень-матушка вперед тебя родилась, — вздыхал Семен Петрович.

Много раз Семен Петрович пытался донести до сына мысль о том, что упорство и труд помогают многого добиться. Приводил в пример себя, простого деревенского паренька, задумавшего в свое время стать ученым. И ведь стал. Да не каким-нибудь! А физиком с мировым именем. Алексей слушал его вполуха, а то и вовсе отмахивался.

— И в кого он такой уродился? — изумлялся Семен Петрович, — ничего Лешку не интересует.

Алексей, и в самом деле, в жизни ничем особым не увлекался и, единственное, что делал с удовольствием еще с самых ранних своих лет, — это ездил в деревню, на родину к отцу. Там жила его бабушка Сима, которая любила внука беззаветно, таким, какой

он есть, и он платил ей тем же. Удивительно, но Алексей слушался Серафиму Николаевну, старался не проказничать, а повзрослев, даже помогал бабушке по хозяйству.

— Ты, Лешенька, корову-то шибко не гони, она с выгона идет, травки наелась, да и молоком полна, — наказывала она внуку, когда тот шел встречать корову.

Вечером, когда он, набегавшись с ребятами, нырял под одеяло, бабушка укоризненно качала головой:

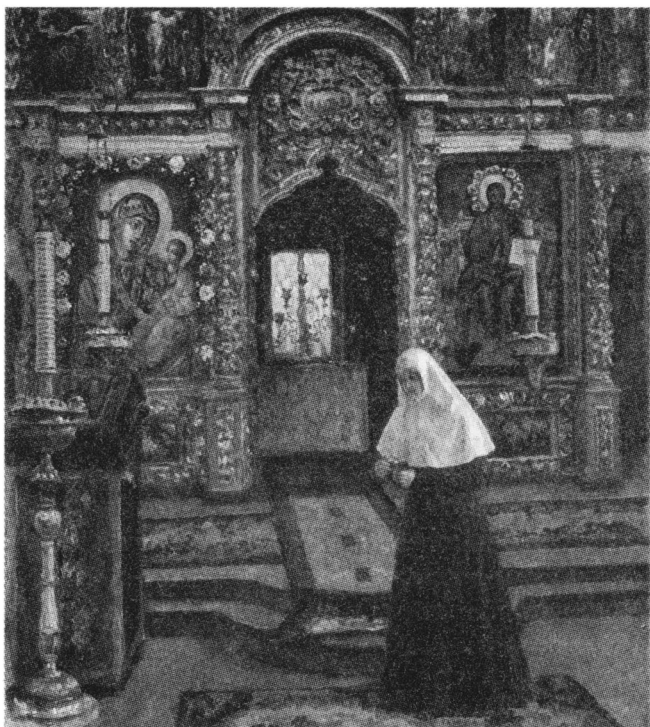
— Не помолясь-то, разве можно ложиться. Вставай-ка, внучок, да прочти молитовку.

— А я не знаю, — сонно отнекивался Лешка.

— А ты за мной повторяй, милок, — гладила она внука по голове, — Господь и пошлет тебе сон мирный, крепкий.

Иногда бабушка Сима брала Лешку в церковь, что в соседнем селе. Они поднимались рано-рано, на зорьке, и шли через большое поле по узкой, заросшей травой дороге. Бабушка несла в руке узелок со съестными припасами, а Лешка разувался и шлепал босыми ногами по пыли, сбивая с травинок росу. В конце пути бабушка заставляла Лешку сполоснуть ноги в ручье. От холодной воды ступни покрывались красными пупырышками, но парнишка терпел, еще и плескал несколько пригоршней в лицо, чувствуя, как начинают гореть щеки.

В церкви бабушка подходила к иконам, что-то шептала, надолго припадая к святым ликам. Лешка степенно ставил свечки в начищенные до блеска подсвечники перед образами и неумело крестился. Народу в церкви было мало: несколько старух да двое-трое пожилых мужиков.



Монахиня у иконостаса. 1922 г.
Худ. Сергей Милорадович

— Ведь время-то какое, — шепотом отвечала на недоуменный вопрос внука Серафима Николаевна, — нельзя нонче в церкву-то ходить. Опасно.

О какой опасности говорила бабушка, Лешка тогда в силу возраста не понимал, а когда приезжал в деревню уже старшеклассником, знал, что религия находится под запретом, и ему, как комсомольцу, в церковь ходить не пристало.

— В церкву не ходи, коли нет разрешения, а от Бога не отбивайся, — наставляла бабуш-

ка, — во всем от Господа помощь, коли с верой будешь по жизни идти.

— Да что Он мне может дать, — недоверчиво вздыхал вымахавший под потолок внук.

— У Бога всего много, — глубокомысленно произносила бабушка, и Алексея заставляли эти слова задуматься. Правда, размышлял над этим он не долго, приезжал обратно в Москву, и затягивала вновь привычная, бесшабашная жизнь. Только, как известно, что «слово не камень, а упавшее в душу зерно». Вот и Алексею нет-нет да и приходили слова бабушки о Боге, ее рассказы из Библии, короткие молитвы, которые она разучивала с внуком.

После окончания школы Алексей, уступая желанию родителей, поступил в технологический институт, но и здесь не горел большим желанием в овладении будущей профессией.

— Лешенька, — горестно восклицала мама, — неужели ты не понимаешь, что можешь остаться неучем. И тогда тебе прямая дорога в... дворники.

— Да нет, — видя, что сын недоверчиво усмехается, вступал в разговор Семен Петрович, — быть ему пастухом. Вот отправлю его в деревню, пускай там живет. Только вот пастуха деревенский сход избирает, могут и не поручить Лешке коров.

— Да ладно вам, — улыбался Алексей, — уж пастухом я всегда сумею быть, — и, хлопнув дверью, бежал к своим друзьям.

— А это как в деревне еще посмотрят, — кричал вдогонку отец.

Когда Алексей окончил первый курс, грянула война. В этот воскресный день Лешка с утра пораньше уехал с приятелями в подмосковный лес отмечать каникулы. Уехал с ночевкой, но к вечеру появился разгоряченный, взволнованный, с горящими глазами.

— Я на фронт ухожу, добровольцем, — громко объявил с порога.

— Сынок, — заплакала мать.

— Ты знаешь, что все это очень серьезно, — вышел из кабинета Семен Петрович, — война — это тебе не голубей по крышам гонять.

— Конечно, серьезно, — кивнул Алексей, — мы всех фашистов очень скоро пу-у-у-х, и нету, — он вскинул руку с вытянутым указательным пальцем и, имитируя выстрел, наставил на воображаемую мишень.

— Баламут, — отец неожиданно прижал лохматую голову сына к груди и поцеловал в макушку, — ты там держись.

— Семен, — протяжно всхлипнула Александра Тихоновна, — может быть, тебе удастся договориться с отсрочкой. Все-таки ты известный профессор.

— Ну о чем ты говоришь, Шурочка? — Семен Петрович мягко улыбнулся жене. — ККкой профессор? Такая война идет.

— Никакой отсрочки, — категорично поддержал отца Алексей, — только на фронт. Вы еще обо мне услышите!

— Ты, главное, уцелей, — прошептала мама, — не надо геройства... напрасного.

— А что ты мне предлагаешь? За чужими спинами прятаться, — ответил Алексей.

— Нет, конечно, — Александра Тимофеевна заплакала, — ты, главное, на рожон не лезь. Хотя...

Со всей своей материнской и житейской мудростью она понимала, что война все поставит на свои места. И бесшабашность Алексея может превратиться в неконтролируемый страх, потому что необходимость убивать и быть убитым всегда вызывает в человеке ужас, и совладать с ним не каждому под силу. А Алеша ведь такой неприспособленный, несобранный, эмоционально незащищенный. Хотя и кажется таким отчаянным и сейчас бравировует своей храбростью и напором.

А Лешка, и правда, прибыв на фронт, здорово струхнул. Нет, проходя краткосрочное обучение, он стремился воевать, в мечтах рисуя, как ловко он будет стрелять, бежать в атаку, биться в рукопашной. Он станет героем, он будет вести личный счет убитым фашистам, и, может быть, его наградят медалью или даже орденом. В обучении Алексей был ловок и смекалист. Командир взвода старшина Ворончук, пожилой, с усталыми глазами, частенько хвалил бойца Алексея Полякова, подбадривал, только у взводного почему-то становилось грустным лицо, когда он видел, как Алексей с товарищами остервенело колет штыком чучело фашиста.

— Вы, главное, сынки, в бою не заробейте, — Ворончук проводил ладонью по глазам, встряхивая головой. В учебную часть он прибыл прямо с передовой. Разорвавшейся бомбой старшину контузило, и теперь он в тылу готовил новобранцев, учил стрелять, колоть штыком, не бояться смотреть в глаза смерти.

— Не заробеет, товарищ старшина, — по-смеивался Алексей, — мы этих фашистов так погоним, только пятки засверкают.

— Убить человека непросто, даже врага, — грустно усмехался в усы старшина, — дай Бог вам перенести такое испытание. Ради благого дела.

Ворончук сказал эти слова намеренно высокопарным слогом, и бойцы замерли, ощутив в них всю правду, всю горечь и боль. У многих побежали мурашки по спине, а в душу заползла тревога.

— А бывает, что не переносят? — спросил кто-то.

— Всяко случается, — не торопясь ответил старшина, — бывает, что по трусости, а иногда по слабости душевной да по доброте сердечной.

— Таких сразу расстреливать надо, — выпалил Алексей.

— Ты это после первого боя скажешь, сынок, — Ворончук грустно улыбнулся.

В бой их часть бросили сразу же. Враг рвался к Москве, и нужно было любой ценой остановить его. В том числе и силами вот таких необстрелянных мальчишек. Батальон, где воевал Поляков, залег у небольшой высотки неподалеку от маленькой деревушки под Юхновом. Это совсем рядом с Варшавским шоссе, которое напрямик идет до самой столицы. Немцы сражались остервенело, окопались на вершине возвышенности и поливали свинцовым огнем все пространство вокруг. Первую свою атаку Алексей помнил смутно. Он бежал вперед, оцепенев от животного ужаса, сжав винтовку в руках, так

и не сделав ни одного выстрела. Где-то там, впереди, увеличенное испуганным сознанием белело лицо фашиста, и Алексей не мог заставить себя его убить.

Атака захлебнулась, солдаты откатились в свои окопы, и Алексей, сидя в наспех выкопанной неглубокой траншее, с ужасом думал о том, что ему снова придется подниматься врукопашную. Над головой противно завыл немецкий штурмовик. Вздымая столбы земли, вниз полетели бомбы. Алексей вжался в край окопа и закрыл глаза. Уши заложило, справа и слева слышались стоны раненых, кто громко и жалобно крикнул: «Мам!». Алексей прижал руки к груди, словно пытался удержать рвущееся из груди сердце, и зашептал слова, которые он и сам не знал, как пришли ему на ум:

— Господи! Господи! Не допусти позора. Помоги мне. Не хочу я умирать, не хочу-у-у, и страх преодолеть не могу. Помоги же Ты мне, Господи! Помоги-и-и-и! Если выживу, буду до конца дней коров в деревне пасти.

Почему именно это обещание дал в страшные минуты Алексей, он не мог понять разумом, знал только, что идут речи эти из сердца, и слезы, текшие из его глаз, смешивались с землей и были подтверждением тому.

— В атаку-у-у, — пронеслось вдоль окопов.

«А кто? Кто пойдет в атаку? — пронеслось в мозгу Алексея, — наверное же, все убиты». Но уже по обе стороны поднимались в бой солдаты и громогласное «Ура-а-а» понеслось над высоткой. Алексей вскочил на ноги. Нет, страх еще не отпустил бойца, но Алексей словно чувствовал крепкую руку, поддержи-

вающую его. И он бежал, стрелял, кричал что-то, дрался в рукопашной, сам удивляясь, тому, что сумел, преодолел, выстоял. Потом был кратковременный отдых, и солдат, лежа на горячей земле, смотрел в голубое небо, вновь просил Бога, вспомнив сразу короткие бабушкины молитовки: «Помилуй мя, Боже, по великой Твоей милости», «Укрепи, оборони, Господи». Алексей шептал эти мольбы-просьбы, и ему становилось легче. И он вновь раз за разом поднимался в атаку...

Высотку эту они все-таки отбили, не сразу, после тяжелейших атак и изматывающих боев, пройдя через огонь, смерть и страх. Потом был Сталинград. И вновь Алексей поднимался в атаку, отстреливался из-за углов зданий, и вновь неслись к небу его молитвенные просьбы Тому, Кто поддерживал солдата, давал силы и укреплял дух. И все же, убивая врагов, Алексей не мог избавиться от чувства страха. Он сидел в нем, словно гвоздь, каждый раз перед боем холодил спину и заставлял содрогаться. И боец, изо всех сил сдерживая слезы, шептал:

— Господи, не дай умереть. Пастухом буду, только бы в живых остаться.

На глазах Алексея погибло множество боевых товарищей, а война продолжала свою страшную жатву, унося новые солдатские жизни. Горький сталинградский дым, красная волжская вода, солнце, скорбно проглядывающее сквозь пыльную пелену, — всего этого Алексей насмотрелся вдоволь. А еще стоны, крики, ругань, скрежет металла, выстрелы и разрывы бомб. А бои шли непрерывно. Приказ «Ни шагу назад» надо было выполнять любой ценой.

— Товарищи! — начал было перед очередным боем пожилой комбат, но потом, взглянув в уставшие лица солдат, сказал: — Друзья мои боевые, ребятки, сынки, стойте, куда можете. Если уж смерть, то в бою, а коли выживем, то и слава. Но лучшая награда для нас всех: мертвых или живых, — победа над врагом, над фашистом.

На рассвете тонны немецких бомб и снарядов посыпались на позиции, где окопался батальон Алексея. Фашист бил прицельно, не давая поднять голову и подняться в атаку. Горела земля, раскалился воздух и столпы земли и песка загородили солнце.

— Господи, неужели конец мне, — прошептал Алексей, — не уцелеть мне сегодня. Помоги!

Алексей поднял руку, чтобы перекреститься, как когда-то бабушка Сима учила, но не успел. Совсем рядом разорвался снаряд, и Алексея взрывной волной выбросило из окопа и наполовину засыпало землей. Когда солдата нашли санитары, он был без сознания. Поначалу посчитали убитым, но когда укладывали на носилки, Алексей протяжно застонал. В полевом госпитале ему ампутировали полуоторванную до локтя правую руку и отправили в тыл.

Восстанавливался Алексей долго. После контузии ослеп на один глаз, щека подергивалась, мучили головные боли. Подлечив в госпитале, его комиссовали подчистую. В Москву Алексей не поехал. Не к кому. Родители эвакуировались в Сибирь, да и смотреть в глаза соседям, чьи родные сейчас воевали, было тяжело. Пройдя тяжелые ис-

пытания, Алексей тем не менее считал себя трусом. Из-за того, что всю войну не покидало его чувство страха. Он и свое ранение считал подарком от Господа. Пожалел Тот солдата за его малодушие и трусость. Кроме того, было еще одно дело, которое Алексей не мог не выполнить: его обещание. Бабушкина деревня уже была освобождена от оккупантов, и Алексей отправился туда.

Еще находясь в госпитале, написал матери о своих планах, та с оказией прислала слезливое письмо. «Ты что же, сынок, жизнь ломаешь? — писала она. — Счастье, что ты остался живой в этой мясорубке, но зачем же сразу так кардинально менять свою судьбу. Жди нас в Москве. Мы приедем, и отец все уладит, продолжишь учебу, а хочешь работать, пойдешь».

Алексей матери отвечать не стал, да и что он мог ей сказать: что все время боялся и дрожал, как заяц, без конца обращаясь к Богу. Хорошо, что не бросил его Господь, помог. И вот теперь настало время выполнить то обещание, данное Господу...

В деревне его ждал пустой дом. Бабушка Сима умерла в сорок втором.

— Она ж, родимая, все о тебе, о внучке своем сокрушалась, — горестно поджав губы, рассказывала соседка, пожилая тетка Дарья. — Алешенька ведь, говорила, бесшабашный, отчаянный, будет лезть напролом под пули. Не выдержало у Симы сердце, слабая она была, болезненная, а война так совсем ее подкосила. А ты в хате ее можешь остановиться, а хочешь — у меня. Сходи на кладбище, погорюй. Из вещей-то, почитай,

ничего у Симы не осталось, а икону я у себя схоронила. Возьмешь?

— Возьму, — кивнул Алексей, — только насовсем я, тетка Дарья. Пообещал я, что, если в живых останусь, уеду в деревню, пастухом стану.

— Ну, как знаешь, — посмотрела внимательно на Алексея женщина, — может, оно и правильно.

Коров на селе оставалось мало, мужиков, кроме стариков, не было вовсе, поэтому на деревенском сходе Алексея избрали пастухом единогласно, хотя и удивлялись, чего это профессорский сынок из самой столицы решил наняться коров пасти. А Алексей никому ничего объяснять не собирался. Жил затворником, людей сторонился, да они его тоже недолюбливали за утрюмый характер. Одно и добро, что с коровушками обращался ласково да пасти научился умело. А наука эта, ох непростая. Необходимо не только знать лучшее время и место для пастьбы, но и беречь, хранить целое стадо, уметь вовремя помочь животному при внезапной болезни или отелах. Недаром пословица гласит: «У пастуха вся деревня в долгу». Хотя и не жаловали Алексея, но каждый старался угостить по-лучше: кто молочка кринку нес, кто яичек свежих, кто кусок припрятанного сала.

Женился Алексей на такой же тихой, незаметной девушке Ольге. Жили в бабушкиной избе, а вскоре сынок родился. Назвали Ванечкой. Белоголовый, шустрый, улыбчивый — совсем как Алексей в детстве.

После войны приехала в деревню мать. Поседевшая, худенькая, с множеством мор-

щин, она, войдя в хату, удивленно взглянула на убранную чистыми рушниками икону, зажженную лампаду перед ней.

— За тобой я, сынок, — заплакала Александра Тихоновна, — поедем в Москву. Что ж ты тут-то... Отец в эвакуации умер. Не выдержало сердце, а мне одной тяжело. Поехали. Ты ведь герой.

— Да какой я герой?! — вскинулся Алексей. — Никогда не говори так, мама. И не поеду я никуда.

Ольга, прижимая Ванечку к груди, выглянула из-за занавески.

— Ах ты ж, Боже мой! — всплеснула руками Александра Тихоновна и как-то суетливо задвигалась, боясь и одновременно стремясь к внуку, — да ради этого маленького человечка и надо ехать. Для него же какие перспективы откроются. И потом, простите, жить в столице или глухой деревне... Есть разница?!

Алексей подошел к жене, взял малыша на руки. Она взглянула на свекровь испуганно, потом повернула лицо к Алексею.

— Не волнуйся, — понял он Ольгу, — мы никуда не поедем.

— Да как же так! — воскликнула Александра Тихоновна, — подумай о сыне. Да и сам... сами, — поправились мать с недовольным видом, — вы еще молоды.

— Мама, — мягко перебил ее Алексей, — мы к тебе приезжать будем. А Ванюшку, когда вырастет, отправим учиться в университет, туда, где папа преподавал.

Так и вышло. Алексей Семенович остался в селе, пастушествовал, по воскресеньям

ездил с женой и сыном в районный городок в церковь, зимой недели две гостил у матери в Москве. Бог не дал им больше детей, но несмотря на это Ивана они воспитывали в строгости, приучали с детства к домашним делам да и шалости не попускали. Мальчишка, правда, и сам был не хулиганистый, учился только на отлично, а на все лето подряжался к отцу в подпаски.

— Ванечка, я думаю, что ты не избеешь себе... э-э-э... такую профессию, как у отца, — не раз укоряла внука Александра Тихоновна.

— А чем плохо, бабуль? — ломающимся баском, стараясь скрыть улыбку, откликнулся Ваня, — солнце, чистый воздух и... коровы.

— Не расстраивай меня, — отмахивалась бабушка, и Ваня звонко смеялся.

Пастушество он, в самом деле, не считал зазорным, отцом гордился и в детстве не раз приставал к нему с расспросами о войне. Однажды даже прибежал из школы с горящими глазами.

— Папа, — закричал с порога, — тебя наша классная Татьяна Дмитриевна хочет пригласить в школу, чтобы ты рассказал о своих подвигах.

— Нет у меня никаких подвигов, — нахмурился Алексей Семенович, — и передай учительнице, что в школу я не пойду.

Как ни упрашивал отца Ваня, тот стоял на своем. Сын недоумевал, сердился, но так и не смог добиться от родителя правды.

А Алексей Семенович продолжал заниматься своим делом, оставаясь таким же неразговорчивым и угрюмым.

Иван с отличием окончил школу, поступил в университет, избрав себе науку, которой всю жизнь занимался его дед. Потом женился и с гордостью привозил в деревню красавицу жену, а потом и сына Семена.

Внука Алексей Семенович любил без памяти, и маленький Семка тянулся к деду. В один из своих приездов на каникулы на-шел в шкафу военные награды и с криком прибежал к Алексею Семеновичу прямо в поле.

— Дедуль, расскажи... Ты герой?

— Нет, нет, Сема, — нахмурившись, за-тряс седой головой пастух, — не мои это, не мои.

— У-у-у-у... — разочарованно загудел Сем-ка, но дед молча отвернулся и щелкнул кну-том.

Время шло. Стариков гнуло к земле, а молодежь, наоборот, тянулась вверх. Семка вымахал под потолок и уже ездил на своей машине показывать деду правнука.

— Пора бросать кнут, дед, — уговаривал Семен Алексея Семеновича, — здоровья нет у тебя, и старенький совсем стал.

Алексей Семенович и впрямь сдал, и де-ревня определила в пастухи другого челове-ка, пришлого таджика Карима. Но Алексей Семенович дело не бросал и упрямо прихо-дил на выгон, отправляясь на поле вместе с новым пастухом.

— Помру среди коровушек, — отвечал внуку на его настойчивые просьбы бросить работу, — потому как обет дал, слово.

— Какое слово? Расскажи, дедуль, — лю-бопытствовал Семен, зная, однако, что дед

не больно охотник делиться сокровенным. Только на этот раз Алексей Семенович оказался более разговорчивым. То ли чуял, что жизнь его заканчивается, а может быть, тяжело было носить в душе невыговоренную свою тайну, но только рассказал Алексей Семенович внуку и про свой первый бой, и про позорную трусость, и про страх, что носил в душе всю войну до самого ранения... Семен ничего не ответил деду, а вскоре засобирался домой, в Москву.

На дворе роскошествовала весна, начало мая выдалось теплым и солнечным. Зелень окутала деревья, и коровы, пощипывая первую травку, радостно носились по лугу.

Алексей Семенович хворал, впервые за много лет не вышел с кнутом на выгон, и Карим погнал стадо один. О том, что рассказал все внуку, старый пастух не переживал, беспокоился только о том, что Семен стыдится теперь деда и в гости-то, наверное, больше не приедет.

Из старого приемника неслись звуки браваурного марша, и Алексей Семенович хотел уже было кликнуть жену, чтобы убрала звук, только в комнату, широко улыбаясь, ввалился Семка с маленьким сынишкой Лешенькой на плечах.

— Давай, дедуль, собирайся, — громко проговорил Семен.

— Куда? — недоуменно пожал плечами Алексей Семенович.

— Сегодня же День Победы. В район поедем, там ветеранов чествуют. Вот просили тебя привезти. Надевай свои награды, — внук подошел к шкафу.



— Да какие... — начал, было, пастух.

— И без разговоров, — сделал сердитое лицо Семен, — у нас времени в обрез.

— Деда, деда, — тянул за рукав Алексея Семеновича Лешенька, — пошли, пошли.

Когда Алексей Семенович, придерживаемый крепкой рукой внука, вышел во двор, то увидел новенькую иномарку Семена, на заднем стекле которой горели крупные буквы: «Спасибо деду за победу».

Пастух поднял к небу слезящиеся глаза и прошептал:

— Благодарю Тебя, Господи! Прости меня!

МАМА, Я УМИРАЮ...

Как ярко светит солнце! А небо — такое пронзительно-синее! И облака — невесомые, как пух, и ажурные, как белый одуванчик на лугу.

Так бы и лежал, глядя в бездонное небо, ощущая себя маленькой пылинкой в этом безграничном мире.

Только что закончился бой, и тишина стоит такая, что слышится шорох каждого листочка, каждой травинки. Боже, как хорошо! Как будто не было и нет войны. И только небо, раскинувшееся до самого горизонта, только ветер, приносящий духмяный запах луговых трав, только прозрачный, настоянный на парном молоке воздух.

Мне двадцать лет. Я такой молодой. И я очень хочу жить! Хочу любить тоненькую девушку, похожую на ту белоствольную березку, что выросла на краю леса. Хочу пахать землю и сеять хлеб. Хочу встречать рассветы, бегать босиком по росистому лугу, пить родниковую воду и загадывать желания, глядя в звездное небо. Я только на войне понял, как это здорово ЖИТЬ!

Прямо с выпускного бала мне пришлось шагнуть в войну, навстречу смерти. Вместе со мной ушли воевать почти все мальчишки из нашего класса. Всех разбросала война, и только Пашка, мой верный друг, всегда рядом. Мы спим под одной плащ-палаткой,

едим из одного котелка, и папироска у нас одна на двоих. Мы вместе читаем письма из дома и вместе пишем ответы. Треугольники писем летят белыми голубками: мои — маме, а Пашкины — сестренке. Мы бьем фашистов и надеемся дойти до Берлина.

Бой закончился, и мы пока живы. Отдыхаем, наслаждаясь затишьем. Но как она обманчива, эта тишина. Ну вот, началось. Как противно свистят снаряды. И как страшно, мамочка, если бы ты только знала, как страшно!

— Ребятки, стоять насмерть! — хрипит комбат.

Я сжимаю в руках автомат и стреляю, стреляю. Вдруг мне в плечо уткнулся Пашка. Уткнулся и затих, выронив автомат из рук. Его каска покатилась по земле, и Пашкины кудри сплелись с травой, окрашивая ее кровью.

— Сволочи!

Мои глаза застилает соленая пелена. Я жму на курок, и пули летят в плотный строй фашистов. Бить, топтать, уничтожать эту свору, гнать с родной земли. Стрелять, стрелять: за разрушенную церквушку в родном селе, за сожженных заживо односельчан, за поседевшие головки детей.

Я рванулся в атаку. Вот он фашист, смотрит на меня ледяными серыми глазами. Я ненавижу его изуверскую усмешку, хищный оскал тонкогубого рта, острый блеск его зрачков. И я бью его наотмашь, бью изо всех сил. Получай, гад, получай! За мою несостоявшуюся молодость, за израненную березку, что растет на краю леса, за пшеничное поле, вытопанное твоими сапогами.

— Вперед! — бьется в уши крик комбата.

Я жму на курок. И вдруг... что-то маленькое и холодное ударяет меня в сердце. И сразу рушится небо, меркнет солнце. И земля бережно принимает меня в свои объятия, как до этого приняла Пашку и миллионы других воинов.

Кругом кипит бой. Свистят пули и рвутся снаряды, но я уже ничего не слышу. Неужели это конец?! Никогда уже я не увижу радугу, разноцветным коромыслом повисшую над туманной рекой, не услышу трелей соловья, залиvisto посвистывающего в мокрых от росы кустах сирени, не принесу любимой девушке душистый ромашковый букет. Мама-а-а, мамочка! Я умираю! За тебя, за Пашкину сестренку, за Родину!





ПИСЬМО ДЕДУ

Поговори со мною, дед... Расскажи мне о войне. Я не знаю, что означает это слово. Я не чувствовала голода, не испытывала пронизывающего страха, не вздрагивала от разрыва пуль и снарядов. Я никогда не видела фашиста. Правда, что похожи они на воронов? Правда, что глаза их пусты и безжалостны?

Расскажи обо всем мне, дед... Расскажи, как ты работал и как веселился. Так ли ярко светило тебе солнце и обдувал ветерок, как это видится сегодня мне? Счастлив ли ты был тогда?

Поговори со мною, дед... Ты один из первых отправился на призывной пункт военкомата и записался добровольцем. Сжимал ли твое сердце страх? Нет, ты был очень смелым, все время смеющимся. Тебя осталась ждать дома жена с маленьким сыном на руках, и ты все махал и махал ей рукой, пока колонна не скрылась из виду. Ты кричал ей: «Жди! Я вернусь! Жди!» А она, до крови закусив губы, смотрела и не хотела верить, что ты уже уходишь.

Расскажи мне, дед, как впервые ощутил в своих руках тяжелое оружие. Ты, мирный и очень добрый человек, вдруг был вынужден убивать. Стрелять в ненавистных тебе людей, зная, что иначе они истопчут коваными сапогами твою родную землю. И ты стрелял,

кричал, злился, смертельно уставал, а в перерывах между боями писал домой. В письмах старался уверить родных, что победа близка. Думал ли ты, что до победы еще четыре года и огромное число потерь? Знал ли ты, что родным пришлось пережить оккупацию, а твой брат был угнан в Германию и оставался там до конца войны?

Поговори со мною, дед... Расскажи про своего командира. Был ли он добр с вами, пулеметчиками? Шутил ли, пел ли песни, ел ли из одного котелка? Мечтал ли ты о наградах? Или мечтой была лишь победа и возможность растянуться дома на пуховых перинах и чистых простынях? Как спалось тебе на голой земле? Наверное, именно она, твоя родная земля, питала силами и крепостью. А смертельный огонь закалял.

Положи на стол свои натруженные руки, посмотри в окно на закат, пусть в его лучах блещут твои награды. Ты заслужил отдых и почет, ты заслужил славу. О тебе помнят потомки, чтут тебя и уважают. Мы создаем трудовые отряды, ходим в походы, дарим цветы на митингах, встречаемся со свидетелями тех событий. Этого мало, этого так мало...

Мы знаем о войне лишь по книгам и фильмам. Поэтому так дороги воспоминания ветеранов. В нас течет кровь наших предков, людей, сумевших победить. Значит, мы никогда не забудем...

Вы многое выдержали на той войне, но твоя боль стала моей болью, твои страдания безразличны мне. В каждом фильме я узнаю тебя. И это мог быть ты, и это... Ты мог совершить каждый из бесчисленных подви-

гов. Потому что вы не думали о подвигах, вы делали то, к чему звали вас сердце, отвага и долг.

Поговори со мною, дед... Поведай, как нашла тебя смерть в том страшном 42-м. В каком безвестном лесу пал ты смертью храбрых? От пули или от снаряда? Или ты попал в плен и твои страдания умножились душевной болью? Что думал ты в последние секунды жизни? А может, и этой возможности не дала тебе судьба?

Мой дед... Никогда мной не виденный и не знавший обо мне... Ты так и не услышал в свой адрес слова «дедушка», не дожил до старости, навсегда остался молодым. Тебя помнят твои родные — белозубую улыбку, счастливый смех, сильные руки. Ты погиб, чтобы спасти нас. Мы помним... Мы должны помнить...



СОДЕРЖАНИЕ

Война, любовь и верность. Повесть5

Рассказы. На основе воспоминаний очевидцев

Долг совести 240

Дед 268

Ударная группа 274

Танина война 287

Пленница 313

Сердце матери 328

Цена жизни 361

Горькое счастье 391

Неверие и вера 407

Герой 424

Мама, я умираю... 441

Письмо деду 444

Духовно-просветительное издание

Смирнова Надежда

ВОЙНА И ВЕРА

Истории о Великой Отечественной войне

Оформление обложки *Александра Щавелева*
Шеф-редактор *Владимир Кузьмин*
Художественный редактор *Александр Гладышев*
Компьютерная верстка *Ольга Тарвид*
Корректор *Лариса Пруткова*

Подписано в печать 25.12.2014.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Palatino».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Тираж 3000 экз.
Изд. № 14-11915. Заказ № А-3426.

В соответствии с ФЗ-436 для детей старше 12 лет

ОАО «ОЛМА Медиа Групп»
129626. г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, пом. 1, комн. 5.
Почтовый адрес: 143421, Московская область,
Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия»,
Бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 3
www.olmamedia.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru



ДУХОВНЫЙ ПУТЬ

ВОЙНА И ВЕРА

*Истории
о Великой Отечественной войне*

Эта книга о войне. И о человеческой душе. О том, как сохранить себя в чудовищной мясорубке, не сломаться, не покориться, не утратить веру.

Эта книга о любви. О светлом чувстве, над которым не властно время. И о том, что только человеку искреннему и чистому возможно остаться верным своему долгу.

Эта книга о связи поколений. О тех воинах, которые отдали жизни за отчий дом. За веру в Бога. За Родину... И о нас — их потомках.

Книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии героев подлинны.

Православная писательница Н. Живет в городе Мосальске Калужской области.

Война и вера. Истории о Великой Отечественной войне



7045899700030 ОЛМА Мед

ISBN 978-5-373-07234-2



9 785373 072342



ОЛМА
МЕДИА ГРУПП

www.olmamedia.ru